Д. МАМИН - СИБИРЯК

ПОВЕСТЬ
РАССКАЗЫ
ЛЕГЕНДЫ

ЧУВАШСКОЕ
КНИЖНОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО

Государственное Издательство Детской Литературы, Москва, 1962
FB2: “rvvg ”, 25 January 2010, version 1.0
UUID: 39F0F11D-B0EA-4357-B3EC-33E50AF643FA
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк

Избранные произведения для детей

Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк - настоящая фамилия - Мамин. Родился 25 октября (6 ноября) 1852 года в Висимо-Шайтанском заводе Пермской губернии в семье заводского священника. Получил домашнее образование, затем учился в Висимской школе для детей рабочих. В 1866 был принят в Екатеринбургское духовное училище, где обучался до 1868, затем продолжил образование в Пермской духовной семинарии (до 1872). В эти годы участвует в кружке передовых семинаристов, испытывает воздействие идей Чернышевского , Добролюбова , Герцена .

В 1872 Мамин-Сибиряк поступает в Петербургскую медико-хирургическую академию на ветеринарное отделение. В 1876, не окончив курс академии, переходит на юридический факультет Петербургского университета, но, проучившись год, вынужден оставить его из-за материальных трудностей и резкого ухудшения здоровья (начался туберкулез).Летом 1877 вернулся на Урал, к родителям. В следующем году умер отец, и вся тяжесть забот о семье легла на Мамина-Сибиряка. Чтобы дать образование братьям и сестре и суметь заработать, решено было переехать в крупный культур-

ный центр. Был выбран Екатеринбург, где начинается его новая жизнь. Здесь он женился на Марии Алексеевой, которая стала не только женой, но и другом и прекрасным советчиком по литературным вопросам. В эти годы он совершает много поездок по Уралу, изучает литературу по истории, экономике, этнографии Урала, погружается в народную жизнь, общается с "простецами", имеющими огромный жизненный опыт.Первым плодом этого изучения стала серия путевых очерков "От Урала до Москвы" позже многие русские писатели будут черпать вдохновение именно здесь (1881-1882), опубликованных в московской газете "Русские ведомости"; затем в журнале "Дело" вышли его очерки "В камнях", рассказы ("На рубеже Азии", "В худых душах" и др.). Многие были подписаны псевдонимом Д. Сибиряк.Первым крупным произведением писателя был роман "Приваловские миллионы"(1883), который на протяжении года печатался в журнале "Дело" и имел большой успех. В 1884 в журнале "Отечественные записки" появился роман "Горное гнездо", закрепивший за Маминым-Сибиряком репутацию выдающегося писателя-реалиста.Два продолжительных выезда в столицу (1881-1882, 1885-1886) упрочили литературные связи писателя: он знакомится с Короленко, Златовратским, Гольцевым. В эти годы пишет и печатает много небольших рассказов, очерков.Сложным процессам на Урале после Крестьянской реформы 1861 посвящен роман "Три конца. Уральская летопись" (1890); в жестких натуралистических подробностях описаны сезон золотодобычи в романе "Золото" (1892), голод в уральской деревне 1891-1892 в романе "Хлеб" (1895), передающем и трепетно-любовное отношение автора к исчезающим деталям стародавнего уклада (характерное и для цикла рассказов "Около господ" (1900)). Сумрачный драматизм, обилие самоубийств и катастроф в произведениях Мамина-Сиби-

ряка, "русского Золя", признаваемого одним из создателей отечественного социологического романа, явили одну из важных граней общественного умонастроения России конца века: ощущение полной зависимости человека от социально-экономических обстоятельств, выполняющих в современных условиях функцию непредсказуемого и неумолимого античного рока.В 1890 разводится с первой женой и женится на талантливой артистке Екатеринбургского драматического театра М. Абрамовой и переезжает в Петербург, где проходит последний этап его жизни (1891-1912). Через год Абрамова умирает, оставив больную дочь Аленушку на руках отца, потрясенного этой смертью.Подъем общественного движения в начале 1890-х способствовал появлению таких произведений, как романы "Золото" (1892), повесть "Охонины брови"(1892). Широкую известность приобрели произведения Мамина-Сибиряка для детей: "Аленушкины сказки" (1894-1896), "Серая шейка" (1893), "Зарницы" (1897), "По Уралу" (1899) и др.Последние крупные произведения писателя - романы "Черты из жизни Пепко"(1894), "Падающие звезды" (1899) и рассказ "Мумма" (1907).

В возрасте 60 лет 2 ноября (15 ноября) 1912 года Мамин-Сибиряк скончался в Петербурге.

Содержание

Медведко 0011
Ак-Бозат 0021
I 0021
II 0026
III 0032
IV 0039
V 0045
Балабурда 0051
I 0051
II 0056
III 0061
В глуши 0064
I 0064
II 0073
III 0083
В горах 0093
I 0093
II 0099
III 0106
В каменном колодце 0113
I 0113
II 0118
III 0123
IV 0127
V 0132

В ученье 0136
I 0136
II 0145
III 0154
IV 0163
V 0172
Вертел 0181
I 0181
II 0189
III 0199
IV 0207
Волшебник 0215
I 0215
II 0221
III 0228
Дурной товарищ 0236
I 0236
II 0242
Емеля-охотник 0247
I 0247
II 0253
III 0258
Зеленая война 0264
I 0264
II 0270
III 0273
Зимовье на Студеной 0279
I 0279

II 0292
III 0303
Кормилец (Из жизни на Уральских заводах) 0310
I 0310
II 0315
III 0317
IV 0324
V 0327
VI 0329
VII 0331
VIII 0334
Лесная сказка 0338
I 0338
II 0345
III 0352
IV 0358
Малиновые горы 0363
I 0363
II 0372
III 0381
IV 0389
V 0397
VI 0405
VII 0413
На пути (Из рассказов старого охотника) . . . 0419
I 0419
II 0427

На реке Чусовой 0432
I 0432
II 0439
III 0444
IV 0453
V 0458
VI 0466
VII 0469
VIII 0475
IX 0481
X 0490
Около нодьи 0495
I 0495
II 0500
Под домной 0510
#1 0510
Под землей 0527
I 0527
II 0534
III 0543
IV 0552
Постойко 0563
I 0563
II 0570
III 0576
Приемыш (Из рассказов старого охотника) . 0583
I 0583
II 0590

III 0596
Серая Шейка 0601
I 0601
II 0605
III 0610
IV 0615
Сказка про славного царя Гороха и его прекрасных дочерей царевну Кутафью и царевну Горошинку 0620
#1 0620
I 0621
II 0624
III 0628
IV 0631
V 0635
VI 0638
VII 0641
VIII 0644
IX 0647
X 0651
XI 0654
XII 0658
XIII 0663
XIV 0668
XV 0674
Упрямый козел 0678
I 0678
II 0687

III 0695
IV 0701
Старый воробей 0710
I 0710
II 0716
III 0722
Богач и Еремка 0729
I 0729
II 0737
III 0746
IV 0754
ПРИМЕЧАНИЯ 0759

Медведко

— Барин, хотите вы взять медвежонка? — предлагал мне мой кучер Андрей.

— А где он?

— Да у соседей. Им знакомые охотники подарили. Славный такой медвежонок, всего недель трех. Забавный зверь, одним словом.

— Зачем же соседи отдают, если он славный?

— Кто их знает. Я видел медвежонка: не больше рукавицы. И так смешно перевалива-ет.

Я жил на Урале, в уездном городе. Квартира была большая. Отчего же и не взять медвежонка? В самом деле, зверь забавный. Пусть поживет, а там увидим, что с ним делать.

Сказано — сделано. Андрей отправился к

соседям и через полчаса принес крошечного медвежонка, который действительно был не больше его рукавицы, с той разницей, что эта живая рукавица так забавно ходила на своих четырех ногах и еще забавнее таращила такие милые синие глазенки.

За медвежонком пришла целая толпа уличных ребятишек, так что пришлось затворить ворота. Попав в комнаты, медвежонок нимало не смутился, а напротив, почувствовал себя очень свободно, точно пришел домой. Он спокойно все осмотрел, обошел вокруг стен, все обнюхал, кое-что попробовал своей черной лапкой и, кажется, нашел, что все в порядке.

Мои гимназисты натащили ему молока, булок, сухарей. Медвежонок принимал все как должное и, усевшись в уголке на задние лапы, приготовился закусить. Он делал все с необыкновенной комичной важностью.

— Медведко, хочешь молочка?

— Медведко, вот сухарики.

— Медведко!..

Пока происходила вся эта суета, в комнату незаметно вошла моя охотничья собака, ста-

рый рыжий сеттер. Собака сразу почуяла присутствие какого-то неизвестного зверя, вытянулась, ощетинилась, и не успели мы оглянуться, как она уже сделала стойку над маленьким гостем. Нужно было видеть картину: медвежонок забился в уголок, присел на задние лапки и смотрел на медленно подходившую собаку такими злыми глазенками.

Собака была старая, опытная, и поэтому она не бросилась сразу, а долго смотрела с удивлением своими большими глазами на непрошеного гостя, — эти комнаты она считала своими, а тут вдруг забрался неизвестный зверь, засел в угол и смотрит на нее как ни в чем не бывало.

Я видел, как сеттер начал дрожать от волнения, и приготовился схватить его. Если бы он бросился на малютку медвежонка! Но вышло совсем другое, чего никто не ожидал. Собака посмотрела на меня, точно спрашивая согласия, и подвигалась вперед медленными, рассчитанными шагами. До медвежонка оставалось всего каких-нибудь пол-аршина, но собака не решалась сделать последнего шага, а только еще сильнее вытянулась и сильно по-

тянула в себя воздух: она желала, по собачьей привычке, сначала обнюхать неизвестного врага.

Но именно в этот критический момент маленький гость размахнулся и мгновенно ударил собаку правой лапой прямо по морде. Вероятно, удар был очень силен, потому что собака отскочила и завизжала.

— Вот так молодец Медведко! — одобрили гимназисты. — Такой маленький и ничего не боится...

Собака была сконфужена и незаметно скрылась в кухню.

Медвежонок преспокойно съел молоко и булку, а потом забрался ко мне на колени, свернулся клубочком и замурлыкал, как котенок.

— Ах, какой он милый! — повторили гимназисты в один голос. — Мы его оставим у нас жить... Он такой маленький и ничего не может сделать.

— Что ж, пусть его поживет, — согласился я, любуясь притихшим зверьком.

Да и как было не любоваться! Он так мило мурлыкал, так доверчиво лизал своим чер-

ным языком мои руки и кончил тем, что заснул у меня на руках, как маленький ребенок.

* * *

Медвежонок поселился у меня и в течение целого дня забавлял публику, как больших, так и маленьких. Он так забавно кувыркался, все желал видеть и везде лез. Особенно его занимали двери. Подковыляет, запустит лапу и начинает отворять. Если дверь не отворялась, он начинал забавно сердиться, ворчал и принимался грызть дерево своими острыми, как белые гвоздики, зубами.

Меня поражала необыкновенная подвижность этого маленького увальня и его сила. В течение этого дня он обошел решительно весь дом, и, кажется, не оставалось такой вещи, которой он не осмотрел бы, не понюхал и не полизал.

Наступила ночь. Я оставил медвежонка у себя в комнате. Он свернулся клубочком на ковре и сейчас же заснул.

Убедившись, что он успокоился, я загасил лампу и тоже приготовился спать. Не прошло четверти часа, как я стал засыпать, но в самый интересный момент мой сон был нару-

шен: медвежонок пристроился к двери в столовую и упорно хотел ее отворить. Я оттащил его раз и уложил на старое место. Не прошло получаса, как повторилась та же история. Пришлось вставать и укладывать упрямого зверя во второй раз. Через полчаса — то же... Наконец мне это надоело, да и спать хотелось. Я отворил дверь кабинета и пустил медвежонка в столовую. Все наружные двери и окна были заперты, следовательно, беспокоиться было нечего.

Но мне и в этот раз не привелось уснуть. Медвежонок забрался в буфет и загремел тарелками. Пришлось вставать и вытаскивать его из буфета, причем медвежонок ужасно рассердился, заворчал, начал вертеть головой и пытался укусить меня за руку. Я взял его за шиворот и отнес в гостиную. Эта возня начинала мне надоедать, да и вставать на другой день нужно было рано. Впрочем, я скоро уснул, позабыв о маленьком госте.

Прошел, может быть, какой-нибудь час, как страшный шум в гостиной заставил меня вскочить. В первую минуту я не мог сообразить, что такое случилось, и только потом все

сделалось ясно: медвежонок разодрался с собакой, которая спала на своем обычном месте в передней.

— Ну и зверина! — удивился кучер Андрей, разнимая воевавших.

— Куда его мы теперь денем? — думал я вслух. — Он никому не даст спать целую ночь.

— А к емназистам, — посоветовал Андрей. — Они его весьма даже уважают. Ну и пусть спит опять у них.

Медвежонок был помещен в комнате гимназистов, которые были очень рады маленькому квартиранту.

Было уже два часа ночи, когда весь дом успокоился.

Я был очень рад, что избавился от беспокойного гостя и мог заснуть. Но не прошло часа, как все повскакали от страшного шума в комнате гимназистов. Там происходило что-то невероятное… Когда я прибежал в эту комнату и зажег спичку, все объяснилось.

Посредине комнаты стоял письменный стол, покрытый клеенкой. Медвежонок по ножке стола добрался до клеенки, ухватил ее

зубами, уперся лапами в ножку и принялся тащить что было мочи. Тащил, тащил, пока не стащил всю клеенку, вместе с ней — лампу, две чернильницы, графин с водой и вообще все, что было разложено на столе. В результате — разбитая лампа, разбитый графин, разлитые по полу чернила, а виновник всего скандала забрался в самый дальний угол; оттуда сверкали только одни глаза, как два уголька.

Его пробовали взять, но он отчаянно защищался и даже успел укусить одного гимназиста.

— Что мы будем делать с этим разбойником! — взмолился я. — Это все ты, Андрей, виноват.

— Что же я, барин, сделал? — оправдывался кучер. — Я только сказал про медвежонка, а взяли-то вы. И емназисты даже весьма его одобряли.

Словом, медвежонок не дал спать всю ночь.

Следующий день принес новые испытания. Дело было летнее, двери оставались незапертыми, и он незаметно прокрался во

двор, где ужасно напугал корову. Кончилось тем, что медвежонок поймал цыпленка и задавил его. Поднялся целый бунт. Особенно негодовала кухарка, жалевшая цыпленка. Она накинулась на кучера, и дело чуть не дошло до драки.

На следующую ночь, во избежание недоразумений, беспокойный гость был заперт в чулан, где ничего не было, кроме ларя с мукой. Каково же было негодование кухарки, когда на следующее утро она нашла медвежонка в ларе: он отворил тяжелую крышку и спал самым мирным образом прямо в муке. Огорченная кухарка даже расплакалась и стала требовать расчета.

— Житья нет от поганого зверя, — объясняла она. — Теперь к корове подойти нельзя, цыплят надо запирать... муку бросить... Нет, пожалуйте, барин, расчет.

* * *

Признаться сказать, я очень раскаивался, что взял медвежонка, и очень был рад, когда нашелся знакомый, который его взял.

— Помилуйте, какой милый зверь! — восхищался он. — Дети будут рады. Для них —

это настоящий праздник. Право, какой милый.

— Да, милый… — соглашался я.

Мы все вздохнули свободно, когда наконец избавились от этого милого зверя и когда весь дом пришел в прежний порядок.

Но наше счастье продолжалось недолго, потому что мой знакомый возвратил медвежонка на другой же день. Милый зверь накуролесил на новом месте еще больше, чем у меня. Забрался в экипаж, заложенный молодой лошадью, зарычал. Лошадь, конечно, бросилась стремглав и сломала экипаж. Мы попробовали вернуть медвежонка на первое место, откуда его принес мой кучер, но там отказались принять его наотрез.

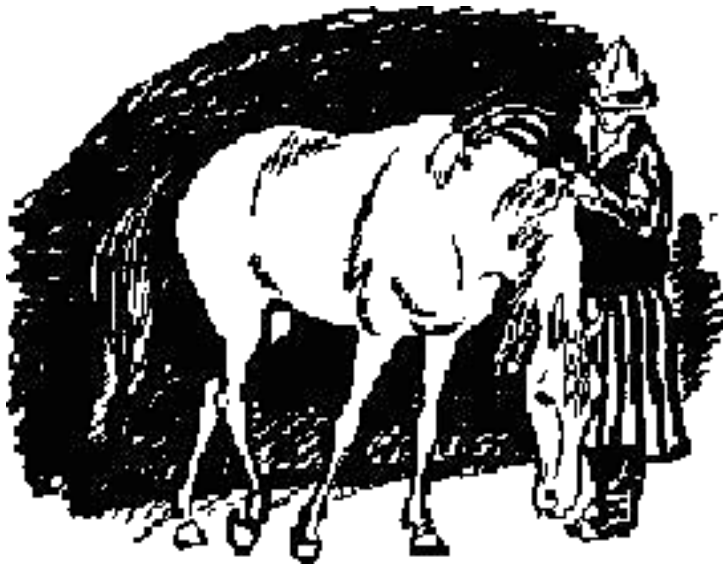
— Что же мы будем с ним делать? — взмолился я, обращаясь к кучеру. — Я готов даже заплатить, только бы избавиться.

На наше счастье, нашелся какой-то охотник, который взял его с удовольствием.

О дальнейшей судьбе Медведка знаю только то, что он околел месяца через два.

Ак-Бозат

I



Бухарбай был молод и глуп, а когда человек глуп, то его только ленивый не обижает. Так было и с Бухарбаем. Когда умер отец, у него всего осталось достаточно — и новая кибитка, и целый косяк лошадей, и много баранов. Молодой Бухарбай думал, что ему век не прожить отцовского добра, и стал веселиться с товарищами. Другие работают, а Бухарбай веселится и говорит: «Зачем мне работать, когда у меня все есть? Пусть работают бедняки».

— Ой, Бухарбай, ты нехорошо себя ведешь! — повторяла мать и качала головой.

Но Бухарбай был молод и думал про себя,

что женщины ничего не понимают, потому что целый век сидят по своим кибиткам и только умеют доить кобылиц. А молодое сердце так и играло... Веселится Бухарбай, и все ему мало. У богатых много друзей, и у Бухарбая тоже. Один лучше другого. Веселятся вместе с ним, едят его баранину, пьют его кумыс и хвалят хозяина. Но для веселья нужны еще деньги. Начал Бухарбай понемногу пропивать отцовское добро, и все потихоньку от старой матери. Состарится, тогда сам накопит. Потом не стало и денег. Подумал Бухарбай продавать скот, да устыдился матери: будет плакать старуха и всем жаловаться. Тогда Бухарбай начал потихоньку занимать у соседей по аулу. Ему давали охотно, как дают богатым людям. Соседи дают, а Бухарбай берет. Сначала все считал, а потом и считать перестал. Все равно — кто дает, тот не забудет.

— Когда же ты отдашь нам долг? — сказал года через два один сосед.

— Отдам, когда у самого деньги будут, а теперь у самого ничего нет...

Достаточно было одному попросить долг, как и все другие начали приставать: «Отдай

да отдай»; а чего отдать, когда у самого ничего нет. Задумался Бухарбай, только немножко поздно. Нечего делать, пришлось признаться во всем матери. Горько заплакала старуха и только сказала:

— Ведь я тебе говорила, Бухарбай... Ах, Бухарбай, Бухарбай, как ты жить будешь? Я-то уж стара, прожила жизнь, а у тебя все впереди.

Обратился Бухарбай к старым товарищам за помощью, а у тех у самих ничего нет. Если и было у кого что, так скрывали для себя.

А уж как они все жалели Бухарбая... «Ведь вот какие нехорошие соседи, пристают с долгами. Могли бы, кажется, и подождать». Одним словом, хороших слов сколько угодно, а денег ни гроша. Плохо пришлось Бухарбаю, совсем плохо, особенно когда соседи пожаловались на него бию[1] и представили свои счеты. Вызвал бий молодого Бухарбая на суд и спрашивает:

— Признаешь ты свой долг?

— Признаю...

— А если признаешь, так нужно платить.

— У меня ничего нет...

Седобородые казы (судьи) посоветовались между собой и решили продать все имущество Бухарбая. Конечно, жаль молодого человека, а делать нечего. Бий тоже жалел и тоже ничего не мог поделать: глупости трудно поправлять.

Пришли казы к Бухарбаю и начали продавать отцовское добро. Главными покупателями явились те же заимодавцы, как богатые люди. Долго наживал отец Бухарбая свое богатство, а разлетелось оно дымом в один день. Один взял баранов, другой кибитку, третий и четвертый поделили между собой косяк лошадей. Как при всех распродажах, имущество шло за бесценок. Заимодавцы так и рвали дешевый товар и даже перессорились между собой. Каждому хотелось захватить побольше.

— Что же у меня останется? — спрашивал Бухарбай судей.

— У тебя есть две здоровых руки. Раньше ты был молод и глуп, а теперь будешь умен поневоле... Пророк недаром сказал: «Эль факру факри».[2] *(Примеч. автора.)*.

Повесил голову молодой Бухарбай. Жаль

отцовского добра... Но он не спорил: и бий и казы были справедливы. Но только когда дело дошло до последнего жеребенка белой масти, он вступился. Это был редкой породы жеребенок, старинной крови, и отец больше всего им дорожил. Заимодавцы тоже знали толк в лошади и так и вцепились в жеребенка — каждый хотел его взять себе.

— Нет, жеребенка я вам не отдам! — заявил Бухарбай. — Вы все взяли, и я молчал, а жеребенка не отдам.

Пошли все на суд к бию. Он внимательно выслушал всех и сказал:

— Заимодавцы, вы получили больше, чем давали, и хотите отнять у человека последнее. Какой же киргиз без лошади? Нужно иметь совесть...

Бухарбай стоял и плакал. Ему было совестно за свою собственную глупость, которая довела его до такого позора. Бию сделалось жаль, и он решил, что белый жеребенок останется у него.

— Помни, что он рожден от кости Исэк-Кырган (вечерняя зарница), — наставительно говорил бий молодому человеку, —

той знаменитой Исэк-Кырган, которую не могла обойти на скачках ни одна лошадь в степи. Береги жеребенка, как зеницу ока: он стоит всего твоего имущества...

Поблагодарил Бухарбай милостивого бия и еще раз заплакал, но уже от радости. У него оставалась еще надежда... Заимодавцы готовы были отнять у него и степь и небо, если б только это зависело от них.

II

Ничего не осталось у Бухарбая, кроме молодого стыда да старой матери. Старуха плакала потихоньку, чтобы напрасно не огорчать и без того несчастного сына, и только сказала:

— Аллах дает и богатство и бедность. Не нужно отчаиваться... Ты еще молод и можешь исправиться... Мой последний совет тебе: уходи из нашего аула как можно дальше. Нехорошо оставаться байгушом (нищим) там, где все знали тебя богатым. Вот тебе мой последний совет, Бухарбай. А я уйду опять к твоей сестре. Зять хороший человек и не прогонит старуху...

Еще раз сделалось совестно Бухарбаю, что он не может прокормить даже родную мать. Приходилось дорого платиться за молодую глупость...

— Еще тебе совет, Бухарбай, — говорила мать на прощанье, — никто не знает, чего стоит твой жеребенок. Он редкой крови... Береги его и не бери за него ничего, что бы тебе ни предлагали. Это будет не лошадь, а степной ветер, стрела, пущенная из лука. Отец назвал его Ак-Бозат.[3]

Молча поклонился в ноги Бухарбай матери. Из всех людей только она одна желала ему добра.

— Из своего аула он ушел темной ночью, чтобы никто не видал его последнего позора и последних слез. Он шел пешком и вел за собой в поводу белого жеребенка. Это была маленькая кобылка из благородной породы «белорожденных». От всех остальных родичей своей крови она отличалась тем, что имела на лбу черную звезду, почему отец и назвал ее звездой. Синим шаром опрокинулось над головой Бухарбая глубокое небо, расшитое золотым узором звезд; без конца стелется перед

ним степь, точно ковер, и думает Бухарбай, неужели он нигде не найдет себе уголка, чтобы жить.

Идет Бухарбай неделю, идет другую, идет третью. Прошел много аулов. Здесь уже никто не знал его, и сделалось Бухарбаю легче. Молодость скоро проживает свое горе. Нанялся Бухарбай в простые пастухи к богатому киргизу Цацгаю и выговорил себе только одно, чтобы его жеребенок пасся вместе с другими лошадьми.

— Пусть пасется, — согласился Цацгай. — Степь велика, всем места хватит... Только жеребенок-то дрянной: ноги у него очень тонкие...

А Бухарбай молчит. Цацгай не знал толку в лошадях. Ак-Бозат заморилась длинной дорогой и действительно имела такой жалкий вид. А Цацгай сообразил про себя, что когда кобылка подрастет, то молодой пастух будет ездить на своей лошади. Всякий свою выгоду соблюдает.

Аул был большой; у Цацгая ходило в степи три косяка лошадей, и Бухарбай был рад, когда его отправили пастухом. Это был первый

хлеб, заработанный собственными руками. Целые дни теперь Бухарбай проводил верхом на лошади, сберегая косяк, и хорошо узнал, как дорого достается свой хлеб. Цацгай был скуп и давал своим пастухам столько, сколько было нужно, чтобы не умереть с голоду. Пастухи за глаза постоянно ругали скупого хозяина, а в глаза старались выслужиться — так делают почти все бедные люди, которые от нищеты потеряли даже чувство собственного достоинства.

Работа пастушья нетрудная, да только тем нехороша, что нет ни днем, ни ночью покоя. Пастухи спали одним глазом. Бухарбай скоро освоился с своим новым положением и ничем не выделялся среди других пастухов, кончая белой войлочной шляпой и рваным бешметом.

Он не роптал на судьбу и утешался тем, что у него была Ак-Бозат. У других и этого не было. Пастухи смеялись, как Бухарбай ухаживал за своей белой кобылкой, а Цацгай мог только удивляться. Бухарбай часто ее купал, расчесывал и заплетал гриву и потихоньку начинал приучать ее к бегу. Ак-Бозат ходила

за хозяином, как собака, и слушалась его голоса. Бухарбай даже разговаривал с ней, как с человеком.

— Никто нас не знает здесь, Ак-Бозат... Это хорошо. Много глупостей наделал твой хозяин... Ну да ничего — поправимся...

Только напрасно думал Бухарбай, что никто его не замечает. У Цацгая была дочь-невеста, красавица Мэчит. Девушки любят примечать иногда и то, что им не следует. Так и Мэчит, — как погонят лошадей, так и смотрит на нового пастуха. Ей показалось, что он и ездит совсем не так, как другие. Киргизские девушки смелые и ходят без покрывала. Раз она встретила Бухарбая и сказала:

— Пастух, покажи свои руки...

Бухарбай смутился, но не смел ослушаться. Девушка внимательно посмотрела на его руки, лукаво заглянула в глаза и проговорила:

— Ты не простой пастух, Бухарбай... У тебя еще недавно руки были нежные, как у женщины. И когда ездишь на коне, тоже заметно...

— Да, не простой, — уже смело ответил Бухарбай. — Мне принадлежат и вся степь и все

небо... По степи я езжу, а на небо смотрю целые ночи, и никто мне не мешает.

— Нечего сказать, богатство громадное! — засмеялась Мэчит. — Только с кем ты его будешь делить?..

— У меня никого нет...

— А девушка, которая тебя любит?

— Бедных пастухов девушки не любят... Впрочем, я люблю свою Ак-Бозат.

— Лошадь? Ха-ха... Какой ты скрытный. Ну увидим...

Начал замечать Бухарбай, что Мэчит каждый раз так внимательно смотрит на него. Посмотрит и засмеется. Это его даже начинало сердить. Чему она смеется?.. Стал и сам Бухарбай посматривать на хозяйскую дочь, и чем больше смотрел, тем больше она ему нравилась. Молодое сердце льнуло к молодому сердцу без слов.

— Будь умным, Бухарбай, — читал он самому себе наставление. — Довольно глупостей... Цацгай одного калыму[4] потребует за дочь не меньше ста рублей да еще в придачу баранов триста. Не будь смешным, Бухарбай... Не тебе, несчастному байгушу,[5] думать о хоро-

шеньких девушках.

Когда по вечерам становилось грустно, Бухарбай присаживался к огоньку и пел песню, которую складывал тут же:

У девушки смех на уме,
А молодцу горе...
Скоро вихрем он в степь улетит на копе,
А она заплачет в неволе.

III

Так прошли три года, длинных три года. Три раза степь покрывалась весенними цветами, три раза выгорала степная трава от летнего зноя, три раза степная зима засыпала все снегом. Трудно приходилось пастухам в течение зимы, особенно когда поднимался буран. Несколько раз Бухарбай чуть не замерз, но он терпеливо переносил все, потому что бедные люди не должны роптать на свою судьбу. Загрубели у него руки, как у настоящего пастуха, заветрело лицо, и Мэчит не обращала уже на него внимания. Но он был счастлив, он, Бухарбай, потому что выросла

его Ак-Бозат. Совсем большая лошадь, и какая умная! С каким терпением учил он ее, выдерживая ход. Другие пастухи опять смеялись над чудаком, который ухаживает за лошадью, как за невестой. А лошадь была чудная — длинная, на таких высоких ногах, с маленькой головой и длинной гривой. Когда Бухарбай в первый раз поехал на ней верхом, у него сердце дрогнуло от радости: это была не лошадь, а ветер.

«Пусть еще годик подрастет Ак-Бозат, — думал Бухарбай, — а там я поступлю проводником к купеческим караванам... И работа легкая, и жизнь привольная, и все будет хорошо. Терпи, Бухарбай, недолго осталось ждать».

Мысль об отъезде давно засела в голову Бухарбая, и он ее вынашивал потихоньку от всех. Только одно удерживало его: он уедет, а Мэчит останется. Да, она забыла его, но он не забыл эти горячие темные глаза, этот девичий смех, это гордое лицо степной красавицы. Он дрожал при одной мысли, что это лицо засмеется другому и другой уведет ее в свою кибитку.

Много было женихов у Мэчит. Далеко из

степи приезжали они, но старый Цацгай дорожился и сам не знал, какой калым просить за красавицу дочь. Но время подходило такое, что приходилось расставаться: девичий век короткий. Думал, думал Цацгай, которого жениха выбрать, и опять не мог решиться. Все хороши, и всем жаль отдать красавицу Мэчит. Тогда старик придумал устроить байгу[6] для женихов: кто придет первым, тому Аллах и судил Мэчит взять женой. И женихи были довольны таким решением, потому что каждый надеялся на свою лошадь. А лошади у всех были отличные. Чтобы подзадорить женихов, Цацгай объявил открыто:

— Мне все равно, кто ни обгонит... Простой пастух — его и Мэчит. Как хочет Аллах, так и будет...

Слух об этой байге облетел всю степь, и о ней говорили. Много батырей в степи, и каждый думал отбить красавицу Мэчит у ее женихов.

Наконец объявлен был и день. В аул Цацгая съехались со всех сторон. Вся степь покрылась народом. Брели старый и малый, чтобы посмотреть невиданное зрелище. Кто-

то выиграет красавицу Мэчит? Кому Аллах пошлет редкое счастье?

В поле была раскинута зеленая бухарская палатка, в которой собрались киргизские старшины из разных аулов, казы, и даже приехал сам бий. Простой народ усыпал все поле. Выехали скоро на чудных конях женихи Мэчит и много простых джигитов, а последним выехал Бухарбай на своей Ак-Бозат.

— Кто это на белой лошади? — спрашивали все.

— Это мой пастух, — неохотно отвечал Цацгай, обиженный тем, что простой пастух хочет спорить с женихами. — Только лошадь напрасно заморит...

Все наездники выровнялись перед палаткой в одну линию, и бий подал знак. Джигиты понеслись, а позади всех поехал Бухарбай. Он долго не решался принять участие в байге, потому что Ак-Бозат была еще молода. Благоразумие говорило, что не нужно этого делать, но молодая гордость перевесила. Недалеко от главной палатки стояла другая, в которой собрались женщины, и Бухарбай видел среди них красавицу Мэчит. Она весело позванива-

ла золотыми монетами, которыми была у нее покрыта вся грудь, и еще веселее улыбнулась, когда увидела Бухарбая на его белой лошади. Чем больше женихов, тем сильнее поднималась гордость красавицы.

Байга шла на двадцать пять верст — вперед одна половина, а другая половина обратно. Хороши были кони у женихов, и далеко они унеслись вперед. На первой половине уже простые джигиты начали отставать. Бухарбай сдерживал горячившуюся Ак-Бозат и чувствовал, что в ней еще много силы. Только на обратном конце он постепенно начал давать волю благородному животному, и Ак-Бозат понеслась, все усиливая скорость. О, как она оставляла одного соперника за другим!.. Простые джигиты уже были все позади, а впереди летели только трое женихов. Особенно далеко ушел один на золотистом текинском скакуне. Ак-Бозат все прибавляла ходу и оставила двух женихов; остался впереди один. Бухарбай чувствовал, как под ним точно летела земля, а вдали уже пестрела толпа народа и зелеными точками выделялись палатки. Началась борьба между текинским скакуном и

Ак-Бозат. Вот уже Ак-Бозат совсем настигает, и Бухарбай слышит, как тяжело дышит жениховский скакун. Вот они уже скачут голова в голову... Замерло сердце у Бухарбая: оставалось всего две версты. Трудно бороться с текинским скакуном, но он потрепал Ак-Бозат по шее, припал к луке седла, чтобы не связывать движений лошади, и дико гикнул. Как стрела, пущенная из лука могучей рукой, понеслась Ак-Бозат, как степной вихрь, и Бухарбай уже слышал, как неистово кричит тысячная толпа, торжествующая его победу.

Первым пришел Бухарбай, далеко оставив всех женихов. Все бросились к Ак-Бозат и не знали, как ее приласкать. Женщины целовали ее. Такого скакуна еще не видали в степи.

— Ты выиграл, Бухарбай, — сказал бий.

— Да, он выиграл, — согласился спокойно Цацгай. — Мэчит его, если он достанет калым... Хоть сейчас пусть берет ее. Я от своего слова не отказываюсь. Ведь все женихи обещали заплатить мне калым...

Никогда еще Бухарбай не чувствовал себя настолько несчастным, как в этот день своего торжества. Ему все завидовали, а он прокли-

нал себя... Да, проклятую бедность не объедешь ни на каком скакуне. Даже гордая Мэчит подошла к Ак-Бозат и обняла за шею благородное животное.

— Прощай, Мэчит! — сказал Бухарбай.

Девушка ничего не ответила, а только опустила свои гордые глаза.

IV

Байга сделала Бухарбая несчастным. Он потерял свой покой, нажитый тяжелым трудом. Тяжела показалась ему теперь жизнь простого пастуха. Да и все другие ему завидовали. А он все думал о Мэчит, о красавице Мэчит с чудными глазами.

— Вот тебе год, — сказал Цацгай. — Я свое слово держу, а ты добывай калым. Если в течение года не добудешь, я выдам Мэчит за другого...

Если бы Бухарбая кто ударил ножом, ему, кажется, было бы легче, чем услышать такие слова. А тут еще Мэчит смотрит на него и опять улыбается. Она полюбила Ак-Бозат и часто приходила кормить ее из своих рук. Теперь ей нечего было стесняться: Бухарбай

был ее жених, как это было всем известно.

— Бухарбай, ты очень любишь меня? — лукаво спрашивала красавица.

— Да...

— Даже больше, чем Ак-Бозат?

Этот вопрос смущал Бухарбая, и он не знал, что ответить, а Мэчит звонко смеялась и убегала.

Старый Цацгай тоже думал об Ак-Бозат. Все у него было — пятьсот лошадей, три тысячи баранов, красавица дочь, а такого скакуна не было. Далеко разлетелась слава Ак-Бозат по всей степи, и джигиты приезжали посмотреть на чудную лошадь. Эта слава не давала спать старому Цацгаю. Он только и думал об Ак-Бозат, как бы добыть ее от Бухарбая. Несколько раз скупой старик заводил такой разговор:

— Бухарбай, продай мне лошадь! Я тебе дам за нее двадцать лошадей — выбирай любых из всего табуна, да еще столько же баранов.

— Нет, — упрямо повторял Бухарбай.

— Дам тебе в придачу лучшую кибитку...

— Нет...

— Дам тебе серебряных денег, сколько можешь взять обеими руками.

— Нет...

— Дам тебе шелковый бешмет и два шелковых халата.

— Нет...

— Дам ружье, кинжал, саблю...

— Нет.

— Чего же тебе нужно?

— Мне ничего не нужно, Цацгай...

Впрочем, раз Бухарбай сам сказал:

— Давай все, что обещаешь, и Мэчит в придачу.

— Ого, ты не дурак... Только этого никогда не будет.

— Как знаешь. А мне и так хорошо...

Начал Цацгай сердиться на упрямого пастуха. Уж очень он зазнался со своею лошадью... Мало ли в степи хороших скакунов? Но как Цацгай ни успокаивал себя, но чудная лошадь не выходила у него из головы. Что ему, в самом деле, теперь нужно: все у него есть. Даже новую жену не нужно... А если бы была у него Ак-Бозат, он стал бы ездить по степи и на каждой байге всех бы обгонял. Нет другой

такой лошади... Старик даже похудел, потерял сон и так заскучал, что не знал, куда ему деваться. И собственное богатство сделалось не мило...

Кончилось тем, что Цацгай серьезно разнемогся. Лежит у себя в кибитке и стонет. Ни есть, ни пить не может. Наконец он сказал Мэчит:

— Иди и позови сюда этого упрямого осла... Я хочу с ним говорить.

Когда в кибитку вошел Бухарбай, старик сказал:

— Я захворал из-за твоего упрямства... Ты глуп, как четыре осла! Да... Если бы я был молод, я украл бы твою Ак-Бозат! А теперь... Слушай, упрямый человек, что я тебе скажу: бери, что хочешь, и... Мэчит в придачу.

Поклонился Бухарбай и отвечал:

— Ты много даешь, Цацгай, а хочешь взять у меня все... Ак-Бозат — благородной крови Исэк-Кырган. Когда я уходил из своего аула нищим, мать мне сказала, чтобы я не отдавал Ак-Бозат ни за что. Но я подумаю...

— Убирайся, худой человек, и думай! — стонал старик.

Когда Бухарбай выходил из кибитки, он встретил Мэчит; она стояла у входа, слышала весь разговор и теперь горько плакала.

— Ты меня не любишь, Бухарбай... — шептали девичьи губы, еще так недавно смеявшиеся над ним.

Не тронули Бухарбая просьбы и обещания старого Цацгая, а тронули девичьи слезы. Он вернулся в свою кибитку, как пьяный. Все у него кружилось в голове, и он не знал, что ему делать.

Лежит у себя в пастушьей дырявой и грязной кибитке Бухарбай, лежит и думает, а перед ним заплаканное девичье лицо, и девичий сладкий голос, и своя собственная жалость. Слышит он, как ходит недалеко от кибитки его сокровище Ак-Бозат, и опять не знает, что ему делать. Другие пастухи спят, а он мучается, как преступник. Молодое сердце так и бьет тревогу... Наконец оно взяло перевес, и Бухарбай решился уступить Ак-Бозат старому Цацгаю.

Но только он это подумал, как слышит, что Ак-Бозат заржала. Не успел он выскочить из кибитки, как послышался громкий топот. О,

как знал Бухарбай этот топот... Вор подкрался ночью и теперь летел, как ветер. Бросился Бухарбай в табун, выбрал лучшую лошадь и полетел в погоню. Гонит он час, гонит другой, и опять он слышит знакомый топот. Дрогнуло сердце в груди Бухарбая, и погнал он лошадь еще сильнее. Начинало светать, когда он завидел вдали Ак-Бозат: неужели это его Ак-Бозат, и неужели он ее догонит на простой табунной лошади? Еще никто не обгонял Ак-Бозат. Еще час гонится Бухарбай — вор уже совсем близко. Облилось кровью сердце Бухарбая, когда он настигал его. Не утерпел джигит и крикнул:

— Эй ты, шайтан, не умеешь ездить... Потрепли лошадь по шее!..

Вор так и сделал. Ак-Бозат полетела, как стрела. Скоро пропала совсем из виду. Бухарбай загнал насмерть свою лошадь, упал на землю и горько заплакал. Это Аллах его наказал за то, что он хотел уступить благородную Ак-Бозат старому Цацгаю. Любовь его ослепила...

V

В свой аул Бухарбай вернулся только через три дня. Его сначала даже не узнали, так он похудел, а глаза были совсем дикие.

— Если бы ты отдал мне Ак-Бозат, я сумел бы ее сберечь, — карал его старый Цацгай. — Ты упрямый осел, Бухарбай... Ты глуп, Бухарбай, как четыре барана.

— Меня наказал Аллах... — ответил Бухарбай. — Отпусти меня, Цацгай.

— Куда же ты пойдешь, несчастный байгуш?

— Пойду искать Ак-Бозат... Я не могу без нее жить.

Не так думала Мэчит. Очень она полюбила джигита, а девичье сердце не ищет богатства. Она сама пришла к Бухарбаю и сказала:

— Бухарбай, куда ты — туда и я... Я тебя люблю.

Заплакал Бухарбай, а Мэчит положила его голову к себе на колени и утешала ласковыми девичьими словами. Тут она узнала, как Бухарбай сделался байгушом, и еще больше его жалела. Из-за нее Аллах его наказал. По-

шла смелая девушка к отцу и сказала, что ни за кого больше не пойдет замуж, как только за джигита Бухарбая; он не простой пастух, а настоящий джигит.

— Не надо мне богатства, — говорила смелая девушка. — Лучше я буду женой простого пастуха.

Рассердился Цацгай, прогнал от себя дочь; но она пришла в другой раз и повторила то же самое. Разве что-нибудь поделаешь с упрямыми женскими словами? Еще сильнее рассердился Цацгай и сказал:

— Хорошо, упрямая коза... Бери своего Бухарбая, только я ничего не знаю. И тебя не знаю... А этот упрямый осел пусть не показывается мне на глаза, если хочет быть цел.

Много страшных слов наговорил старый Цацгай, как говорят и другие отцы, когда сердятся на непослушных дочерей, а потом смилостивилось отцовское сердце.

«Дам я кибитку Мэчит, — решил Цацгай. — Не жить же ей на самом деле вместе с пастухами... Упрямая девчонка не стоит этого, ну да уж так и быть...»

После кибитки дал Цацгай лошадей, потом

баранов, потом уж надавал всего. Он дает, а Бухарбаю все равно. Ничего не нужно джигиту.

Сыграли свадьбу, а Бухарбай все тоскует. Ласки молодой красавицы жены не утешали горя. По ночам Бухарбай часто просыпался и вскакивал, как сумасшедший. Ему все слышался топот Ак-Бозат... Вот-вот она уже совсем близко. Это она летит по степи, как ветер... Выскакивал Бухарбай из кибитки, брал лучшую лошадь и летел в погоню, а потом возвращался домой грустный-грустный.

Не мило было Бухарбаю и богатство, не милы ласки красавицы жены, ее молодой смех и песни. А тут еще новая беда: в аул пришел слепой байгуш с бандурой и запел песню про Ак-Бозат. В степи уже складывали ей песни.

С ветром спорила Ак-Бозат,
А крылья взяла у птицы...
Белая красавица, ты летала,
Как стрела, оперенная лебединым крылом.

— Слышишь, Мэчит? — стонал Бухарбай. — Это про нее поют, значит, она жива... О я несчастный!.. И я не умел сберечь это сокро-

вище...

А слепой байгуш сидит и поет:

Нет цены хорошей лошади,
Она все для джигита:
И дом, и богатство, и честь.
Без лошади нет и джигита!

Пришел Бухарбай к старому Цацгаю и сказал:

— Я ухожу, старик...

— Куда?

— Не знаю. Не могу больше терпеть...

— А жена?

— Жена подождет... Ничего мне не нужно.

Отправился Бухарбай странствовать по степи, из аула в аул, от одного колодца к другому. Где завидит в табуне белую лошадь, так у него сердце и упадет. Подъедет, посмотрит — нет, не Ак-Бозат. И опять дальше, точно кто его гонит.

Когда вечером Бухарбай ложился спать, ему каждый раз слышался топот Ак-Бозат. Да, он слышал, как она делала широкий круг, а близко не подходила. О, это была она, Ак-Бозат... Бухарбай весь трепетал и молился Аллаху. С каждым днем Ак-Бозат делала круги все

меньше и меньше. Бухарбай перестал есть и похудел, как скелет.

«Скоро уж...» — говорил он самому себе.

А в степи между тем разнеслась весть, что бродит сумасшедший джигит и все ищет какую-то белую лошадь. Матери начали пугать им своих детей, а большие побаивались ночной встречи. Его видали разом в нескольких местах.

Собрались степные джигиты вместе и пробовали ловить Бухарбая; но он каждый раз уходил от них.

Наконец совсем обессилел Бухарбай и целых три дня лежит у степного колодца. У него не было сил подняться на лошадь, а как наступала ночь, опять являлась Ак-Бозат и начинала делать свои круги. Теперь она была уже совсем близко, и Бухарбай только не мог открыть глаз, чтобы посмотреть на лошадь.

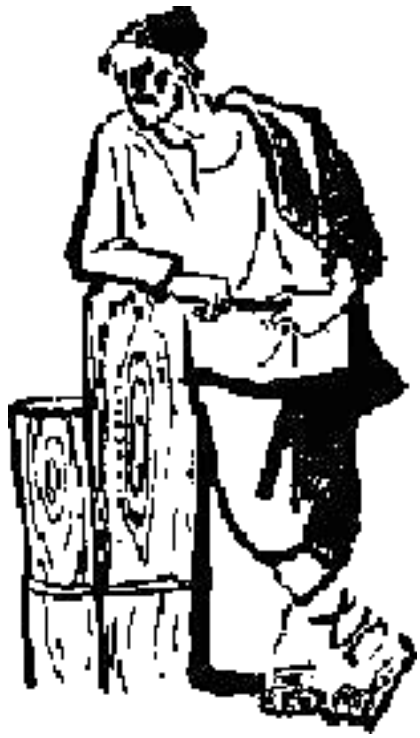
Однажды, — это была четвертая ночь у колодца, — он лежал как мертвый. Вдруг топот уже совсем близко, тут... Бухарбай открывает глаза, а над ним стоит Ак-Бозат. Он хотел крикнуть, но только застонал...

Степные джигиты нашли Бухарбая мерт-

вым у колодца. Он прижимал окоченевшими руками к груди свою белую войлочную шляпу.

Балабурда

I



В моих скитаниях по Уралу мне случилось раз заехать в трактовую,[7] но глухую деревушку Матвееву, Кунгурского уезда. Пора была летняя, жаркая, и я вперед мечтал о том блаженном моменте, когда на почтовой станции смогу напиться чаю. Мысль по существу довольно скромная, но она заслоняла собой решительно все. Только тот, кто по целым дням глотал накаленную трактовую пыль, поймет это душевное состояние.

— Эвон она, Матвеева-то! — весело прого-

ворил ямщик, когда мы поднялись на гору. — Только, значит, под горку спустимся, через реку на пароме переедем, — тут тебе и самая эта Матвеева.

Дорожные ямщики любят поболтать с проезжающим, а то дурь возьмет сидеть истуканом три-четыре часа.

Наш экипаж начал осторожно спускаться под гору. Место было глухое, лесное, но красивое дикой красотой не тронутого еще цивилизацией далекого угла. Глядя на такие забытые богом и людьми веси,[8] невольно думаешь, что ведь и тут люди живут, у них свои заботы, огорчения, радости и надежды, и что вот эти не ведомые никому люди не променяют своего насиженного места ни на какие блага. Человек — раб привычки.

По мере спуска с горы, Матвеева выступала во всем своем великолепии, то есть на другом высоком берегу обрисовывались ряды крепких изб, гумна, огороды, разная другая хозяйственная городьба. Я только сейчас заметил, что в полугоре, с правой стороны нашего спуска, в ряд вытянулись тоже избы, заметил потому, что от крайней избы с приби-

той к коньку елочкой, заменявшей кабацкую вывеску, бежал к нам мужик, размахивал руками и кричал:

— Эй, стой, ядрена канавушка!.. Стой, братцы!

К моему удивлению, ямщик осадил лошадей.

— Что ему нужно? — спросил я.

— Как что?.. Да это Балабурда...

Такой рекомендации было совершенно достаточно. Балабурда был легендарный человек, известный на три губернии, как сказочный богатырь. Я о нем много слышал и теперь смотрел с любопытством неисправимого туриста. Первое впечатление было не в пользу богатыря: издали он казался самым обыкновенным мужиком, рослым и сутулым, каких на Урале встретить не редкость. Почему-то все силачи отличаются сутулостью, длинными руками и особенно развитой нижней челюстью. Когда Балабурда подошел совсем близко к экипажу, впечатление получилось другое: это был действительно богатырь, один из тех богатырей, каких рисуют только на лубочных картинках. Больше всего пора-

жало его громадное лицо с мясистым носом и какими-то детскими серыми глазами. Одет он был по-крестьянски — в синюю пястрядевую рубаху, такие же штаны и в чекмень из домашнего сукна. Особенный эффект производили лапти, — в Сибири и на Урале лаптей не носят по той простой причине, что нет липы. Кунгурский уезд в этом отношении представлял исключение, и, как мне показалось, именно лапти больше всего шли этому русскому деревенскому богатырю, а сапоги испортили бы впечатление.

— Здравствуй, ядрена канавушка, — добродушно забасил Балабурда, протягивая мне свою руку.

Рука Балабурды представляла по величине что-то невероятное, и моя в ней казалась ручонкой ребенка. Вот это так богатырь!

— Ты, Вася, вот что... — заговорил ямщик. — Того, значит... На козлы я тебя не посажу, еще как раз грешным делом ось сломается, а ты на задке приспособься.

— Ладно, ладно, ядрена канавушка...

Богатырь взмостился на заднюю ось, упершись руками в спинку экипажа, и мы отправи-

лись дальше, к перевозу. Я чувствовал, как экипаж начал раскачиваться с подозрительной любезностью, — вот-вот дроги лопнут.

— Эй, ты, шевели бородой, ядрена канавушка! — покрикивал Балабурда на кучера.

Перевоз был пуст. Балабурда схватил канат и так принялся его раскачивать, что из сторожки выскочил перепуганный перевозчик.

— Васька, разбойник, да ты столбы выворотишь! — отчаянно вопил он.

— А ты не спи, ядрена канавушка...

Пока мы переправлялись на другую сторону, перевозчик не переставал ругаться.

— Навяжется же этакое чадушко, прости господи!.. А канат бы оборвал, тогда что?.. Одно слово — медведь...

— Ну, перестань... Будет.

— Знаем мы твои-то художества, Вася...

В голосе перевозчика послышалась уже любовная нота. Мне нравилось, что односельчане звали своего богатыря этим детским именем: Вася. Именно Вася, и больше ничего. Такого уж бог уродил, и ничего с ним не поделаешь, а все-таки любопытно.

Через пять минут мы были уже на станции, то есть в простой крестьянской избе, поставленной из прекрасного леса с такой крепостью, как умеют строиться только в лесных трущобах, где лес нипочем.

II

— Барин, а ведь мы про водку-то и забыли, ядрена канавушка! — заявил Балабурда, входя за мной в избу.

— Как же быть?

— А я живой рукой оберну… Рукой подать до кабака-то. — Балабурда взял деньги и трусцой полетел под гору, к перевозу.

— Эко, как водка-то человека гонит, — наставительно заметил седой старик, содержавший разгон.[9] — Ох, грехи наши тяжкие!..

— А что он делает у вас, Балабурда? — спросил я.

— Да что ему делать-то? Ничего не делает… Сидит день-деньской в кабаке и дожидается проезжающего. Ну, господам любопытно, сейчас ему водки… На, пей. Только и всего ремесла. По веснам на сплав уходит на Чусовую. Ну, там что заработает, то и пропьет. Главная

у него ошибка выходит, когда он в Пермь попадет... Тут уж ему лафа, потому как купцы до полусмерти запоят. Так из кабака в кабак и ходит с месяц, поколь всякий образ не потеряет. Значит, пора домой... И удивительные эти самые городские купцы: водкой хоть обливайся, а чтобы настоящего — ну там из одежи что, али деньгами — ни-ни. Конечно, Вася слабый человек и придет с работы в чем ушел.

— Жена у него есть?

— Как же, есть...

— Такая же большая?

— Нет, совсем обыкновенная бабенка.

— А дети?

— Ну, детьми господь миловал... Куда им с детьми? Жена же и кормит Васю, а он только попашет да покосит... Какие уж тут дети.

Весь репертуар жизни богатыря Васи был налицо. Мне было грустно думать, что этой громадной силе не нашлось другого приложения, как пропадать по кабакам и утешать пьяных купцов. И обидно, и жаль, и ничего не поделаешь. Вся беда Васи заключалась в том, что он родился немного поздно, а родись

он лет пятьсот назад, — наверное попал бы в цикл былинных богатырей. В самом деле, все эти Ильи Муромцы, Микулы Селяниновичи и остальная богатырская братия кажутся вымыслом народной фантазии и достоянием разных хрестоматий и академических изданий, а тут налицо живой былинный богатырь, которому, как настоящему русскому богатырю, и деваться-то некуда с своей силушкой богатырской. В своем роде тоже лишний человек...

— А отец у него какой из себя?

— Отец и мать обыкновенные, а вот сестра была так дерево деревом, вся в братца родного... Так уж божецкое произволение. Сперва-то Вася жил справно, как следовает христьянину, ну, а потом как попал на сплавы да в Пермь, ну и потерял себя. В Питер ведь его возили, да, сказывают, рылом не вышел и спина горбом, — там прямых человеков надобно.

Хорошо, что Балабурда не попал к какому-нибудь антрепренеру, который повез бы этого богатыря по всем европейским городам, как диковинку. Я лично не могу видеть этого

живого товара, который выставляется по балаганам и циркам. Пусть уж лучше сидит у себя в Матвеевском кабаке и выжидает проезжающих.

Балабурда явился с водкой, когда самовар был уже на столе. Он с какой-то жадностью выпил первый стакан.

— Ты бы, Вася, дал отдохнуть вину-то, — укоризненно заметил ворчливый старик хозяин. — Все одно, всей водки не перепьешь...

Богатырь только покрутил своей кудрявой русой головой. Эх, дескать, уж что тут говорить!.. В одной рубахе и без шапки он казался еще больше, и жаль, что не было художника, который мог бы его срисовать для какой-нибудь картины из богатырского эпоса. Пока я пил чай, Балабурда успел выпить всю водку и как-то сразу захмелел. Глаза сделались мутные, он весь как-то осунулся и тяжело дышал.

— Ах, ядрена канавушка!.. — бессмысленно повторял он свою поговорку. — Еще бы, барин, а?

— Довольно, Василий...

— И то довольно... Ну ее, эту самую водку! Плевать мне на нее...

— Да тебя, идола, разве напоишь? — ворчал старик. — Другому, правильному человеку, водка впрок, а в тебя как в прорву...

Лошади уже были заложены, и новый ямщик, сын хозяина, лихо выкатил на улицу. Мы вышли. Балабурда, покачиваясь, счел своим долгом проводить меня. Он сильно пошатывался и бормотал что-то бессвязное. Когда я уже сидел в экипаже, подошли двое парней с балалайкой. Завидев пьяного Балабурду, парень с балалайкой заиграл плясовую. Богатырь повел могучими плечами и пустился плясать, грузно притоптывая своими крестьянскими лапотками. На меня эта картина произвела еще более грустное впечатление.

— Эх, ты! да эх, ты!.. — выкрикивал Балабурда, размахивая своими длинными руками, и потом хрипло запел:

Я без пряничка не сяду,
Без орешка не ступлю...

Глядевший в окно старик только качал строго головой и наставительно повторял:

— Винцо пляшет, винцо песенки поет...

Когда экипаж тронулся, Балабурда ринулся

за нами и крикнул:

— Эй, барин, ежели выворотишься, так я, значит, завсегда там... в кабаке!..

III

Дорогой мы разговорились с ямщиком. Это был молодой парень с настоящей ямщицкой ухваткой. От него так и веяло молодой удалью. Когда застоявшиеся лошади прошлись, он повернулся ко мне и заговорил:

— И что это старикам Вася дался?.. Поедом едят. А разве кому он зло делает, окромя себя? Мухи не пошевелит, — вот какой человек он есть... К вину действительно припадошен, так это опять же его дело. Жаль, конечно, а так хороший мужик.

— Как он на сплав попал?

— Опять не его причина... Мы тут займуемся рубкой леса, ну из казенной дачи, скажем, воруем да по своей реке сплавляем. Хорошо. Только наезжает главный лесничий по зиме. Объездчик везет его по лесу. Глядят: дерево срублено, а конного следу нет. А это Вася срубит бревно, на плечо, да и волокет... Ох, здоров он, барин! Ну, лесничий-то вызвал его,

подивился и даже протоколу не составил. А потом взял да увез на пристань, как диковинку. Ну, там Вася еще в лучшем виде себя показал. Знаешь чугунные бабы, которыми сваи забивают? В каждой верных двадцать пудов будет. Ну, бурлачки две таких-то бабы и тащили из амбара на барку. Галдят, орут, замаялись... Вася посмотрел-посмотрел, да и говорит: «Ну-ко я вам помогу, братцы!» Взял одну бабу одной рукой, другую другой да и унес на барку, точно два пуда. Тут уж его и вызнали, каков таков есть Балабурда... Тут уж ему честь пошла и от караванного, и от лесничего, и от бурлаков, потому как всем любопытно.

— А Балабурда — это фамилия или прозвище?

— Да так все говорят: Балабурда да Балабурда. Значит, сызмальства, когда еще ребята придумали. А сам-то Василий это не любит... Вот, поди ты, не ндравится слово. Как-то у нас в Матвеевой пристал к нему пьяный мужичонко. Жужжит около него мухой: «Балабурда, Балабурда». Ведь озлил-таки Васю... Сначала все глядел на мужичонка, а потом взял с

него шапку, вышел из кабака, одной рукой поднял три венца, значит три верхних ряда бревен, вместе с крышей, да в паз и засунул шапку. На, получай... Потом-то чуть не всей деревней выстреливали эти самые три венца и едва шапку добыли. В другой раз так же вот к Васе пьяный чиновник в Перми привязался на рынке. Терпел он, терпел, а потом, как котенка, поднял одной рукой за шиворот, плюнул ему в морду и бросил в грязь. Невероятная в нем сила, барин, и ежели бы при такой силе да злость, так всю деревню по бревнышку разнес бы. Смирен, уж нечего сказать... На барках он за шестерых управляется.

* * *

В Матвеевой я был потом лет через семь. Оказалось, что былинный богатырь приказал долго жить. Отчего он умер, — я не мог добраться, но вернее всего — от того зелена вина, от которого извелось так много на Руси богатырей.

В глуши

I

Деревня Шалайка засела в страшной лесной глуши, на высоком берегу реки Чусовой. Колесная дорога кончалась в Шалайке, а дальше уже некуда было и ехать. Да никто и не приезжал в Шалайку, за исключением одного священника, жившего в Боровском заводе, до которого считали тридцать верст. Когда он приезжал, то постоянно удивлялся, что у всей деревни одна фамилия — Шалаевы. Собственно, даже фамилии не было, а только прозвище по деревне.

— Как же я вас буду в книге записывать? — говорил священник.

— Вот в нынешнем году три Ивана Шалаевых умерли и три Ивана Шалаевых родились, а в прошлом году было то же самое с Матренами, — две Матрены умерли и две Матрены родились! Всех перепутаешь как раз.

— Уж так с испокон веку, — объяснял староста, — все Шалаевы, и делу конец! Значит, прадед-то наш прозывался Шалаем, вот и вышли все Шалаевы, по прадеду, значит. От начальства тоже прижимки бывают... Как-то лет с пять назад возил я сдавать в солдаты наших парней, и, как на грех, подвернулись три Сидора и все Иванычи. Воинский начальник даже обиделся...

— Надо бы все-таки фамилии придумывать, — советовал священник. — Оно для вас же удобнее.

— А для чего нам, батюшка, фамилии? Живем в лесу с испокон веку и друг дружку знаем... А покойников на том свете господь-батюшка разберет и без нас, кто чего стоит.

Издали Шалайка была очень красива, особенно если смотреть с реки, — избы стояли на

самом солнцепеке, как крепкие зубы, и какие были избы: одна другой лучше, — благо лес был под рукой и обошел деревушку зеленой зубчатой стеной. Пашен было совсем мало, потому что шалаевцы промышляли главным образом лесом, да и в горах лета стоят холодные и земля плохо родила. Вот сено было нужно, и его косили по лесным еланям[10] или по мысам на реке Чусовой и заливным побережьям. Всех дворов в Шалайке насчитывали двадцать семь, и все шалаевцы составляли одну громадную семью, связанную родственными отношениями.

Изба Пимки стояла на самом юру, то есть почти на обрыве. Летом из окошек можно видеть разлив реки Чусовой верст на пять.

Сейчас за рекой шел нескончаемый лес, и никто в Шалайке не знал, где он кончался, точно деревня стояла на краю света.

Пимке шел уже десятый год, и он нигде не бывал и ничего не видал, кроме своей деревни. Нужно сказать, что шалаевцы ужасно любили свою деревню и даже гордились ею. Когда молодых парней сдавали в солдаты, они расставались с родным гнездом с такими сле-

зами, каких, вероятно, не проливают рекруты из Москвы или Петербурга. Можно было подумать, что только и можно было жить на белом свете, как в Шалайке. Пимка помнил, как провожали в солдаты его старшего брата Ефима и других парней, и тоже ревел вместе со всеми.

— Перестаньте вы, глупые! — уговаривал дядя Акинтич, отставной солдат. — О чем вы плачете? Не с волками будет жить, а с добрыми людьми; по крайней мере, всего посмотрит, как другие живут, ну, и поучится на людях. В Шалайке-то всю бы жизнь в лесу прожил... Невелика радость!

Солдату Акинтичу никто не верил. Хорошо было говорить, когда сам отслужил свою службу. Если бы уж было так сладко на чужой стороне, так зачем солдат вернулся опять к себе в Шалайку?

Акинтич жил у отца Пимки, потому что своя семья как-то разошлась: старики примерли, сестры повыходили замуж, а о женатыми братьями солдат не ладил. Пимка ужасно любил солдата Акинтича, который так хорошо рассказывал и знал решительно все,

рассказывал даже лучше баушки,[11] Акулины, которая знала только сказки да «про старину». Когда брат Ефим ушел в солдаты, Акинтич занял его место. Семья была хоть и большая, но настоящих работников оставалось всего двое: отец Егор да второй брат Андрей. Был еще дедушка Тит, только он уже не мог идти за работника, потому что жил больше в лесу и домой редко выходил. Бабы в счет не шли. Мать, Авдотья, управлялась по дому, а старшая сестра, Домна, была «не совсем умом». С этой Домной вышел такой случай. Летом бабы пошли за малиной на старый Матюгин курень[12] и Домна с ними. Она была еще подростком и как-то отбилась от партии. Искали-искали ее бабы и не могли найти. Потом целых три дня искали по лесу всей деревней и тоже не нашли. Так и решили, что Домну задрал медведь. Разыскал ее уж на пятый день дедушка Тит. Забилась Домна на сосну, уцепилась и голосу не подает. Едва старик отцепил ее от дерева и привел домой еле живую. С тех пор Домна стала «не совсем умом». Все молчит, что ей ни говорят. Работать работала, когда мать заставляла, а так —

все равно что дитя малое. Деревенские ребятишки любили ее дразнить. Обступят гурьбой и кричат:

— Домна, покажи, как лешак хохочет...

Стоило ей сказать это, как Домна принималась дико хохотать, выкатывала глаза и делалась такой страшной. Все говорили, что она видела «лешака» и что он пугал ее своим хохотом. Кроме Домны, были еще ребятишки, но те — совсем малыши и ни в какой счет не шли.

Вся Шалайка промышляла лесной работой, и семья Пимки тоже. Еще дед Тит работал в курене, и отец Егор принял его работу. Другие рубили дрова, вывозили лес на Чусовую, где вязались плоты и сплавлялись бревна на нижние пристани. Работа была не легкая, но все привыкли к ней и ничего лучшего не желали. Да и чего же можно желать, когда человек сыт, одет и в тепле? Пимка тоже знал, что будет работать в курене, и часто говорил отцу:

— Тятя, а когда ты возьмешь меня в курень?

— Погоди, твое время еще впереди, Пим-

ка... Успеешь и в курене наработаться, дай срок.

И Пимка ждал. Ему казалось, что как только он уедет в курень, так сейчас же сделается большим. До куреня считали верст тридцать, и проехать туда можно было только зимними дорогами. Дедушка Тит оставался там иногда и на лето. Пимку беспокоило немного только одно, — в лесу «блазнит»,[13] как поблазнило Домне. Того и гляди, что лешак глаза отведет и в лесу запутает. Впрочем, лешак и около самой Шалайки пошаливал, особенно за Чусовой. Баушка Акулина не раз слыхала, как он ухает по ночам, а одну бабу на покосе лешак совсем было задушил. Еще страшнее была лешачиха, которая жила прямо в воде, на Чусовой. Ее и большие мужики боялись; когда по ночам лешачиха шлепалась в воде, по всей реке гул шел. Лешачиха любила подкарауливать в жаркие летние дни маленьких ребятишек, когда они выходили купаться в Чусовой, и утаскивала их к себе в омут. Все знали, что она жила в омуте, всего с версту от Шалайки, где стояла высокая скала, а под ней в реке и дна не было. Дед Тит своими глазами видел

лешачиху, только не любил об этом рассказывать: вся черная, обросла мокрой шерстью, а глаза, как у волка. Только один солдат Акинтич не боялся ни лешака, ни лешачихи и даже ездил по ночам ловить рыбу в омуте.

— Пустые слова это старухи болтают, Пимка, — коротко объяснял он. — А ты, главное, ничего не бойся... ни-ни! И никогда тебе страшно не будет... Понимаешь ты это самое дело?

— А ежели лешачиха за ногу сцапает? — спрашивал Пимка.

— Не сцапает... А ежели что — ты ее в морду. И лешак тоже пустое дело... Он ухнет, а ты еще пуще ухни. Он ребенком заплачет, а ты опять ухни... Хорошо ему баб пугать. Говорю: ничего не бойся, Пимка, и не будет страшно.

Мы уже сказали, что в Шалайку никто не приезжал, да и ехать дальше было некуда. Из «чужестранных» людей изредка появлялись только куренные подрядчики да охотники, промышлявшие поздней осенью рябчиков и белку. Солдат Акинтич тоже «ясачил» в свободное время и водил дружбу со всеми охотниками. Они и останавливались в избе Егора.

Пимка, лежа на полатях, любил послушать охотничьи рассказы, особенно когда заходила речь о проказах косолапого Мишки. Дедушка Тит убил не один десяток медведей, но не любил об этом говорить. Он бросил совсем охоту, когда последний медведь так помял ему ногу, что дедушка остался хромым на всю жизнь. Акинтич, выпивши, любил похвастаться своей удалью и рассказывал охотникам небывалые вещи про свои подвиги, пока брат Егор не останавливал его:

— Будет тебе врать, Акинтич... Как раз подавишься.

Самое веселое время в Шалайке было весной, когда по Чусовой проходил сверху караван. Вешняя полая вода подымалась в реке сажени на две, и по ней быстро летели сотни барок. Вся деревня высыпала на берег посмотреть. Пимка тоже смотрел и думал о том, куда плывут барки и какие люди на них плывут. Акинтич один из всей деревни плавал на барке и рассказывал разные страсти о том, как неистово играет в камнях река, как бьются о скалы барки, как тонет народ. Акинтич знал решительно все на свете и называл какие-то

мудреные места, куда сгоняют все барки.

— Там, брат, народ богатый живет, — объяснял он Пимке. — И все покупают, что ни привези... И лес, и железо, и медь, и белку, и рябчика — только подавай. Дома там каменные, а по реке бегут пароходы.

II

Пимке шел одиннадцатый год, когда отец сказал:

— Ну, Пимка, собирайся в курень... Пора, брат, и тебе мужиком быть.

Это было в начале зимы, когда встала зимняя дорога. Пимка был и рад, но и побаивался. В курене, — конечно, лешачихи не было, а зато были медведи. Он никому не сказал про свой страх, потому что настоящие мужики ничего не боятся. Мать еще с лета заготовила будущему мужику всю необходимую одежду: коротенький полушубок из домашней овчины, из собачьего меха ягу,[14] пимы, собачьи шубенки,[15] такой же треух-шапку — все, как следует настоящему мужику. По зимам стояли страшные морозы, когда птица замерзала на лету, — недели по две, и спасал толь-

ко теплый собачий мех. Особенно доставалось углевозам, которые возили уголь с куреня в Боровский завод. Редкий не отмораживал себе щек и носа. Мать почему-то жалела Пимку и на проводинах всплакнула.

— Ты смотри, Пимка, не застудись... В балагане[16] будешь жить, а там вот какая стужа.

— Ничего, мамка! — весело отвечал Пимка. — Я с Акинтичем буду жить, а он все знает... Мы еще медведя с ним залобуем.[17]

— Ладно... Вот уши себе не отморозь.

— Мы его в кашевары поставим, — объяснял отец. — Чего ему дома-то зря болтаться, а там дело будет делать. Тоже кошку не заставишь кашу варить... Так, Пимка? Дед тебе обрадуется... Старый да малый — будете жить в балагане.

— Я, тятя, ничего не боюсь.

— А чего бояться? С людьми будешь жить.

Пимке ужасно понравилась дорога в курень, которая шла все время лесом. Снег только что выпал, и болота еще не успели замерзнуть по-настоящему. Ехали в большом угольном коробе, сплетенном дедушкой Титом из

черемуховых прутьев. Старик целое лето оставался в курене, гнул березовые полозья для саней, дуги и плел коробья. Он все умел делать, что было нужно для куренной работы и для домашности. Мужикам — топорища, бабам — корыта и вальки — все нужно. Лес только еще был запушен первым снегом. Дремучие ельники стояли стена стеной, точно войско. На месте старых куреней росли осинники и березняки. Зимой они имели такой голый вид. Отец правил лошадью и время от времени говорил Пимке:

— Смотри, вон заячий след... Видишь, какие петли наделал по снежку. Такие узоры поведет, что и не распутаешь. А вон лиса прошла... Эта, как барыня, идет и след хвостом заметает.

В одном месте Егор остановил лошадь, долго рассматривал след и объяснял:

— Волчья стая прошла... Они, брат, как солдаты, шаг в шаг ступают. Прошла стая, а след точно от одного... Наш лесной волк не страшен, потому как везде ему по лесу пища: зайца поймает, рябчиком закусит, а то и целого глухаря раздобудет. Смышлястый зверь...

В другом месте Егор показал Пимке большой след. На молодом снегу отпечатались точно коровьи копыта.

— Это зверь сохатый прошел... Вон как отмахивал. В самый бы раз нашему солдату его залобовать... Весь бы курень был сыт, а кожу продал бы в заводе. Надо будет ему сказать... Пусть по следу его ищет.

В курень приехали уже ночью. Было совсем темно, и Пимка задремал, свернувшись калачиком на дне короба. Место куреня можно было заметить издали по зареву, которое поднималось над горевшими «кучонками», то есть кучами из длинных дров, обложенных сверху дерном. Немного в стороне стояли четыре балагана. Егор подъехал к тому, в котором жил дедушка Тит. Еще издали гостей встретила лаем пестрая собака Лыско, которая очень сконфузилась, когда узнала свою лошадь. На лай изо всех балаганов показались мужики.

— Это ты, Егор?

— Верно, я... Вот я вам какого зверя привез. Пимка, вылезай...

Выскочил из балагана Акинтич и вытащил

Пимку, который никак не мог проснуться. Когда Акинтич его встряхнул, Пимке показалось очень холодно. В балагане сидел дедушка Тит и наблюдал за кипевшим на очаге из камней железным котелком, в котором варилась просяная каша на ужин. Увидав внука, старик обрадовался.

— Ну, ну, садись, гость будешь, — говорил он. — Что, озяб? Погоди, вот поешь каши и согреешься.

Балаган представлял собой большую низкую избу, без окон и без трубы. Заднюю половину занимали сплошные полати на старых еловых пнях. Налево от низенькой двери в углу был устроен из больших камней очаг. Вместо трубы в крыше чернела дыра, и дым расстилался по всему балагану, так что стоять было невозможно, и Пимка сейчас же закашлялся, наглотавшись дыму. Потолок и стены были покрыты сажей.

— Что, не понравилось наше угощение? — шутил Акинтич. — А ты пока садись на пол, Пимка, вот к дедушке...

Старый Тит ужасно был рад внучку и посадил его рядом с собой на обрубок бревна. Ста-

рику было под восемьдесят, и его седая борода превратилась в желтую, но он еще держался крепко, а в работе, пожалуй, не уступал и молодым мужикам. Только, к несчастью, у дедушки Тита начинала болеть спина и «тосковали» застуженные ноги.

— Вот тебе, дедушка, и помощник, — галдели набравшиеся в балаган мужики. — Он, брат, этот самый Пимка, ежели до каши, так первый работник...

Все дроворубы и углежоги благодаря жизни в курных балаганах походили на трубочистов. Все равно, мойся не мойся, а от дыма и сажи не убережешься. Теперь все были рады новому человеку и шутили над малышом, как кто мог придумать. Пимка был совершенно счастлив. Мужики были все свои, шалайские, и он всех знал в лицо. Отец Пимки привез из деревни всякой всячины и теперь делил — кому хлеба, кому шубу, кому новый топор, кому приварок ко щам, кому новую рубаху.

Пимка наелся горячей каши с таким удовольствием, как никогда не едал, и тут же заснул, сидя на обрубке около деда.

— Ну, надо малыша на перину укладывать, — шутил Акинтич, устраивая на нарах для Пимки постель из сена. — Вот мы тут зеленого пуху настелем, — спи только.

Сонного Пимку Акинтич перенес на руках, уложил на нарах и прикрыл своей ягой.

— Ишь ты, как малыша сон-то забрал! — удивлялись мужики. — Это он намерзся дорогой-то да прямо в тепло и попал, ну и разомлел...

Один по одному мужики разошлись из балагана деда Тита. Утром всем надо было рано вставать.

Утром на другой день Пимка проснулся рано, проснулся от страшного холода. В балагане было тепло, пока горел огонь на очаге; а только огонь гас — все тепло уходило частью кверху в дымовую дыру, частью — в плохо сколоченную дверь. Плохо было то, что приходилось выжидать, пока огонь прогорит дотла и выйдет дым; потом уже дедушка Тит поднимался на крышу и прикрывал дымовую дыру еловой корой, а сверху заваливал хвоей. В балагане было или страшно жарко, или страшно холодно.

Работа на курене уже кипела, когда Пимка вышел из балагана. Дедушка Тит у самого балагана налаживал новые дровни. Где-то в лесу трещали топоры, рубившие застывшее дерево, а на свежей поруби сильно дымили до десятка кучонков. Это были кучи больше сажени в высоту и шириной сажен до трех. Внутри уложены были дрова стоймя и горели медленным огнем, вернее, не горели, а медленно тлели. Весь секрет состоял в том, чтобы дерево не истлело совсем, а получился крепкий уголь. Такой кучонок горел недели две, пока не превращались в уголь все дрова. У каждого кучонка был свой «жигаль», который должен был следить за всем. Вся работа пропадала, если огонь где-нибудь пробивался сквозь дерн, и тогда весь уголь сгорал. «Жигали» не отходили от своих кучонков ни днем, ни ночью. Это была самая трудная и ответственная работа. Дроворуб ничем но рисковал, и углевоз тоже, а «жигаль» отвечал за все. В «жигали» поступали самые опытные рабочие. Издали эти кучонки походили на громадные муравейники, с той разницей, что последние не дымятся, а от кучонков валил

день и ночь густой дым. Выгоревший кучонок должен был еще долго отдыхать, пока окончательно не остынет весь уголь. Дедушка Тит «ходил в жигалях» лет сорок, а теперь его заменил сын Егор. Куренные мужики на этом основании сразу прозвали Пимку «жигаленком».

В первый же день Пимка освоился со всеми порядками куренной жизни. Вставали до свету, закусывали, чем бог послал, а потом шли на работу до обеда. После обеда немного отдыхали и потом работали, пока было светло. Работа была тяжелая у всех, и ее выносили только привычные люди. Дроворубы возвращались в балаган, как пьяные, — до того они выматывали себе руки и спину. Углевозы маялись дорогой, особенно в морозы, когда холодом жгло лицо. А всего хуже было жить в курных, всегда темных балаганах, да и еда была самая плохая: черный хлеб да что-нибудь горячее на придачу, большей частью — каша. Где же мужикам стряпню разводить!

— Уж и жизнь только, — ворчал солдат Акинтич, отвыкший за все время своей солдатчины от тяжелой куренной работы. — Бро-

шу все и уйду куда глаза глядят. Главная причина, что нет бани. Весь точно из трубы сейчас вылез.

Все куренные мечтали о бане и завидовали каждому, кто отправлялся в деревню; поехал, значит, и в бане побывает. Ездили по очереди, а в целую зиму другому придется побывать всего два раза.

Пимка прожил несколько дней в курене, и его страшно потянуло домой. Очень уж тяжело было жить в лесу, и мальчик совершенно был согласен с дядей Акинтичем, что надо отсюда уходить куда глаза глядят. Пимка даже всплакнул потихоньку ото всех.

III

Самое тяжелое были праздники. Конечно, можно было съездить в Шалайку «на обыденку», но все жалели маять напрасно лошадей. Взад и вперед нужно было сделать верст шестьдесят, да еще плохой лесной дорогой. В праздник работать грешно, и все убивали время как-нибудь. Сидеть днем по темным балаганам было тошно, и все собирались «на улицу». Разведут громадный костер, рассядутся кругом и балагурят. Первым человеком на этих беседах, конечно, был Акинтич, которого солдатом гоняли до Москвы. Все остальные дальше Боровского завода не бывали. Акинтич и сам любил рассказать разную побывальщинку.

— Ты только, пожалуйста, не ври, солдат, — упрашивали куренные мужики.

— Чего мне врать-то? Вы ничего не видали, вот вам и кажется, что все удивительно... Возьмите теперь хоть пароход — во какая махинища! Народу на нем едет человек с тыщу, а он еще за собой не одну барку волокет. Всю Шалайку свезет зараз... А то теперь чугунка.

Ну, эта еще помудренее: как свистнет, — и полетела. Тоже волокет народу видимо-невидимо и кладь всякую. Сидишь себе, как в избе, и в окошечко поглядываешь, тоже как в избе. Не успел оглянуться, а она уж опять свистнула, — значит, приехали. Теперь вот ежели бы до Боровского завода наладить чугунку, — в один бы час с куреня махнули туда, а теперь вы с углем ползете все шесть часов, да сколько дорогой намаетесь.

— Ах, солдат, врешь!..

— Ну, как же я с вами разговаривать буду, ежели вы ничего не понимаете?

И Пимке тоже казалось, что солдат врет, особенно когда рассказывает, как живут в разных городах. Пимке казалось, что все люди должны рубить дрова и делать уголь, а тут вдруг каменные дома, каменные церкви, пароходы, чугунки и прочие чудеса. Куренные мужики иногда для шутки начинали высмеивать солдата:

— Может, ты, солдат, и по небу летал? Чего тебе стоит соврать-то?

Акинтич свирепел и начинал ругаться. Он ужасно смешно сердился, и все хохотали.

— Уйду я от вас, вот и конец тому делу! Надоело мне с вами в темноте жить... Уйду в город и поступлю дворником к купцу. Работа самая легкая: подмел двор, принес дров, почистил лошадь — вот и все. В баню хоть каждый день ходи... Одежа на тебе вся чистая, а еды до отвалу. Щи подадут — жиру не продуешь; кашу подадут — ложка стоит, точно гвоздь в стену заколотил. А главное дело — чай... Уж так я, братцы, этот самый чай люблю, и не выговоришь.

— Да он с чем варится, чай-то?

— Трава такая... китайская...

— Может, крупы там или говядины прибавляют?

— Ах ты, боже мой... И что я только буду с вами делать? Ну, как есть ничего не понимает народ... Одним словом, с сахаром чай пьют! Поняли теперь? Да нет, куда вам... Тоже вот взять лампу, — вы и не видывали, а вещь первая. В Шалайке-то с лучиной сидим, а добрые люди с лампой. Значит, ну, по-вашему плошка такая стеклянная, в ей масло такое налито, керазим называется, ну, фитилек спущен, по-вашему — светильня; ну, сейчас спичкой — и

огонь! А главная причина, можно свет-то прибавлять и убавлять, не то что в свече сальной... Поняли теперь?

— Грешно это все... — говорил дедушка Тит. — Напьюсь это я твоего чаю, наемся щтей да каши, поеду на чугунке али на пароходе, а кто же работать-то будет? Я побегу от черной работы, ты побежишь, за нами ударится Пимка и вся Шалайка, ну, а кто уголья жечь будет?

— И угольев ваших никому не нужно, дедушка, — говорил солдат. — Есть каменный уголь. Из земли прямо добывают.

— Кто его для тебя наклал в землю-то? Ах, солдат. Тоже и придумает.

Дедушка Тит недолюбливал Акинтича за легкомыслие, а главным образом за то, что избаловался он на службе и очень уж любил про легкую жизнь рассказывать. Совсем отбился человек от настоящей мужицкой работы. Старик часто ссорился с Акинтичем из-за его солдатской трубочки и который раз выгонял его из балагана. В Шалайке никто не курил табаку. Куренные мужики пользовались этим и наговаривали деду на солдата.

— Дедушка, солдат сказывает, што в городе все трубки курят да еще и нос табаком набьют.

— Тьфу!.. Врет он все... — не верил дед. — Грешно и слушать-то. Работать не хотят, вот главная причина, а того не знают, что бог-то труды любит. Какой же я есть человек, ежели не стану работать? Всякая тварь работает по-своему, потому и гнездо надо устроить и своих детенышей прокормить.

— И в городах трудятся по-своему, дедушка, — объяснял солдат. — Только там работа чище вашей... Не меньше нас работают, а может, и побольше. Не всем уголья жечь, а надо и всякое ремесло производить. Кто ситцы, кто сукна, кто сапоги, кто замок мастерит.

— И все это пустое! — сказал дед. — Раньше без ситцев жили, а сукно бабы дома ткали. Все это пустое. Главный же мастер все-таки мужичок, который хлебушко сеет. Вот без хлеба не проживешь, а остальное все пустое. Баловство...

Пимка постоянно думал о том, как живут другие люди на белом свете. Хоть бы одним глазком посмотреть. Может быть, солдат-то и

не врет. Вон он рассказывает, что есть места, где зимы не бывает, и что своими глазами видел самого большого зверя — слона, который ростом с хорошую баню будет. Это детское любопытство разрешилось небывалым случаем.

Раз весь курень спал мертвым сном. Стоял страшный мороз, и даже собаки забились в балаганы. Вдруг среди ночи Лыско сердито заворчал. У него было свое ворчанье на зверя и свое — на человека; теперь он ворчал на человека. Скоро послышались громкие голоса: это была партия железнодорожных инженеров, делавшая изыскание нового пути для новой линии железной дороги. Всех было человек десять: два инженера, их помощники, просто мужики и вожак. Последний сбился с дороги и вывел партию вместо Шалайки на курень. Солдат Акинтич выскочил горошком и пригласил набольшего в свой балаган.

— Ваше высокоблагородие, милости просим. В лучшем виде все оборудуем для вас. Сейчас огонек разведем, в котелке воды согреем. Вы уж извините нас, ваше высокоблагородие.

Пимка в первый раз еще видел чужестранных людей и рассматривал их с удивлением маленького дикаря, точно все они пришли чуть не с того света. Потом его поразила та угодливость, с какой Акинтич ухаживал за гостями и на каждом шагу извинялся.

Набольший барин все-таки сердился, сердился на все: и на то, что все в балагане было покрыто сажей, и на дымившийся очаг, и на заблудившегося вожака, и даже на трещавший в лесу мороз.

— Действительно, ваше высокоблагородие, оно того, значит, дым, — наговаривал Акинтич, — и опять, того, страшенный мороз... Вы уж извините, потому как живем в лесу и ничего не знаем, ваше высокоблагородие.

— Ты из солдат? — спрашивал набольший.

— Точно так-с, ваше высокоблагородие... В Москве бывал. Да... А здесь, уж извините, одним словом, лес и никакого понятия.

Пимка увидел, как и чай пьют господа, и как закусывают по-своему, и как папиросы курят. Он даже попробовал сам чаю, то есть съел несколько листочков и убедился, что солдат все врал. Ничего сладкого, а так, трава

как трава, только черная.

Рано утром партия отправилась дальше. Теперь ее уже повел Акинтич, не знавший, чем угодить господам.

— Ишь, точно змей извивается... — ворчал дедушка Тит, качая головой. — Ах, солдат, солдат, всех он нас продаст!

А набольший все утро ворчал: и в балагане холодно, и вода в котелке чем-то воняет, и собаки ночью лаяли, — всем недоволен. Пимка стоял с разинутым ртом и все боялся, как бы набольший не треснул его чем. Однако все прошло благополучно.

Когда гости уехали, на курене вдруг точно пусто сделалось. Тихо-тихо так. Все куренные сбились в одну кучу и долго переговаривались относительно уехавших.

— Ах, все это солдат наворожил, — говорил отец Пимки, почесывая в затылке. — Чугунка, чугунка, а она сама и приехала к нам.

Мужики долго соображали, хорошо это будет или худо, когда через их лес наладят чугунку.

— И для чего она нам, эта чугунка? — ворчал дедушка Тит. — Так, баловство одно, а мо-

жет, и грешно... Ох, помирать, видно, пора!

— Подведет нас всех солдат! Не надо его было пущать с набольшим-то, а то мастер наш солдат зубы заговаривать...

Ровно через три года немного пониже Шалайки через Чусовую железным кружевом перекинулся железнодорожный мост, а солдат Акинтич определился к нему сторожем. У него теперь была и своя будка, и самовар, и новая трубка. Акинтич был счастлив.

Вся Шалайка сбежалась смотреть, когда ждали первого поезда новой чугунки.

Приплелся и старый дед Тит. Старик больше не ездил в курень, потому что прихварывал. Он долго смотрел на Акинтича, который расхаживал около своей будки с зеленым флагом в руках, и наконец сказал:

— Самое это тебе настоящее место, Акинтич. Работы никакой, а жалованье будешь огребать.

Пимка весь замер, когда вдали послышался гул первого поезда. Скоро из-за горы он выполз железной змеей, и раздался первый свисток, навсегда нарушивший покой этой лесной глуши. Акинтич по-солдатски вытянулся

в струнку и, поднимая свой флаг, крикнул первому поезду:

— Здравия желаем!!!

В горах

I

Это случилось лет тридцать назад, и из трех участников экспедиции остался в живых только один я. Да, их, моих товарищей, уже нет, родной край далеко-далеко, и я часто вызываю мысленно дорогие тени моего детства и мысленно блуждаю в их обществе по родным местам, освященным воспоминаниями первой дружбы.

Наша экспедиция была задумана еще зимой и носила научный географический характер. Дело в том, что необходимо было определить линию водораздела между Евро-

пой и Азией. Задача, без сомнения, очень серьезная, что мы отлично понимали, а поэтому и скрывали самым тщательным образом наше предприятие. В учебниках географии ничего не говорилось об этом пункте, на картах его совсем не было, а показания современников расходились: дьячок Матвеич, страстный охотник, руководивший нами при первых опытах охоты, говорил одно, а туляк Емелька, тоже знаменитый охотник, друг и приятель Матвеича, говорил другое. Вопрос шел о том, стоит ли гора Билимбаиха в Европе или она уже в Азии, что можно было определить только по течению горных речек.

Не могу не вспомнить о старом деревянном доме, в котором протекло мое раннее детство и который замечателен был уже тем, что главным фасадом выходил в Европу, а противоположной стороной — в Азию. Из наших окон можно было видеть обе части света, и это обстоятельство, кажется, послужило к тому, что география была одной из самых любимых мной наук, и, в частности, привело к практическим занятиям этой наукой. Увы! Нет давно уже и старого деревянного дома,

как нет знаменитых охотников — Матвеича и Емельки и многих других таких хороших стариков, среди которых мы росли, как мелкая молодая поросль в вековом лесу, защищенная от бурь и непогод их отеческой покровительственной тенью. Подчас мы крепко их огорчали неукротимой пытливостью нашего духа, еще больше надоедали своими шалостями; и все-таки все любили друг друга, любили настолько хорошо и просто, что, заговорив об одном, как-то нельзя не сказать и об остальных, все равно как нельзя выкинуть кирпича из стены, не нарушив ее целости.

Но я не сказал ничего о главном, то есть о своем друге Косте, с которым неразрывно связаны лучшие воспоминания моего детства.

Это был замечательный мальчик во всех отношениях, начиная с того, что Костя был неизменно весел, — я не могу припомнить ни одного случая, когда бы он рассердился и мы бы поссорились. Небольшого роста, кудрявый, с какими-то зеленоватыми глазами и вечной улыбкой на лице, Костя был общим любимцем. С двенадцати лет он уже служил на фабрике (действие происходит на одном

из уральских горных заводов), и в будни мы могли видеться только по вечерам, и только праздники принадлежали нам всецело да лето, с Петрова дня по успенье, когда фабрика не работала.

Наше знакомство состоялось в заводской школе, где преподавал учитель Миныч, добродушный человек, страдавший запоем, — мы его называли Мандритом, потому что Миныч не признавал просто Мадрида.

— Федор Миныч, какой главный город в Испании?

— Мандрит.

— А как же в географии Корнеля он называется Мадридом?

— Ваш Корнель ничего не понимает.

После школы нас с Костей сблизили общие игры, менявшиеся по сезонам: ранней весной — бабки, летом — шарик и рыбная ловля, осенью — грибы, зимой — салазки; а завершилась эта дружба охотой, под строгим руководством таких профессоров, как дьячок Матвеич и Емелька. Сначала мы отправлялись в лес только с ними, постепенно расширяя нашу охотничью область, а затем повели

дело уже самостоятельно, усвоив все необходимые приемы охоты и, главное, освоившись с нелегкой наукой ходить целыми днями по горам и лесам и не заблудиться. Большим неудобством было то, что ни у меня, ни у Кости не было других часов, кроме летнего солнца.

Итак, относительно горы Билимбаихи в географии Корнеля ничего не было сказано, а других пособий для разрешения этого вопроса у нас не было, кроме «генеральной» карты Российской империи.

— А мы сами откроем, — предлагал Костя. — По речкам и доберемся... Если влево речка бежит — значит, в Азии, если вправо — значит, в Европе.

Мне оставалось только согласиться с этим планом.

Как известно, всякая географическая экспедиция требует для своего выполнения большой подготовки и средств, так что зима, когда мы уговорились, промелькнула незаметно. Нужно было сделать необходимые запасы пороха и дроби, а главное — приспособить домашние костюмы, охотничьи сумы, дробов-

ницы и разные лядунки.[18] Мое ружье-туляк стоило ровно два рубля, а у Кости была отцовская двустволка, составлявшая предмет его величайшей гордости. Говоря откровенно, другого такого ружья я потом не встречал. Дело в том, что ложе у него было сделано в форме крокодила или какой-то фантастической ящерицы, и это ничтожное обстоятельство придавало ружью в наших детских глазах какой-то особенный, таинственный смысл. Да, нет больше таких ружей... Экспедиция была рассчитана на трое суток, а сообразно с этим должны были быть предусмотрены неистовые горные ливни, запас провизии и т. д. К лету все было закончено, то есть далеко раньше, когда еще начал таять в апреле снег. Зима на Урале стоит довольно суровая, и снег тает поздно, но зато весна бывает дружная, так что зима с замечательной быстротой превращается в лето.

II

Можно себе представить, с каким нетерпением мы ждали наступления Петрова дня, когда закрывалась фабрика и открывалась охота. Кстати, несколько слов об охоте. Как удовольствие — это вещь, без сомнения, жестокая, но для меня лично она всегда служила только предлогом для горных экскурсий. Что ни говорите, а без ружья вы далеко не пойдете, как бы ни любили природу; а затем, сами по себе охотники народ очень интересный: все охотники обладают развитым чувством природы, известной поэтической складкой и наблюдательностью.

За несколько дней до экспедиции Костя заявил мне:

— А нам придется захватить с собой Сашку.

— Это для чего?

— Да так. Мало ли что может случиться на охоте... Все-таки нас будет трое.

Костя отличался разумной предусмотрительностью, и мне в большинстве случаев приходилось только соглашаться с ним. Саш-

ка был наш товарищ, немного постарше нас. Это был добродушный малый, наивный и доверчивый, с припадками совершенно необъяснимого упрямства.

В цели нашей экспедиции мы его не посвятили, потому что он мог все разболтать, а затем, географии для него не существовало. Наше предложение уйти в горы на целых три дня он принял с восторгом.

Наступил и роковой день. По условию, все должны были собраться у меня ранним утром. Летом я обыкновенно спал в амбаре, на холодке, и подняться с нагретой постели на призывный стук в двери составляло уже целый подвиг. Солнце еще только поднималось над ближайшим лесом, когда мы выступили в поход, и в воздухе стоял ночной холод, заставлявший вздрагивать. Всем хотелось спать, и все зевали. Бодрее всех был Костя — неутомимый ходок и вообще человек с развитой волей. Он добросовестнейшим образом выполнял всякий намеченный план и не отступал ни перед какими препятствиями.

— Ты бы шел лучше домой спать, Сашка, — советовал он, чтобы подзадорить приятеля. —

А утром чаю напьешься, закусишь... Ведь до Билимбаихи считают верст восемь, да от Шайтанов до Старика-Камня столько же.

Сашка, привыкший к вышучиваньям Кости, угрюмо молчал. Он отличался сырой комплекцией и далекие походы выдерживал с трудом.

На Билимбаиху мы ходили на охоту еще с Матвеичем и заранее наметили там себе ночлег в глухом лесном балагане, а дальше должны были идти уже по собственным соображениям. До горы Билимбаихи было верст двенадцать, если идти прямо тропой, но мы удлинили этот путь чуть не вдвое охотничьими повертками. Стоило отойти верст пять, как уже начиналась охота по лесным опушкам. Солнце еще не обсушило росы, трава была выше пояса, и мы вымокли буквально по горло на первой повертке. Идти мокрому страшно холодно, и всякая охота теряет смысл; но Костя был неумолим, хотя и страдал, вероятно, больше нас, потому что не отличался особенным здоровьем. Вдобавок, охота нам не удавалась. Видели и рябчиков, и тетеревиные выводки, но дичь пугала взятая Сашкой пест-

рая собачонка Лыско, типичная сибирская лайка. До Билимбаихи мы проколесили лесом до полудня, страшно устали, а главное, томились смертной жаждой. С нами был походный медный чайник, и мы вперед мечтали о том, как будем пить чай на берегу безымённой речонки, с которой, собственно, начинался горный подъем на Билимбаиху в пять верст. Кстати, эта речонка должна была служить нам одним из доказательств того или другого положения Билимбаихи.

На берегу этой речки нас постигло страшное разочарование: эта географическая граница высохла... Лето стояло сухое, а в это время горные речки высыхают иногда совершенно. Как мы ни искали воды, — ее не было. Только охотники знают, что такое жажда. Сашка изнемог окончательно, растянулся на траве и заявил:

— А я дальше не пойду... Ну ее, Билимбаиху.

— Пойдешь, — уверенно говорил Костя. — Куда ты один-то пойдешь? Еще нападут бродяги и ружье отнимут. Без шапки придешь домой.

Мы отдохнули с час и двинулись дальше. Предстоял подъем в пять верст. Сашка как ни ворчал, а поплелся за нами. Подниматься в гору, когда томит смертельная жажда, ужасно тяжело. Во рту сухо, в висках стучит кровь, ноги точно налиты свинцом. Костя бодро шел впереди, подавая пример выносливости настоящего путешественника. Все наши мысли теперь были сосредоточены около студеного ключика, который был на самой вершине горы. Мы кое-как дотащились до него, усталые, измученные, и, к своему ужасу, нашли только пустую яму под каменным выступом, засоренную прошлогодним сухим листом.

— Вот так штука!.. — ворчал Костя. — Этак и помереть можно...

На беду, с этого пункта горы открывался далекий широкий горный вид, так что можно было рассмотреть и наш завод, узкую полоску заводского пруда и блестящие нити трех горных речек, вливавшихся в него. С этой картиной сейчас связывалась гнетущая мысль о холодном квасе или чае со сливками... Сашка уже не роптал и не ругался, а безмолвно лежал на траве.

— Надо обойти шиханы — там должна быть вода, — решил Костя.

Было часа три — самый развал зноя. Сашка остался у высохшего ключика, а мы с Костей отправились искать воду на шихан. Шиханами на Урале называют те скалы, которыми увенчаны горные вершины. У каждой большой горы есть свой шихан. От таких шиханов обыкновенно спускаются по бокам горы каменистые россыпи. Издали они кажутся полосками мостовой, а вблизи это какой-то порог из больших камней, так что приходится прыгать с камня на камень. Мы потратили целый час на розыски воды, которая скопляется обыкновенно в углублениях под скалами, как в цистернах; но все было напрасно. Воды не было...

Мы вернулись к ключику ни с чем и нашли Сашку в довольно странной позе: он всем туловищем забрался под камень, а наверху оставались одни ноги. Дело объяснилось. Сашка выгреб со дна ключика весь сор, выкопал в, грязи яму и терпеливо ждал, как в ней накоплялась мутноватая жидкость. Потом он зачерпнул ее чайной ложкой и с жад-

ностью выпил. Я последовал его примеру. Вода была ужасная, и грязь садилась прямо на язык; но географические открытия не даются даром... Мы напились этой грязи и решили идти к балагану, до которого было с версту. Костя шел, по обыкновению, впереди. Балаган стоял в лесу из лиственниц, а около него был ключик; но мы, умудренные горьким опытом, мало рассчитывали на него. Можно себе представить наш восторг, когда Костя звонко крикнул:

— Братцы, вода!.. вода!..

Ключик был полон воды, студеной, светлой, как слеза, горной воды... Только испытав отчаянную жажду, в полной мере поймешь такую простую истину, что вода есть синоним[19] жизни.

III

Нужно рассказать, что такое балаган. Представьте себе широкую низкую избу, вросшую в землю, крытую дерном, без окон, о очагом из камней вместо печи, с земляным полом и в редких случаях с нарами. Строитель такого балагана остается неизвестным. Днем такой балаган освещается через открытую дверь, а ночью — при помощи огня на очаге. Зимой он, конечно, защищает от холода, а летом — от дождя, комаров и лесной мошкары. В таком балагане страшно сыро, и все стены обрастают мокрой белой губкой. Сырое дерево неустанно точат какие-то жуки, черви и муравьи, так что можно видеть своими глазами, как идет самая разрушительная работа. Но самое главное неудобство такого балагана заключается в том, что у очага нет трубы и во время топки весь балаган наполнен дымом. Ни стоять, ни сидеть нет возможности, а можно только лежать. Задыхаясь от дыма в таком балагане, понимаешь, какое величайшее изобретение — самая простая дымовая труба, не говоря уже об окнах.

Напившись настоящей воды, мы сразу оживились. Перед балаганом скоро загорелся веселый огонек, а над ним закипел походный чайник. Настроение сразу изменилось. Костя все поддразнивал Сашку, хотевшего с полдороги вернуться домой.

— А ежели я пошутил? — оправдывался он добродушно.

— Сказывай... Просто ты — трус. Небось побоялся один домой идти.

— Нисколько... Чего мне бояться?

— Бродяги с тебя поснимали бы все да еще шею накостыляли бы...

— Ну, это еще старуха надвое сказала. Как бы я еще не накостылял... Мы на этот счет простоваты.

— Не хвастай. Еще подавишься...

Мы напились чаю, потом сварили в том же чайнике похлебку из убитого Костей рябчика и вообще блаженствовали. Жар свалил, и начиналась лучшая часть горного дня. Отдохнув, мы отправились опять на шихан, с которого открывался чудный вид на десятки верст. Вообще время провели очень недурно и вернулись к балагану только в сумерки, ко-

гда начала падать роса. Горные ночи холодные, и мы решили спать в балагане. Постель была устроена из горного иван-чая, который достигает высоты человеческого роста.

Наступила чудная горная ночь; но спать никому не хотелось, и мы долго просидели около огонька перед балаганом. А кругом стояла торжественная тишина.

— Сашка, а тебе не сходить за водой к ключику, — дразнил Костя.

До ключика было всего сажен двенадцать, но в лесу было уже совершенно темно, и воображение населяло его призраками. Сашка клялся, что может уйти сейчас один домой, а не то что к ключику. Это было сигналом для самых страшных рассказов.

— Вот так же одна девушка пошла за ягодами, — рассказывал Костя, — отбилась от партии, да и осталась в лесу ночью одна... Дома ее хватились, давай искать — целых два дня искали, а на третий — видят, что сидит она на сосне и не откликается. Уцепилась за дерево и сидит... Целых два года была без ума, а уже потом рассказала, как ее леший пугал. Как заухает, как закличет по-ребячьи, как за-

хохочет...

Эти разговоры взвинтили воображение, и мы невольно вздрагивали от каждого шороха в лесу. Меня всегда занимал вопрос об этих таинственных ночных звуках в лесу, которые на непривычного человека нагоняют панику. Откуда они, и почему они не походят ни на один дневной звук? Скрипит ли старое дерево, треснет ли сухой сучок под осторожной лапой крадущегося зверя, шарахнется ли сонная птица,— ничего не разберешь, а всего охватывает жуткое чувство страха, и мурашки бегут по спине.

И вот как закончился для нас этот тревожный день.

Мы еще раз напились перед сном чаю, запасли хвороста и сухих сучьев для топки очага и отправились в балаган. Лежа на своей зеленой постели и задыхаясь от дыма, мы продолжали вести страшные рассказы. Каждый припоминал что-нибудь подходящее: «А вот с моим дядей был случай...» Но догорел огонь на очаге, понемногу вытянулся в дыру, проделанную в крыше вместо трубы, дым, и мы начали засыпать. Вдруг спавшая у наших ног со-

бака глухо заворчала. Мы поднялись все разом.

— Бродяги... — шептал Сашка, прячась за нас.

Ворчанье повторилось. Мы все превратились в слух. Слышно было, как что-то хрустнуло недалеко от балагана. Очевидно, кто-то подкрадывался.

— Берите ружья! — тихо скомандовал Костя.

В темноте ничего нельзя было разобрать, и мы не смели шевельнуться. Но потом уж мы достали ружья, и было слышно, как щелкнули поднимаемые курки. Мы решились дорого продать свою жизнь и сидели молча, сдерживая дыхание.

Собака принималась ворчать несколько раз, но Костя зажимал ей пасть. Бродяги встречаются в горах довольно часто и по глухим местам пошаливают. Я сейчас же представил себе двух пойманных бродяг, которых видел в волости. Особенно один остался в памяти, — лицо такое зверское, смотрит исподлобья. Встретиться ночью в лесу с таким бродягой не особенно приятно. Прибавьте к это-

му, что старшему из нас было всего пятнадцать лет.

Странное это чувство — страх. Сердце так и захолонет, в коленях неприятная дрожь, в горле пересыхает, руки трясутся, а главное, нет никакой логики, и мысли разлетаются, как стая вспуганных птиц. Едва ли есть человек, который не испытывал страха, хотя это не мешает существовать замечательным храбрецам. Секрет всякой храбрости именно в уменье владеть собой.

Да, мы струсили, струсили самым отчаянным образом, до полной паники, и просидели с взведенными курками до белого света. Хорошо, что летом светает рано.

В два часа в дымовом отверстии показалась первая полоска занимавшегося света. Вместе со светом прошел и наш страх. Мы решили выйти из балагана и расследовать дело. Предварительно была выпущена собака, которая сейчас же с оглушительным лаем пропала в траве. Она повела нас прямо к ключику. Дело сейчас же разъяснилось. У самого ключика вся трава была смята, — приходили на водопой олени.

— Ах, Сашка, Сашка! — хохотал Костя. — К тебе приходило прямо в рот жаркое, а ты труса спраздновал...

Через два дня мы вернулись домой. Вопрос о Билимбаихе остался открытым до первого дождя, когда безыменная речка под горой наполнится водой. О своем детском страхе мы, конечно, не рассказывали никому, хотя и не уговаривались предварительно. Что же, дело прошлое — теперь можно и рассказать...

В каменном колодце

I

— Васька едет на дачу!.. — пронеслось по двору, где играли дети разных возрастов. — Васька едет!..

Это кричал взъерошенный мальчик лет восьми, выскочивший на двор, несмотря на холодный апрельский день, в одной рубахе, босиком и без шапки.

— А вот и врешь, Колька, — отозвалась девочка лет семи, тоже босиком, с запачканным

личиком. — Мамка сказывала, что тетка Матрена едет с господами в деревню, а не на дачу.

— Это все одно, — сказал Колька.

— А вот и не все одно...

— Говорят: все одно.

— Н-ет...

Чтобы доказать упрямой девчонке, что дача и деревня одно и то же, Колька подскочил к ней и довольно больно толкнул в спину, так что девочка едва удержалась на ногах и заплакала.

— Анютка, а ты его сама ударь, — советовал кто-то из толпы, окружавшей споривших.

Но Анютка не желала драться, а только терла глаза грязным кулачком. Для городских детей, выросших на дворе и не бывавших дальше ближайшей мелочной лавочки, дача и деревня представляли пустые слова, разница которых заключалась только в звуках. Может быть, тетка Матрена, мать Васьки, действительно соврала... Кухарки ездят с господами только на дачи. Горячий спор этой дворовой детворы был прерван появлением самого героя, Васьки, курносого, белокурого мальчика, всего меньше походившего на ге-

роя. Он был одет, как и другие дети, то есть в одну грязную ситцевую рубашонку.

— Ну, Васька, говори всю правду, а то побьем, — предупредил кто-то на всякий случай. — В деревню едешь или на дачу?

— В деревню... — довольно равнодушно ответил Васька, вытирая нос рукавом своей рубашонки. — Мамка говорит...

Вся эта сцена происходила во дворе громадного пятиэтажного дома. Двор походил на глубокий каменный колодец, и солнце заглядывало в него только летом. Целый день на этом дворе толкалась детвора, ухитряясь из ничего придумать себе игры и детские забавы. Детей набиралось человек двадцать. Все это были обитатели подвалов и чердаков или дети господской прислуги. Последних, впрочем, было очень немного, потому что господа не любили держать прислуг с детьми. Сын кухарки, Васька, представлял в своем роде исключение. Забияка Колька, первый драчун, был сын прачки; побитая им Анютка — дочь сапожника, жившего в подвале. Тут же проводили свое время дети двух швейцаров и шести подручных дворников.

Все пять этажей были заняты господскими квартирами. Из больших окон этих квартир постоянно смотрели на двор бледные личики барских детей. Все эти Зизи, Мими, Коко, Сержики и Жоржики с завистью наблюдали, как веселится на дворе босоногая детвора. В самом деле, что могло быть лучше, как выбежать босому, в одной рубашонке на двор и вмешаться в эту пеструю ребячью толпу...

— Что вы там сидите, как мухи? — вызывающе кричал им озорник Колька и показывал язык. — Идите к нам... Вот как отлично вздуем!

Бледные личики конфузливо прятались, а Колька грозил им кулаком.

Если была хорошая погода, что в Петербурге случается не часто, то послушных и прилежных детей из господских детей выводили на прогулку. Озорник Колька пользовался этим случаем, чтобы устроить «неженкам» какую-нибудь каверзу. Он поджидал их за воротами, а потом бежал навстречу и, как будто нечаянно, толкал локтем или коленкой.

— Ах, извините, барчук, — оправдывался он. — Я сегодня на один бок наелся и не могу

ходить прямо...

Но за эти проделки Кольке иногда приходилось жестоко расплачиваться. Седой швейцар Иван Митрич, всегда стоявший у главного подъезда, иногда ловил Кольку на месте преступления, хватал за ухо и с позором уводил на двор.

— Ах ты, озорник этакий!.. Вот я тебе покажу, как господских детей обижать!

Колька не плакал, не кричал и никому не жаловался, а только старался в следующий раз не попадаться на глаза Ивану Митричу. В сущности, он не был злым мальчиком, а просто его одолевала детская шаловливость от избытка сил.

II

Васькины господа уехали в деревню в половине апреля, когда в Петербурге наступала холодная и сырая весна. Перед самым отъездом Васьки Колька побил его без всякой причины.

— Ты зачем дерешься? — удивился даже Васька, привыкший к побоям с раннего детства.

— А вот зачем... Приедешь в деревню и скажи деревенским мальчишкам, как тебя вздул городской Колька, и что он их всех тоже вздует. У нас, брат, по-питерски...

Кольке было завидно, что Васька куда-то уезжает, и он возненавидел его. Конечно, господа не поедут в худое место, и Васька все лето будет жить по-господски. Свой двор теперь казался Кольке и темнее, и грязнее, чем раньше. Ему делалось душно в этом каменном колодце.

— А Васька приедет из деревни, я его вздую на все корки, — утешал себя Колька. — Барин какой выискался, — туда же, в деревню...

Громадный каменный дом быстро пустел. Все господа торопились переезжать на свои дачи. В окнах уже не показывались бледные личики господских детей, — все Жоржики, Зизи и Мими уехали дышать свежим загородным воздухом. Колька злился. О, как бы он приколотил всех этих барчат, если бы они попались ему в руки... Колька делался несправедливым, потому что завидовал, потому что ему делалось душно на дне каменного колодца, потому что, как ему начинало казаться, именно назло ему другие дети пользовались всеми благами жизни.

Дно каменного колодца-двора являлось настоящей ареной для неистощимой детской изобретательности. Кажется, что можно устроить на пространстве нескольких десятков квадратных сажен? А дети устраивались. Зимой главным материалом для всяческих игр служил снег, из которого устраивали горки для катанья, лепили снежных баб и т. п. Ранней весной, когда таял снег, проводились ручейки, а у отверстия водосточной канавы Колька ухитрялся поставить маленькую деревянную мельницу. Летом все игры сосредото-

чивались около поленницы дров и кучи песку, служившего для посыпки тротуаров. Трогательно было смотреть, как крошечные девочки устраивали из этого песка грядки и садили в них выдернутые из дворницкой метлы прутья. Каждый кирпич, каждый камень тоже служили материалом для постройки. Но — увы! — все произведения созидательного детского гения каждое утро уничтожались метлой дворника. Но детское терпение было неистощимо, и вместо уничтоженных крепостей, городов, домов и садов в течение одного летнего, дня воздвигалось все снова.

— Ах, и народец только! — ворчали дворники, выметая всю детскую работу. — И откуда только натащат всякого хлама? Настоящие разбойники... А того не подумают, идолы: вдруг на двор околодочный... «Это что-о у вас... а?!» Тут, брат, всем на орехи достанется из-за вашего брата, босоногая команда!

Случалось нередко и так, что дворники не ограничивались одними словами и наказывали виноватых своими средствами, то есть драли за вихры, рвали за уши, давали подзатыльники. Делалось это, конечно, не со зло-

сти, а «для порядку», чтобы дворовые ребята почувствовали, что есть такое петербургский дворник. Швейцар Иван Митрич вполне одобрял такое поведение и объяснял по-своему так:

— Что же, ежели, например, эти самые ребята вырастут бесстрашными галманами? Каждый человек должен непременно кого-нибудь бояться. Я, напримерно, должен бояться домового управляющего, домовой управляющий — домовладельца, дворники — околодочного, а ребята, ежели на дворе, — дворников. Вот и вся музыка. Очень даже просто...

Что такое значило «бесстрашный галман», все-таки оставалось неизвестным.

Дети постарше выбегали на улицу и заводили здесь свои шалости, постоянно рискуя попасть под лошадь и получая от прохожих тумаки и ругань. Самые смелые добегали до угла улицы, где был устроен крошечный сквер. Улица, обставленная громадными домами, походила на какое-то ущелье, и чахлые деревья в сквере напрасно тянулись кверху за светом и теплом. Они походили на городскую

уличную детвору. Такие же испитые, тощие, с какими-то зелеными лохмотьями вместо листвы, и такие же грязные от уличной пыли.

Этот сквер являлся для бедной уличной детворы заветным уголком, но лиха беда заключалась в том, что в сквер пускали только хорошо одетых детей, являвшихся сюда в сопровождении своих нянек и горничных. Они так весело играли на круглой площадке сквера, а бедных оборвышей не подпускали даже к железной решетке сквера. Колька делал несколько отчаянных попыток прорваться в этот заветный уголок, но был изгоняем отсюда стоявшим на посту городовым.

— Куда лезешь, чумазый?.. Разве не видишь, что тут господские дети играют?

Колька в таких случаях вспоминал Ваську, который дышал свежим деревенским воздухом, и клялся про себя, что вздует его.

III

Наступило лето, жаркое, душное, томительное. От накаленных каменных домов и мостовой так и пыхало удушливым зноем. Главное несчастье составляла уличная пыль, висевшая в воздухе. Благодаря ей по вечерам закатывавшееся солнце казалось багровым, раскаленным докрасна шаром. Даже дождь мало освежал воздух, производя томящую испарину. Все дети приуныли, как растения, которые забыли вовремя полить. Они вяло бродили по двору, а днем, в самую жаркую пору, играли где-нибудь по черным лестницам, где всегда было прохладно и сыро. Все были такие бледные, изнуренные, жалкие.

— Эй, Колька, будет тебе баклуши бить! — кричал из подвального окна сапожник. — Пора, брат, и за работу приниматься...

Кольке эти любезные приглашения совсем не нравились, и он показывал сапожнику язык.

— Погоди, пострел, вот я ужо доберусь до тебя! — грозил сапожник.

Он уже несколько раз говорил с матерью

Кольки, чтобы она отдала сына к нему в ученье.

— Человеком будет, — убеждал он. — Лучше нашего ремесла нет. И всегда работа, потому что сапоги, брат, первое дело.

Мать Кольки, вдова прачка, сама думала, что давно пора отдать сына куда-нибудь в ученье, но боялась таких учителей, как сапожник. Она достаточно насмотрелась на такую науку, когда учеников морили голодом и били чем ни попало. Жалела она крепко своего Кольку, хотя и был он сорванец. С другой стороны, мальчишка рос без всякого дела и мог избаловаться.

— Вот как избалуется, — уверял ее сапожник, — потом и управы с ним не будет... Говорю: человеком будет.

Долго крепилась бедная женщина, а потом решила отдать Кольку в науку.

Это случилось как раз в средине самого лета, когда Колька попал в мастерскую сапожника. Он был огорчен и ничего не говорил.

— Первое дело, ты не будешь объедать родную мать, — объяснил ему сапожник. — А второе, будешь одет. У меня, брат, такое поло-

жение... У матери-то вон руки болят от работы, пора и тебе ей помогать.

Теперь Колька мог наблюдать за игравшими на дворе детьми только из подвального окошка мастерской. Его костюм по-прежнему состоял из одной рубахи, а питаться приходилось картошкой со шкварками. Сапог ученикам не полагалось, потому что, по убеждению сапожника, от сапог бывают только мозоли. Работа у сапожника для Кольки была, собственно, нетрудная. Он сучил верву,[20] мочил кожу, бегал в лавочку и вообще был на побегушках; но скверно было то, что за малейшую провинность сапожник нещадно бил своих учеников шпандырем, то есть толстым ремнем.

— Человеком, негодяй, будешь! — говорил сапожник, производя свою расправу.

Колька как-то сразу притих, отупел и решил про себя, что непременно убежит от такой науки. Сначала у него было желание сделаться человеком, но потом постепенно уменьшалось.

«Убегу», — думал Колька.

Куда бежать — Колька не знал, потому что дальше своей улицы нигде не бывал, но это желание в нем росло и крепло с каждым днем. Сапожник, в свою очередь, отлично знал, как бегают новички ученики, и зорко следил за Колькой.

— Ты у меня смотри, — предупреждал его сапожник. — Я тебя пою, кормлю, я с тебя и шкуру сниму, ежели, например, что-нибудь неподобное. Меня-то вот как били, когда в науке был... Хе-хе! Места живого не осталось...

Все эти речи являлись плохим утешением, и Колька решил непременно бежать. Все равно хуже не будет. В течение каких-нибудь двух месяцев он сильно похудел, ходил весь запачканный ваксой, волосы на голове стояли какими-то клочьями, как на крашеном меху. Но для того чтобы бежать, нужно было иметь запас хлеба, то есть корочек, которые он сберегал от еды. Колька теперь постоянно голодал и отлично понимал, что без хлеба далеко не уйдешь. Потом, и в одной рубахе бежать было тоже неспособно. Но мать как-то сколотилась и подарила Кольке рваный пиджачок, купленный по случаю у татарина.

Именно только этого и недоставало Кольке. О сапогах он и не мечтал, но зато мог выбрать по своему вкусу любые опорки.

Но как раз, дело было уже осенью, когда Колька решился привести в исполнение свой заветный план, кухарка Матрена привела в ученье к сапожнику своего сына Ваську.

— Возьми ты его Христа ради, — умоляла она. — В деревне совсем избаловался. Способа с ним нет.

IV

В первую минуту Колька даже не узнал своего старого приятеля Ваську, так сильно последний изменился за лето.

— Да ты весь распух, Васька, — удивлялся Колька и даже пощупал приятеля. — Ишь как отъелся, точно... точно наш старший дворник. Щеки-то, щеки-то так и трясутся!

Васька действительно вернулся из деревни настоящим здоровяком, даже с румянцем на щеках, чего петербургской дворовой детворе уж совсем не полагалось. Ваське даже самому сделалось совестно за свое чисто деревенское здоровье, и он как-то особенно глупо

улыбался.

— Ничего, которое комариное сало нарос-ло в деревне, так мы его живой рукой выпу-стим, — успокаивал сапожник. — У нас неко-гда брюшину здесь распускать.

Колька долго не мог успокоиться. Совсем другой Васька, а не тот, которого он еще недавно колотил при всяком удобном случае. Теперь, пожалуй, Васька и сам сдачи даст. По-следнее предположение не замедлило оправ-даться, когда Колька хотел еще раз убедиться в толщине Васькина живота, — он быстро по-летел на пол и получил несколько здоровых тумаков. Сапожник хохотал до слез.

— Ну-ка, Вася, еще залепи озорнику Коль-ке... Ха-ха! А ты, Колька, не приставай вперед. Ишь как он разбух от деревенского вольного воздуха! Погоди, когда воздух-то весь выйдет из него, ну, тогда и озорничай...

Сапожник был, как говорил о нем швей-цар Иван Митрич, какой-то «несообразный» человек. То он был с учениками за панибрата, то начинал ни с того ни с сего придираться и проявлять свою хозяйскую власть. Последнее случалось, когда у него «таяло» в горле после

вчерашней выпивки и ему начинало казаться, что его решительно никто не уважает, а больше всего не уважают собственные ученики.

— Я вам всем покажу, каков есть человек Поликарп Гаврилович Чумаев! — кричал он, размахивая руками. — Мне и старший дворник наплевать... Самому околодочному недавно подметки выправил в лучшем виде. Да...

— О-х, не пугай! — шутил Иван Митрич. — Вот только над землей-то тебя немного видно, а значит, все остальное под землей...

Подгулявший сапожник успокаивался только тогда, когда брал себе на колени свою дочь Анютку, для которой у него ничего не было заветного. «Одна дочь, как бельмо в глазу...» — говорил Чумаев.

Возвращение Васьки из деревни произвело среди дворовой детворы большое волнение. Стояла уже осень, дождь неудержимо лил целыми днями, и дети свои игры перенесли на черные лестницы. Поступившего в ученики к сапожнику можно было видеть только мельком, когда он босой и без шапки

летел через двор куда-нибудь в мелочную лавочку.

— Эй, Васька, постой! — кричали ему вдогонку. — Васька, расскажи про деревню...

— Некогда! — на ходу отвечал Васька, исчезая в воротах.

Свободный день у Васьки был только воскресенье, и то, если не было срочной работы. Вот в одно из таких воскресений Васька наконец показался на дворе. Он был в белом сапожническом фартуке и в опорках. Дети окружили его со всех сторон и всячески тормошили. Васька немного важничал и не вдруг принялся рассказывать.

— Что деревня, — просто избы стоят...

— А что такое изба?

— А это... ну, вот в том роде, как наш дровяной сарай, только с печкой. Ну, и огород при этом.

— А огород что такое?

— Ну, значит: гряды копаны, а на грядах всякая овоща насажена: капуста, репа, горох, морковь. Мужик не побежит в мелочную лавочку, потому как все у него свое. У него и хлеб свой... да.

Понятие об избе и огороде кое-как укладывалось в головах слушателей Васьки, но что такое «свой хлеб», — они никак но могли понять.

— Это, значит, у каждого мужика своя мелочная лавочка? — догадывался Колька. — Сколько захотел, столько и отрезал ситного или ржаного?

— Ну, вот и нет, — объяснял Васька уже с видом специалиста. — Муку видал?

— Слава богу, достаточно насмотрелся... Постоянно клестер варим из муки для подметок.

— Ну, мука делается из зерна...

— Из зерна кашу варят, ты не ври, пожалуйста...

— Зерно зерну рознь, Колька... Там греча — одно, ячмень — другое. Ну, из них кашу и варят. А хлеб это совсем наоборот: первое дело — рожь, потом — пшеница... Из ржи мелют на мельнице ржаную муку, а из пшеницы — пшеничную. Вот тебе и свой хлеб выйдет...

Ваське пришлось раз пять объяснять одно и то же, по городские дети, не видевшие ни

пашни, ни колоса, ничего не могли понять.

— Вы просто дураки! — в отчаянии решил Васька.

V

Каждое воскресенье и каждый праздник Ваську заставляли рассказывать о деревне, и с каждым разом недоверие к нему росло все сильнее. Городские дети, не бывавшие никогда за городом, никак не могли себе представить, что такое лес, пашни и т. д. Васька выбивался из сил, стараясь объяснить все, что видел, но из этого ничего не выходило.

— Дерево-то во какое, повыше нашего дома будет... А в лесу даже днем темно.

— Кто же его садил, лес-то? — коварно спрашивал Колька.

— Никто не садил, а сам вырос.

— Ну, это уж ты врешь!.. Я своими глазами видел, как садили деревья в сквере. Ямку выкопают, а потом дворники привезут дерево и посадят в ямку, засыплют землей, польют водой, колышек воткнут и к колышку веревкой привяжут.

Дети не знали разницы между березой и

сосной, не говоря уже о других лесных породах, и смеялись над Васькой, Какое же это дерево, которое и зимой стоит зеленое.

— Врешь ты все, Васька...

— Ей-богу, не вру! Ну, вот сейчас провалиться... Своими глазами все видел. Сосна во какая высокая, елка во какая высокая... А дворников в деревне никаких нет. Всякий в своем дому дворник.

Последнее было уже совсем невероятно. Ну какой же дом без дворника? Ваську поднимали на смех и изводили всячески. Особенно донимали его просьбами не врать, а говорить правду. Васька божился, колотил себя в грудь кулаками, но не мог рассказать другого, кроме того, что видел собственными глазами.

— Да ей-богу же! Ах, господи...

— Васенька, миленький, не ври...

— Я?.. Да вот сейчас провалиться на самом этом месте...

Относительно леса ребята еще соглашались с Васькой, хотя и не совсем. Ну, что же, ежели высокое дерево выросло без дворников, это детская фантазия еще допускала. Мерой для этого понимания служили чахлые де-

ревца в сквере... Но вот «свой хлеб» — это было уже выше детского понимания.

— А солому видали? — спрашивал Васька.

— Очень просто: желтая, колючая. Ей матрацы набивают.

— Ну, а на каждой соломине колос, а в колосе зерна, а из зерен муку смелют...

— Васька, не ври!.. Это сколько же надо твоих колосьев, чтобы один фунт ситного вышло?

— А столько, сколько надо!

— Целого воза соломы не хватит... Что-нибудь да не так.

— Ничего вы не понимаете!..

— А ты еще приври...

Кончилось дело тем, что Васька обиделся и перестал рассказывать о деревне. Но это повело только к новым обидам и насмешкам.

— Ну, Васька, соври еще что-нибудь про деревню!

— Васька — лгун!..

Особенно озлобился на него Колька и преследовал на каждом шагу, а в заключение пребольно поколотил.

— А вот тебе, вот тебе! — выкрикивал

Колька. — А, Васька, не ври... Не обманывай публику...

— Колька, валяй его! — поощряли другие.

* * *

Время шло. Васька превратился в настоящего сапожника. Колька служил у него подмастерьем. Сидя за своей бесконечной работой, Васька часто думал о своей единственной поездке в деревню, и ему самому начинало казаться, что это был какой-то сон.

В ученье

I

Наступал уже дождливый осенний вечер, когда Сережка с матерью подходил в первый раз к фабрике. От вокзала за Невскую заставу они шли пешком. Мать едва тащилась, потому что страдала одышкой. Кроме того, ее давила дорожная котомка, сделанная из простого мешка. На улице уже зажигались фонари, мимо несколько раз пронеслась «паровая конка», пуская клубы дыма; фабрики смотрели на улицу сотнями ярко освещенных окон... Это было фабричное предместье Петербурга,

вытянувшееся вверх по Неве на десять верст.

Мать останавливалась перед каждой фабрикой и спрашивала — не та ли это фабрика, на которой работает дядя Василий? Ответы получались разные, а один пьяненький мастеровой объяснил:

— Дядя Василий? Как же, оченно хорошо знаю... Недавно вместе три недели в остроге сидели. Теплый мужик, зимой даже без шубы щеголяет...

Сережке делалось страшно, и он жался к матери. Его пугали эти большие дома, гремевшая конка, торопливо бежавшие куда-то люди, валивший густыми клубами дым из высоких фабричных труб и вообще все, что попадалось на глаза. Ему невольно вспоминалась своя деревня, где сейчас так тихо-тихо и только кой-где мелькают красные огоньки. Сердце Сережки сжималось как-то само собой, и ему почему-то казалось, что попадавшиеся навстречу люди непременно злые.

— Мамка, скоро? — шепотом спрашивал он.

— Скоро, скоро... Погоди.

Наконец они дошли и до той фабрики, на

которой работал дядя Василий. Стоявший у ворот сторож сказал, что надо будет подождать, когда отдадут свисток на шабаш. Он как-то особенно любовно посмотрел на Сережку и заговорил:

— В учебу привела мальчонку?

— Уж не знаю, как дело выйдет... — уныло ответила мать. — Отец-то у нас помер после успенья, так вот... я...

У нее точно перехватило горло. От усталости и ожидания она расплакалась.

— Значит, деревенские, — решил сторож. — О чем ревешь-то, глупая? И здесь люди живут...

— Девчонка у меня махонькая осталась в деревне-то... Значит, у свекровушки сейчас. Ох, горе наше горькое... Только стали поправляться, избу новую поставили, а тут немочь и присунься. Всего две недельки и полежал Тихон-то Петрович... Долги остались... Новая изба за полцены ушла да еще лошадь продали. Как есть ни при чем и осталась...

Сережка слышал эти причитанья матери слишком часто и потому был занят совсем другим: мимо них катились тяжелые телеги

ломовиков, с дребезгом ехали извозчики и люди шли без конца.

«Откуда только берется такая прорва народа?» — думал Сережка.

Он от удивления раскрыл даже рот, но сейчас же получил от бежавшего мимо мальчишки здоровый подзатыльник.

— Ворона залетит, деревня! — крикнул мальчишка, удирая по тротуару.

Наконец загудел фабричный свисток, и из ворот фабричного двора длинным хвостом потянулись рабочие — мужчины и женщины. Сторож осматривал каждого и сделал исключение только для дяди Василия.

— Тут к тебе пришли, Василий, — объяснил он.

Мать Сережки в первую минуту не узнала брата, так он изменился за десять лет, как ушел из своей деревни. Он и похудел, и оброс окладистой бородкой, и точно сделался ниже ростом. Поздоровавшись с сестрой, он как-то растерянно заговорил:

— Знаю... все знаю... Ну, что же делать!.. Все под богом ходим. Как-нибудь надо жить... Помаленьку устроимся...

Он покосился на Сережку и почесал в затылке. Мать заметила это движение и удержалась, чтобы не разреветься.

— Ну, пойдемте... — как-то нерешительно предложил дядя Василий. — Я тут близко живу... Да, угораздило тебя, Марфа... Ну, да поговорим после...

Они перешли дорогу, повернули влево и вошли на двор двухэтажного деревянного дома. Дядя Василий делался с каждым шагом все мрачнее... В глубине двора стоял покосившийся двухэтажный флигель, куда они и пошли.

— Держи левее, — повторил несколько раз в темноте дядя Василий. — А тут прямо...

Марфа с трудом поднялась по лестнице во второй этаж. Дядя Василий ждал в дверях.

— Кого это принесло? — послышался раздраженный женский голос из-за ситцевой занавески, разделявшей большую грязную комнату на две половины.

— А из деревни... — неохотно ответил дядя Василий, с ожесточением бросая свою фуражку куда-то в угол. — Значит, сестра... да...

«Чистая половина» освещалась дешевень-

кой лампочкой. На столе в переднем углу стояла приготовленной какая-то еда, а около нее сидела на стуле девочка лет пяти, сгорбленная и худенькая, как щепка.

— Ну, садитесь, так гости будете, — приглашал дядя Василий.

Из-за занавески выглянуло испитое женское лицо. Эта была жена дяди Василия.

— Вот так обрадовали, нечего сказать, — проговорила она и засмеялась. — В самый раз, дорогие гости.

Марфа стояла у дверей, не решаясь снять своей котомки. Она в первый раз видела невестку, о которой дядя Василий писал всего раз, что «принял закон с девицей Катериной Ивановной».

— Чего стоишь-то? — тоже с раздражением проговорил дядя Василий. — Раздевайся... Катя, а ты, того, самоварчик сообрази.

— Да ты с ума сошел! — послышалось из-за занавески. — У нас не постоялый двор, чтобы поить чаем встречного-поперечного...

— А ты помалкивай! — уже грубо заметил дядя Василий. — Пожалуй, лучше так-то будет. Не встречные-поперечные пришли, а род-

ная сестра, Марфа Мироновна. Так это и чувствуй...

— Всякая деревенщина полезет в избу...

Дядя Василий быстро ушел за занавеску, и оттуда послышались глухие всхлипывания.

— Чего дерешься-то, идол? Каторжная я вам далась, што ли?..

Дядя Василий вернулся к столу такой бледный и долго молча гладил по голове свою девочку. Он тяжело дышал и несколько раз смотрел злыми глазами на занавеску. Мать Сережки медленно и с трудом сняла свою тяжелую котомку, мокрую кофту и осталась в деревенском сарафане. Ее больше всего смущало то, что она может «наследить» грязными башмаками, а снять их не решалась. Ссора дяди Василия с женой из-за нее тоже не обещала ничего хорошего. Так уж все шло одно к одному... Сережка смотрел на мать и на дядю и начинал бояться последнего. Когда дядя Василий опять хотел идти за занавеску, Марфа его удержала за рукав.

— Не надо, Вася...

— Ах, оставь... Ничего ты не понимаешь. Катя, ты сейчас иди к свояку и позови его чай

пить...

— Так и побежала...

— Ты опять?

Послышалось сморканье, а потом Катерина Ивановна, накрывшись платком, быстро вышла из комнаты. Дядя Василий проводил ее глазами, покрутил головой и проговорил совсем другим голосом:

— Марфа, ты не подумай, что Катя злая. Так, стих на нее находит... А спускать ей тоже невозможно. Ни боже мой... Способу не будет, ежели ей покориться. А так она добрая...

— А ты бы все-таки, Вася, ее не трогал, — нерешительно проговорила Марфа, поглядывая на дверь. — Родня родней, а она жена...

— Ничего, все обойдется.

Дядя Василий подозвал Сережку, поставил его перед собой, пощупал руки и грудь и проговорил:

— Ничего, мальчуга хороший... Пристраивать его привела, Марфа?

— Уж и не знаю, Вася, как быть... Дома-то не у чего ему оставаться. Избу продали, лошаденку продали...

В ее голосе послышались опять слезы, но

она удержалась, потому что дядя Василий нахмурился.

— Ладно, ладно, сестра… Будет. «Москва нашим слезам не верит» — говорили старики. Устроим мальчугу вот как… А ты на Катю не обращай внимания. Обойдется помаленьку…

Время от времени дядя Василий гладил свою девочку по голове и приговаривал:

— Смотри, Шурка, какие ребята в деревне-то растут! Вон какой крепыш… Не то что ты.

— Она хворая? — спросила Марфа.

— Нет, этого нельзя сказать… А так, не она хлеб ест, а ее хлеб ест. Наши фабричные ребятишки все такие изморыши… Значит, здесь климат такой для ребят, то есть сырости много… и притом грязь. Самый скверный климат, не то что в деревне у вас, где один воздух…

II

Этот разговор был прерван шумом на лестнице, а потом в комнату вошел приземистый мужик в одной жилетке и опорках, надетых на босу ногу.

— А я вот-ан, Василь Мироныч!.. Зравсте... Эге, видно, ехала деревня мимо мужика да в гости и приехала. Сестрица будете Василь Миронычу? Наше почтение, значит, вполне... ежеминутно...

Потом пришедший погрозил пальцем хозяину, укоризненно покрутил головой и заметил:

— Эх, брат, не хорошо обижать женский пол... Вот как разливается теперь Катерина Ивановна, река рекой. А промежду прочим, отлично... Пусть Парасковья Ивановна чувствует свое ничтожество, потому как ежеминутно должна покоряться собственному законному супругу...

— Будет тебе околесную-то нести, Фома Павлыч, — остановил его дядя Василий. — А мы вот что сообразим... чтобы честь честью все было... Понимаешь?

— Ежеминутно…

Фома Павлыч при этом подмигнул и потянул воздух носом. Дядя Василий достал кошелек, вынул из него рублевую бумажку и, откладывая по пальцам, говорил:

— Сороковка водки — раз… пару пива — два… Теперь нащет закуски: колбасы вареной полфунта, селедочку… парочку солененьких огурчиков… ситнова три фунта… Понимаешь?

— Вот как понимаю, одна нога здесь, а другая там… Ежеминутно оборудуем.

Подмигнув и повернувшись на одной ноге, Фома Павлыч ушел.

— И для чего это ты затеваешь, Вася, — корила Марфа. — Деньги только понапрасну травишь, а жена будет тебя ругать.

— Перестань, говорят… Ничего вы, бабы, не понимаете. Как есть ничего… А при этом кто мне может запретить родную сестру угостить? В кои-то веки увидались… Бывает и свинье праздник, милая сестрица. Вы только не беспокоитесь, потому как у вас свои порядки, а у нас свои… А Фома Павлыч мой благоприятель и при этом свояк: на родных сест-

рах женаты.

Фома Павлыч действительно вернулся «живой ногой», а за ним пришла и Катерина Ивановна.

— Катя, самовар поскорее! — весело торопил дядя Василий. — Гости-то наши здорово проголодались. Сидят да, поди, думают: в городе толсто звонят, да тонко едят.

— Мы еще на машине хлебушка поели, — ответила Марфа. — Сытехоньки.

— Сказывай... Знаем мы вашу деревенскую еду.

Пока самовар кипел, дядя Василий развернул закуску и налил четыре рюмки водки.

— Нет, уж меня уволь, Вася, — отказалась Марфа. — Отродясь не пивала.

— Ну, как знаешь. Эй, Катя...

Катерина Ивановна вышла и выпила поданную ей рюмку.

— Это ей для здоровья дохтур велел, — объяснил дядя Василий, точно извиняясь за жену. — Ну, Фома Павлыч, будь здоров на сто годов...

— Аль выпить, Василь Мироныч? Ну, одну-то куды ни шло... Будьте здоровы... ежеми-

нутно...

От селедки и колбасы Марфа тоже отказалась, а за ней и Сережка, что даже обидело дядю Василия. Зато они с величайшим удовольствием принялись за ситник и огурцы. Сережка ел с таким аппетитом, что у него даже выступили слезы на глазах. Мать потихоньку дергала его за рукав рубашки, но мальчик был слишком голоден, чтобы понимать это предупреждение. Маленькая Шура с удивлением смотрела на него своими большими глазами и наконец проговорила:

— Папа, дай мне такой же точно кусок ситника... и огурец...

— Позавидовала? — смеялся дядя Василий. — Ну, учись у деревенских, как хлеб нужно есть... Она у нас, как барышня, — только посмотрит да понюхает еду.

Когда сороковка была выпита, дядя Василий и Фома Павлыч сделались сразу добрее.

— Что же это у нас закуска даром остается? — говорил дядя Василий, почесывая в затылке. — Фома Павлыч, не иначе дело будет, как ты позовешь Пашу, а окромя этого...

Он что-то шепнул Фоме Павлычу на ухо и

сунул что-то в руку.

Катерина Ивановна выпила две рюмки, и ее бледное лицо покрылось красными пятнами. Она уже не пряталась за занавеской подавешнему, а сидела у стола и не сводила глаз с Сережки.

— Вот и посмотри, Катя, какие деревенские бывают! — ласково говорил дядя Василий. — Сколоченный весь...

— На сиротство бог и здоровья посылает, — задумчиво отвечала Катерина Ивановна, вздыхая. — Уж, кажется, мы ли не кормим нашу Шурку, а толку все нет. Едва притронется к пище — и сыта...

Пришла Парасковья Ивановна. Она походила на сестру — такая же худая и с таким же сердитым лицом.

— Загуляли? — проговорила она, подсаживаясь к столу.

— Загуляли, Паша, — ответил дядя Василий. — Потому нельзя: сестра.

Фома Павлыч принес вторую сороковку и на пятачок студню в бумажке.

— Это от меня закуска, Марфа Мироновна... На целый пятачок разорился, потому как

и мы с вами в родстве приходимся. Вот и мальчуган поест студеню...

Парасковья Ивановна выпила рюмку водки и страшно раскашлялась.

— Чахоточная она у меня, — объяснял Фома Павлыч гостье. — Скоро помрет... Две уж весны помирала. Ежеминутно...

После второй сороковки мужчины сделались окончательно добрыми. Фома Павлыч называл дядю Василия уже Васькой, хлопал по плечу и лез целоваться.

— Отстань... — уговаривал его дядя Василий.

— А ежели я тебя люблю, дядя Василий? То есть — вот как люблю... Скажи мне: «Фомка, валяй в окно!» И выскочу, ей-богу, выскочу... Ежеминутно. У меня уж такой скоропалительный карахтер... Или люблю человека, или терпеть ненавижу.

Парасковья Ивановна подсела к Марфе и начала ее расспрашивать про деревенское житье-бытье. Марфа повторила свой рассказ: как захворал муж, как продали избу и лошадь, как она оставила маленькую девочку у свекрови и повезла Сережку в Дитер.

— Куда же ты его денешь в Питере? — спрашивала Парасковья Ивановна.

— А не знаю... Ничего не знаю, голубушка. Как уж бог устроит, так тому и быть.

Выпившие женщины жалели ее и качали головами. Трудно придется такому махонькому мальчонке в чужих людях. Еще неизвестно, куда попадет. Конечно, бог сирот устраивает, а все-таки жаль...

Дядя Василий, когда начали пить пиво, вдруг сделался скучным и все отмахивался рукой, как отгоняют комаров. Фома Павлыч раскраснелся, хихикал и к каждому слову прибавлял: «Ежеминутно».

— Чему ты радуешься-то? — говорил ему дядя Василий. — Несчастные мы с тобой люди, и больше ничего. Да... И не люди, а так... слякоть!

— В каких: это смыслах будет, Васька? Я в другой месяц все пятьдесят цалковых заработаю... Какого же тебе еще человека надобно? Ступай-ка, заработай столько в деревне...

— В деревне? Да ты и во сне не видал, какая такая деревня есть... «Пятьдесят цалковых»! Велики твои пятьдесят цалковых... Как

будто и деньги, а в руки взять нечего. Я вот тоже по сорока цалковых зарабатываю, а где они? Ты вот и подумай, шалый человек... И никому мы с тобой не нужны. Вот совсем не нужны... А вот деревня-то всем нужна — она, матушка, всех нас, дураков, кормит и поит. Без деревни то мы все бы передохли, как земляные черви...

— Ежеминутно, — бормотал Фома Павлыч. — Какой же человек, ежели ему хлеба не дать. Правильно...

— То-то вот и есть... И народ там правильный, в деревне, потому как вся ихняя жисть есть правильная, а у нас баловство. Ну вот выпили мы с тобой две сороковки, поели колбасы да селедки, а дальше что? К чему, например, эта самая колбаса? Вот Сережка и не глядит на нее, потому ему претит... Ты ему щей дай, каши, картошки, а не колбасы. Он будет здоровый мужик, а мы подохнем с своей колбасой. В деревне-то как говорят: «Растет сирота — миру работник». А у нас сирота у всех, как заноза. А ты мне свои пятьдесят цалковых показываешь! Тьфу! Вот что твои пятьдесят цалковых да и мои сорок вместе...

Дядя Василий чем дальше говорил, тем больше сердился. Лицо у него покраснело, глаза сделались злые; время от времени он кому-то грозил кулаком.

— Правильно... — соглашался во всем Фома Павлыч, начинавший моргать глазами. — Ежеминутно.

Этот разговор закончился совершенно неожиданно. Фома Павлыч поднялся, подошел к дяде Василию и, протягивая руку, проговорил:

— Коли так, Васька... ежели, например, сказать к примеру... воопче... Ну, значит, и ударим по рукам.

— В чем дело?

— Давай, просватывай племяша... Значит, тово... беру его в ученики... Человеком сделаю...

— Марфа, слышишь? — спросил дядя Василий. — Значит, определяй Сережку по сапожной части...

— Не знаю, как ты, Вася... — испуганно ответила Марфа.

— Ну, так разнимай руки, — проговорил дядя Василий. — Фома Павлыч человек хоро-

ший, хоть и пьяница; не обидит Сережку. А там видно будет... По условию, на пять лет, Фома Павлыч?

— На пять, Васька...

Они ударили по рукам, а Марфа должна была разнять руки. Она горько плакала. Сережка смотрел на всех и ничего не понимал.

— Ну, теперь будем литки с тебя пить, — заплетавшимся языком проговорил Фома Павлыч. — Посылай еще за сороковкой...

III

Когда Фома Павлыч проснулся на другой день, у него страшно трещала голова с похмелья. Он лежал несколько времени на постели с закрытыми глазами и старался припомнить — какую сделал вчера глупость. Глупость была, Фома Павлыч это помнил, но очень смутно. Из-за ситцевой занавески, которая отделяла кровать от большой русской печи, он только видел спину жены. Она, по обыкновению, встала рано и хлопотала по хозяйству. Фома Павлыч по тому, как жена гремела жестяной кастрюлей и бросала ухваты, понял одно, что она сердится и сердится

именно на него.

«Ах, братец ты мой... — сообразил Фома Павлыч, продолжая валяться на постели. — Выходит дело-то ежеминутно... Ну, чего Паша злится? Уж эти бабы... У самой бы так-то голова поболела с похмелья... да. Тогда бы узнала, каково на свете жить».

Парасковья Ивановна несколько раз заглядывала за занавеску и наконец не утерпела.

— Ты это что валяешься-то, лежебок? — заворчала она. — Белый день на дворе, а ты дрыхнешь.

— Паша, я... ежеминутно.

— Ступай хоть полюбуйся на нового работничка. Кормильца нанял...

Фома Павлыч сел на кровати, поскреб свою виноватую голову и сразу все сообразил.

— Ах, братец ты мой... Оно действительно, Паша, того... Одним словом, ежеминутно!.. И на кой черт я его взял?.. Где он?

— А сидит в мастерской и смотрит, как другие работают. Совсем у тебя ума нет, вот и навязал себе на шею кормильца...

— Ежеминутно, Паша...

И для чего в самом деле он взял мальчиш-

ку в ученики? Припоминая, как было дело, Фома Павлыч только почесал в затылке. Просто хотелось выпить и сорвать с дяди Василия «литки», а своих денег не было.

— Ах, нехорошо, братец ты мой, Фома Павлыч, вот даже как нехорошо. А ежели отказаться от мальчика — перед дядей Василием совестно... Вот тебе, пьяный дурак! — погрозил Фома Павлыч самому себе кулаком. — Бить тебя мало...

Сапожная мастерская помещалась в подвале старого деревянного дома. Она состояла из двух комнат — в одной была мастерская, а в другой жил сам хозяин. Мастерская освещалась всего двумя маленькими оконцами, выходившими на улицу. Эти окна лежали вровень с землей и давали слишком мало света.

Старый подмастерье, отставной солдат Кирилыч, и днем работал с огнем. Перед ним стояла всегда жестяная лампочка, свет которой пропускался сквозь стеклянный шар с водой, заменявший увеличительное стекло. Кирилыч страдал глазами и плохо видел. Кроме него, были два ученика-подростка, лет по пятнадцати — рыжий Ванька и кривой Петька.

Кирилыч всегда был мрачен, любил вздыхать и думать вслух. У него всегда были наготове какие-то сердитые мысли, которыми он точно стрелял в неизвестного врага. Ванька и Петька отличались веселым характером, любили подраться и вообще что-нибудь поозорничать. Одеты они были, как все сапожные ученики, в грязные рубахи, опорки и грязные фартуки когда-то белого цвета. Для своих лет оба были слишком малы ростом и казались гораздо моложе. Испитые зеленые лица говорили о многолетнем сиденье в подвале.

В первую минуту, когда Сережка проснулся, он спал на лавке, он долго не мог сообразить, где он. Было еще темно, но рабочие сидели уже вокруг низенького столика и работали. Сережка видел только согнутую спину Кирилыча, а из-за нее смотрели на него Петька и Ванька.

— Проснулся, деревенский пирожник, — проговорил рыжий Ванька и фыркнул.

Кривому Петьке тоже понравилось это прозвище, хотя оно и было придумано без всяких оснований. Петька тоже фыркнул. Конечно — пирожник, настоящий деревенский

пирожник!.. По этому случаю кривой Петька даже ткнул рыжего Ваньку в бок кулаком, и обоим сделалось ужасно смешно. Кирилыч сурово посмотрел на них поверх круглых очков в медной оправе и проговорил:

— Вы-то чему обрадовались? Хозяйское дело: кого хочет, того и берет. На то он и хозяин... да. Будь я хозяин — кто мне может указать? Что захотел, то и сделал... Я, например, главный подмастерье и тоже но своей части что захочу, то и сделаю.

— А ежели он пирожник? — ответил рыжий Ванька.

— Не наше дело...

Сережке не понравилась мастерская. И темно, и сыро, и холодно, и дышать тяжело. Пахло свежим сапожным товаром, дегтем и еще чем-то кислым... так пахнет, когда мочат долго кожу. Рабочие тоже ему не понравились. Они, наверное, злые, особенно рыжий Ванька, скаливший свои белые, крепкие зубы. Парасковья Ивановна несколько раз выглядывала из своей комнаты, и Сережке казалось, что она смотрит на него такими злыми глазами. Сережке вдруг захотелось плакать,

и он решил про себя, поглядывая на дверь: «Убегу… Непременно убегу к себе в деревню».

Мысль о деревне разжалобила Сережку. Он припомнил проданную новую избу, проданную лошадь… Если бы жив был отец, все было бы иначе. Маленькое детское сердце сжалось от страшной тоски по родине. Сережка мысленно видел свою деревенскую церковь, маленькую речку за огородами, бесконечные поля, своих деревенских товарищей… Там все были добрые и хорошие. В заключение Сережка еще раз подумал про себя: «Убегу».

Фома Павлыч вышел в мастерскую всклокоченный, с опухшим лицом и красными слезившимися глазами.

— Сапоги Корчагину готовы? — строго спросил он, не обращаясь ни к кому.

— К вечеру будут готовы… — ответил сурово Кирилыч.

— То-то, смотрите у меня…

На Сережку хозяин даже не взглянул, а пошел обратно на свою половину. Послышались переговоры.

— Опохмелиться бы, Паша? — виновато говорил Фома Павлыч.

— В самый раз... — сердито ответила Парасковья Ивановна. — Давай деньги...

Фома Павлыч только что-то промычал.

— Кто велел вчера натрескаться?

— Кто? А ежели дядя Василий посылал за мной.

— Дядя Василий, не бойсь, на работе, а ты валяешься... Чему обрадовался-то?

— Всего один стаканчик, Паша...

— Отстань, смола!

— Паша... Ах, боже ты мой!.. Ежеминутно...

У Парасковьи Ивановны были припрятаны на черный день три рубля, но она крепилась и не давала денег. Фома Павлыч надел свои опорки, взял шапку и хотел уходить.

— Ты это куда поплелся? — остановила его Парасковья Ивановна, загораживая собою дверь. — Сказано, не пущу. Вот еще моду придумал.

Фома Павлыч обиделся и начал отталкивать жену, приговаривая:

— Как ты можешь мне препятствовать? Кто хозяин в дому? Ступай, прочитай вывеску: «Фома Павлыч Тренькин». А ты: «Не пущу». У меня дело есть...

— Знаем твои дела. В кабак уйдешь, а то в портерную.

Этот неприятный разговор был прерван совершенно неожиданно. Отворилась дверь, и вошла мать Сережки. Она отыскала глазами маленький образок в углу, помолилась и, поклонившись всем, проговорила:

— Здравствуйте... Хозяину с хозяюшкой много лет здравствовать.

Потом она передала Парасковье Ивановне какой-то узелок, в котором оказались сороковка водки, горячий калач и десяток принесенных из деревни яиц. Самой Марфе не догадаться бы все это сделать, но научила Катерина Ивановна. Фома Павлыч сразу отмяк.

— Вот это настоящее дело, Марфа Мироновна... В самый то есть раз. Паша, сделай-ка нам яишенку и прочее.

Марфу провели на хозяйскую половину и посадили к столу. Фома Павлыч совсем повеселел и даже потирал руки от удовольствия.

— А вы, не бойсь, о своем детище беспокоитесь, Марфа Мироновна? Будьте без сумления... Все в лучшем виде устроим. Человеком будет...

Когда яичница была готова, позвали Кирилыча.

— Ну-ка, Кирилыч, поздравимся с новобранцем? — говорил Фома Павлыч, разливая водку. — Что делать, выучим помаленьку...

— Как не выучить, ежели понятие есть, — уклончиво ответил Кирилыч, выпивая рюмку. — Все дело в понятии... Без понятия никак невозможно.

Выпитая сороковка всех оживила, и даже Парасковья Ивановна повеселела.

— Что же, пусть его живет, — проговорила она. — Помаленьку выучится... Все так же начинали. Ежели баловать не будет, так и совсем хорошо.

Марфа осмотрела мастерскую и хозяйскую половину, и ей тоже не понравилось, как Сережке. Не красно живет Фома Павлыч...

IV

Марфа погостила всего три дня и собралась домой. Это было страшным горем для Сережки, первым детским горем. Он так плакал, что Катерина Ивановна взяла его к себе.

— Еще убежит как раз, — говорила она мужу. — Характер у него такой. Тошно покажется... Пусть пока поиграет с Шуркой.

Сережка не мог успокоиться целых два дня. Он как-то сразу привязался к маленькой Шуре, тихой и послушной девочке, вечно сидевшей на стуле. Она ходила с трудом, как утка. Сережка мастерил ей свои деревенские игрушки, пел деревенские песни, а главное, рассказывал без конца о своей деревне. Шура все говорила и все понимала. В ее воображении Сережкина деревня рисовалась каким-то земным раем. Кроме своего грязного двора и грязной фабричной улицы, она ничего не видала. Девочка напрасно старалась представить себе те нивы, на которых родится хлеб, заливные луга, с которых собирают душистое золеное сено, домашнюю скотину, огороды, лес, маленькую речку, белую деревенскую

церковь, зеленую деревенскую улицу. Это незнание доводило Сережку до отчаяния.

— Эх, если бы тебе ноги, Шурка... — повторял он.

— Что бы тогда, Сережка?

Сережка осторожно оглядывался и шептал:

— А мы бы убегли с тобой!.. Видела котомку у мамки моей? Вот такую же котомку бы сделали, наложили бы сухарей да по машине бы и пошли... Я знаю дорогу. Прямо бы в свою деревню ушли... А там спрятались бы в бане... Потом я пошел бы к дяде Якову. У него три лошади... Вот как бы ты выправилась в деревне-то!

Маленькая Шура только отрицательно качала своей большой золотушной головкой.

— Я боюсь, Сережка...

— Чего бояться? Будешь здоровая, как наши деревенские девки... Вон ты и есть-то не умеешь по-настоящему, а там наелась бы черного хлеба с луком да с редькой, запила бы квасом... вот как бы расперло.

Мысль о бегстве засела в голове Сережки клином с первого дня городской жизни. Он лелеял эту мысль и любил поверять ее только

одной Шуре.

— Ты только никому не говори... — просил он ее.

— А тебя поймают дорогой...

— Я руки искусаю... Палкой буду драться.

В мастерской Сережка освоился быстро. Работа была нетрудная. Пока он сучил шнурки для дратвы, приделывал к концам щетинки, натирал варом; потом Кирилыч научил его замачивать кожу и класть заплатки на женские ботинки. В первый же праздник рыжий Ванька его поколотил, но не со злости, а так, как бьют всех новичков.

— Нас еще не так дубасили, — объяснил он плакавшему Сережке. — А ты просто пирожник...

Кривой Петька изображал собой публику.

— Дай ему еще хорошего раза, Ванька, — поощрял он приятеля. — Ишь какие слезы распустил, пирожник...

Фома Павлыч и Кирилыч совсем не обижали Сережку, и последний убедился, что в городе не все злые. Парасковья Ивановна даже жалела его, когда по праздникам сидел один в мастерской.

— Ты бы хоть на улицу шел с ребятами поиграть...

— Они дерутся.

— А ты им сдачи давай.

— Они больше меня...

Праздники для Сережки были истинным мучением. Делать было нечего, и его заедала мысль о своей деревне. Он пробовал выходить на улицу, но, кроме неприятностей, из этого ничего не получалось. По шоссе бродила без цели и толку громадная толпа народа. Все галдели, толкались, кричали. К вечеру появлялись пьяные, и начинались драки. Фабричные ребятишки шныряли в этой праздничной толпе, как воробьи, затевая свои драки, шалости и редко игры. Эти изможденные, бледные дети не умели играть... Сережку удивляло, что все они какие-то злые. Он или сидел в мастерской, или уходил к дяде Василию играть с Шурой.

— Чудной он какой-то, — жаловалась сестре Парасковья Ивановна. — На других ребят и не походит совсем...

— Погоди, привыкнет — такой же будет. Деревенское-то все соскочит... Тоскует все.

— Тих уж очень...

К вечеру Фома Павлыч возвращался домой всегда выпивши. В праздники ему разрешалось выпить, и Парасковья Ивановна не ворчала. Он садился у стола и кричал:

— Сережка, как ты меня понимаешь... а? Говори: «Сапожный мастер Фома Павлыч Тренькин...» Так? Рраз... Второе: «Где учился Тренькин?» У немца Адама Адамыча... Немец был правильный. Так... А почему? Потому, что он немец... А про русского сапожника говорят прямо: «Пьян, как сапожник». Ххa... Ежеминутно!..

Под пьяную руку Фома Павлыч непременно кому-нибудь завидовал — то немцу Адаму Адамычу, у которого прожил в учениках шесть лет, то дяде Василию, который получает жалованье, как чиновник, то деревенским мужикам, которые живут помещиками...

— Сережка, ведь лучше в деревне... а?

— Лучше...

— Вот то-то... Это только название, что мужик. А как он живет-то, этот самый мужик?

— Всяко живут, Фома Павлыч... Разные мужики бывают. Которые совсем хорошо, кото-

рые ровненько, а которые и совсем худо.

— Худо? А сколько ден в году твой мужик работает? Только летом, и то с передышкой... Обсеялись — жди страды, отстрадовали — лежи целую зиму на печи. Ну, съездит помолотить, на мельницу, за дровами там — только и всего. Мы-то вот целый год дохнем над работой, а мужику что... Брошу я свою мастерскую и уеду в деревню жить. Будет у меня пашенка, лошаденка, коровенка, огородишко... главное — все свое. Никому Тренькин не обязан... Так, Сережка? Дядя-то Василий правду говорит, что мы есть самые пропащие люди. Денег зарабатываем бугры, а какая цена нашим деньгам: что нажил, то и прожил, а у самого опять ничего.

Иногда заходил дядя Василий. Он тоже немного выпивал в праздник и любил поговорить о деревне и правильной жизни. Выпивши, дядя Василий непременно начинал жалеть свою Шурку и даже плакал. С Сережкой он держал себя строго и спрашивал каждый раз Фому Павлыча:

— Ну, как мой племяш? Не балует?..

Все почему-то не доверяли Сережке и жда-

ли, что вот-вот он выкинет какую-нибудь штуку. Эти подозрения скоро оправдались. Подметила дело своим бабьим глазом Парасковья Ивановна. В углу на печи начали появляться корки черного хлеба. Потом они исчезали. Парасковья Ивановна принялась выслеживать Сережку и скоро открыла припрятанные им сухари.

— Это он себе на дорогу готовит, — сообразила она. — Ах, прокурат... Уж эти тихонькие!..

Дальше открыла она, что Сережка устроил себе из старой рубахи и разного тряпья настоящую котомку. Когда Сережка укладывался спать, она потихоньку приносила эту котомку и показывала мужу.

— Что же, правильно, — сообразил Фома Павлыч. — Провиант есть... Теперь остается только забрать спичек и нож... Без этого невозможно... Малый-то серьезный.

Приготовлялся Сережка к бегству очень медленно, почти всю зиму. Он уносил из-за еды по кусочку хлеба и сушил на печке. А потом, как говорил Фома Павлыч, явилась коробка шведских спичек. Мать оставила Се-

режке пятак, и он стратил на спичку «родную копейку». Все дело оставалось в ноже. На четыре копейки его не купишь, а украсть нехорошо.

— Ну, как нож положит в котомку, тогда его и накроем, — решил Фома Павлыч. — Закон требует порядку... Ежеминутно.

Около масленицы в котомке появился и нож.

— Шабаш, брат! — заявил Фома Павлыч. — Теперь надо будет позвать дядю Василия. Его дело... Мы его не обижали.

В решительную минуту Катерина Ивановна невольно пожалела Сережку. Дядя Василий бить будет.

Роковой день наступил. Это было как раз воскресенье перед масленицей. Позвали дядю Василия. Парасковья Ивановна принесла котомку, к которой уже были пришиты ременные лямки.

— Это что такое? — громко спросил дядя Василий.

Сережка даже весь побелел и только взглянул с немым укором на Парасковью Ивановну.

Расправа произошла тут же, в мастерской. Дядя Василий больно прибил Сережку, а потом высек. Рыжий Ванька помогал ему от чистого сердца. Сережка даже не кричал, а только мычал от боли.

— Я тебя выучу, змееныш! — кричал дядя Василий, не помня себя от злости. — Тебе добра хотят, а ты что затеял?!

Он опять хотел бить Сережку, но вступилась Парасковья Ивановна и не дала.

— Поучили, и будет, — уговаривала она, удерживая дядю Василия. — Мал еще, ну и глупит… Мы свое думаем, а он свое.

V

Первой мыслью Сережки после наказания было поджечь мастерскую Фомы Павлыча и этим устранить причину всякого зла в корне. Но так как, кроме мастерской, мог сгореть весь дом, а главное, деревянный флигель, в котором жила маленькая Шурка, то эта мысль заменилась другой — идти и утопиться в Неве. Последнего приходилось подождать, потому что сейчас Нева была покрыта льдом, а бросаться в прорубь Сережка не желал. Он боялся холодной, ледяной воды.

Всю масленицу Сережка просидел дома и ни за что не хотел показываться ни на дворе, ни на улице. Ему казалось, что все будут указывать на него пальцами и говорить:

— Вот это тот самый Сережка, который хотел убежать к себе в деревню и которого дядя Василий высек...

В прощеный день на масленице пришла Катерина Ивановна и сказала:

— Ты это что же, Сережка, и глаз к нам не кажешь... Шурка без тебя вот как стосковалась. Пойдем.

Сережка боялся идти к дяде Василию, но ему хотелось видеть Шурку, о которой он уже соскучился. Скрепя сердце он пошел за теткой. К счастию, дяди Василия не оказалось дома. Шурка страшно ему обрадовалась и сделала строгий выговор:

— Ты папы не бойся, — уверяла она. — Он добрый...

— Ну, не всякое лыко в строку, — говорила Катерина Ивановна, оправдывая мужа. — Мало ли что бывает... Тоже и то сказать, Сережка, что и ты неправ. Хоть бы Шурку пожалел: убежал бы, а она с кем стала бы играть?

Сережке вдруг сделалось легче, точно свалилась гора с плеч. Да, он действительно забыл о маленькой, больной Шурке.

— Это ты от меня хотел убежать, — плаксиво говорила девочка. — Ты нехороший...

Сережка плакал, потому что ему было жаль и своей деревни, и больной городской девочки.

Время шло. Проходили дни, недели, месяцы... Сережка продолжал думать о деревне и мечтал о том блаженном времени, когда сделается совсем большим и вернется домой.

Через два года он стал получать уже маленькое жалованье, а потом зарабатывал кое-что в свободное праздничное время. Сколько было радости, когда он мог послать матери первые заработанные три рубля.

— Ну, вот, молодец! — похвалил дядя Василий. — Кто родителей помнит, того бог не забывает. А в деревню хочешь уйти?

— И уйду, дядя, как только буду большим.

Теперь Сережка уж не боялся дяди Василия и говорил с ним смело. Дядя Василий сам любил поговорить о деревне и правильной жизни.

— Отчего же ты, дядя, не уедешь в деревню? — удивлялся Сережка.

— А так... Привык здесь, а там я уж чужой, как выдернутый зуб. Какой я буду мужик, ежели меня по крестьянству определить... Курам на смех. А на фабрике-то я дома... А главное, не один я тут — большие нас тыщи народу. На людях и смерть красна... Который человек ежели без ошибки, так всегда можно жить и даже очень превосходно.

Из Сережки рос серьезный трудолюбивый мальчик, так что дядя Василий говорил про

него:

— Ну, этот далеко пойдет. Он нам всем утрет нос... Много в нем этой самой деревенской силы.

Фома Павлыч только потряхивал головой. Что же, действительно парень хороший, хоть куда. Вырастет — вот какой работник будет.

Лучшим развлечением Сережки по-прежнему оставалась больная Шурка, которая тоже выросла, но не поправилась. Она была такая же бледная и так же плохо ходила. Сережка играл с ней, как маленький. Теперь Катерина Ивановна души в нем не чаяла и принимала, как дорогого гостя. Она выросла в городе и тоже любила послушать рассказы Сережки о деревне.

— Что ты там делать-то будешь, Сережка? — спрашивала она.

— А все... Землю пахать, сеять, сено косить. Я природный крестьянин, и мне сейчас должно общество надел дать. Ну, лошаденку заведу, коровку... Пока мать за хозяйством присмотрит, а потом сестренка подрастет. Женюсь, потому без бабы какое же хозяйство...

— Хочешь богатым быть?

— Зачем богатым... И так проживем. Главное, не надо эту проклятую водку пить... От нее все зло и по городам, и по деревням.

— Это ты верно, Сережка.

Шурка слушала все эти разговоры и только вздыхала. Она была уверена, что сейчас бы поправилась, если бы попала в деревню.

— Конечно, поправилась бы, — уверял Сережка. — У нас вон какие здоровые деревенские девки. Не чета фабричным...

— Это уж конечно... Где же фабричным... синявки какие-то!

Рыжий Васька и косой Петька давно примирились с «деревенским пирожником», тем более что он частенько выручал их от разных неприятностей. Молодые люди любили погулять и скоро узнали дорогу в портерные и трактиры. Из-за этих удовольствий как-то и работа не выходила в срок, и Кирилыч ворчал, а Парасковья Ивановна грозила, что прогонит.

— Вон какие лбы выросли, — ворчала она. — Пора и своим умом жить. Сегодня обрадовались, завтра обрадовались, а кто работать будет?

Фома Павлыч угрюмо отмалчивался, потому что сам встречался в трактире с своими подмастерьями. Кирилыч «срывал» в год раз и пропадал недели на две. В конце концов, самым надежным человеком в мастерской оставался Сережка. Через три года он уже выучился работать, как настоящий мастер, и только робел немного, когда приходилось снимать мерки и выкраивать товар... Как раз ошибешься!

— Ты уж того, Сережка, постарайся, — говорил Фома Павлыч все чаще и чаще. — Понимаешь? Потому как есть настоящий мастер Фома Павлыч Тренькин и не желаю оказывать себя свиньей... У меня своя сапожная линия. Ежеминутно...

И Сережка старался. От работы и житья в подвале он сильно похудел, вытянулся, и в лице его появилась какая-то скрытая озлобленность, как и у других мастеровых. Он так же бегал в опорках и в грязном фартуке, а по праздникам одевался уже совсем по-городски — в пиджак, суконный картуз и суконные брюки. Верхом торжества в этом городском костюме были резиновые калоши, подержан-

ное осеннее драповое пальто и зонтик. Когда дядя Василий увидел его в первый раз в таком костюме, то невольно проговорил:

— Ну, теперь, Сережка, ничего тебе не остается, как жениться. Да... Вот тебе и выйдет вся деревня.

Наконец прошли и пять лет. За последние годы Сережка успел кое-что отложить себе и заявил в день своего мастерового совершеннолетия Фоме Павлычу:

— Хозяин, теперь мы с тобой в расчете...

— Ну?

— Значит, еду к себе в деревню...

— Спасибо здешнему дому — пойду к другому? Ежеминутно...

Фома Павлыч страшно обиделся и побежал сейчас же жаловаться дяде Василию. Тот его выслушал, почесал в затылке и проговорил:

— Ничего не поделаешь, Фома Павлыч... Сколько волка ни корми, а он все в лес смотрит.

— А я-то как без него останусь? Вот так ежеминутно... Паша как услыхала, так и заревела... Он у нас родным жил. Все его жалеют. Главное — непьющий, в аккурате всегда.

Сережка простился со всеми как следует. Больше всех горевала о нем Шурка, которой было уже десять лет. Она горевала молча и старалась не смотреть на Сережку.

— В крестьяне запишешься? — спрашивая дядя Василий.

— В крестьяне... Зимой сапоги буду шить.

— Та-ак... Что же, дело невредное. С богом... Ужо в гости к тебе приедем с Фомой Павлычем...

— Милости просим... Ну, прощайте, да не поминайте лихом.

Катерина Ивановна и Парасковья Ивановна плакали о нем, как о родном.

Дело было осенью, когда уже начались дожди и дни делались короткими. По вечерам в мастерской частенько вспоминали Сережку и завидовали ему, особенно Фома Павлыч.

— Теперь страда кончилась, все с хлебом, — говорил он с каким-то ожесточением. — Свадьбы играют... Пиво свое домашнее, закуска всякая тоже своя, а водку покупают прямо ведрами. Ежеминутно... Эх, жисть!

Можно себе представить общее изумление, когда ровно через три недели, поздно ве-

чером, в мастерскую вошел Сережка.

— Ты это откуда взялся-то? — удивился Фома Павлыч. — Вот так фунт!

— Где был, там ничего не осталось, — уклончиво ответил Сережка.

Вечером у дяди Василия был устроен настоящий пир. Сережка купил за собственные деньги водки, пива и разной закуски. Угощались дядя Василий и Фома Павлыч с женами и Кирилыч.

— Эх, брат, как же это ты так, то есть ошибку дал? — спрашивал дядя Василий. — Мы-то тебе тут завидуем, а ты вот он.

— Скучно показалось, дядя... Точно чужая вся деревня... И все люди точно чужие. Пожил, посмотрел, и потянуло меня опять в город... Главная причина, делать мне там нечего цельную зиму. Какие в деревне сапоги — одно званье, что сапог. Даже по ночам просыпался: так и вижу всех живыми — Фому Павлыча, дядю Василия, Кирилыча... Ну, так и порешил... Значит, уж такая линия вышла!.. Шурку вот все жалел...

Вертел

I

Летнее яркое солнце врывалось в открытое окно, освещая мастерскую со всем ее убожеством, за исключением одного темного угла, где работал Прошка. Солнце точно его забыло, как иногда матери оставляют маленьких детей без всякого призора. Прошка, только вытянув шею, мог видеть из-за широкой деревянной рамы своего колеса всего один уголок окна, в котором точно были нарисованы зеленые грядки огорода, за ними — блестящая полоска реки, а в ней — вечно купаю-

щаяся городская детвора. В раскрытое окно доносился крик купавшихся, грохот катившихся по берегу реки тяжело нагруженных телег, далекий перезвон монастырских колоколов и отчаянное карканье галок, перелетавших с крыши на крышу городского предместья Теребиловки.

Мастерская состояла всего из одной комнаты, в которой работали пять человек. Раньше здесь была баня, и до сих пор еще чувствовалась банная сырость, особенно в том углу, где, как паук, работал Прошка. У самого окна стоял деревянный верстак с тремя кругами, на которых шлифовались драгоценные камни. Ближе всех к свету сидел старик Ермилыч, работавший в очках. Он считался одним из лучших гранильщиков в Екатеринбурге, но начинал с каждым годом видеть все хуже. Ермилыч работал, откинув немного голову назад, и Прошке была видна только его борода какого-то мочального цвета. Во время работы Ермилыч любил рассуждать вслух, причем без конца бранил хозяина мастерской, Ухова.

— Плут он, Алексей-то Иваныч, вот что! — повторял старик каким-то сухим голосом,

точно у него присохло в горле. — Морит он нас, как тараканов. Да... И работой морит и едой морит. Чем он нас кормит? Пустые щи да каша — вот и вся еда. А какая работа, ежели у человека в середке пусто?.. Небойсь самто Алексей Иваныч раз пять в день чаю напьется. Дома два раза пьет, а потом еще в гости уйдет и там пьет... И какой плут: обедает вместе с нами да еще похваливает... Это он для отводу глаз, чтобы мы не роптали. А сам, наверно, еще пообедает наособицу.

Эти рассуждения заканчивались каждый раз так:

— Уйду я от него — вот и конец делу. Будет, — одиннадцать годиков поработал на Алексея Иваныча. Довольно... А работы сколько угодно... Сделай милость, кланяться не будем...

Работавший рядом с Ермилычем чахоточный мастер Игнатий обыкновенно молчал. Это был угрюмый человек, не любивший даром терять слова. Зато подмастерье Спирька, молодой, бойкий парень, щеголявший в красных кумачных рубахах, любил подзадорить дедушку, как называли рабочие старика Ер-

милыча.

— И плут же он, Алексей-то Иваныч! — говорил Спирька, подмигивая Игнатию. — Мы-то чахнем на его работе, а он плутует. Целый день только и делает, что ходит по городу да обманывает, кто попроще. Помнишь, дедушка, как он стекло продал барыне в проезжающих номерах? И еще говорит: «Сам все работаю, своими руками...»

— И еще какой плут! — соглашался Ермилыч. — В прошлом году вот как ловко подменил аметист проезжающему барину! Тот ему дал поправить камень, потому грань притупилась и царапины были. Я и поправлял еще... Камень был отличный!.. Вот он его себе и оставил, а проезжающему-то барину другой всучил... Известно, господа ничего не понимают, что и к чему.

Четвертый рабочий, Левка, немой от рождения, не мог принимать участия в этих разговорах и только мычал, когда Ермилыч знаками объяснял ему, какой плут их хозяин.

Сам Ухов заглядывал в свою мастерскую только рано утром, когда раздавал работу, да вечером, когда принимал готовые камни. Ис-

ключение представляли те случаи, когда попадала какая-нибудь срочная работа. Тогда Алексей Иваныч забегал по десяти раз, чтобы поторопить рабочих. Ермилыч не мог терпеть такой срочной работы и каждый раз ворчал.

Всего смешнее было, когда Алексей Иваныч приходил в мастерскую, одетый, как мастеровой, в стареньком пиджаке, в замазанном желтыми пятнами наждака переднике. Это значило, что кто-нибудь приедет в мастерскую, какой-нибудь выгодный заказчик или любопытный проезжающий. Алексей Иваныч походил на голодную лису: длинный, худой, лысый, с торчавшими щетиной рыжими усами и беспокойно бегавшими бесцветными глазами. У него были такие длинные руки, точно природа создала его специально для воровства. И как ловко он умел говорить с покупателями. А уж показать драгоценный камень никто лучше его не умел. Такой покупатель разглядывал какую-нибудь трещину или другой порок только дома. Иногда обманутые являлись в мастерскую и получали один и тот же ответ, — именно, что Алексей Иваныч куда-то уехал.

— Как же это так? — удивлялся покупатель. — Камень никуда не годится...

— Мы ничего не знаем, барин, — отвечал за всех Ермилыч. — Наше дело маленькое...

Все рабочие обыкновенно покатывались со смеху, когда одураченный покупатель уходил.

— А ты смотри хорошенько, — наставительно замечал Ермилыч, косвенно защищая хозяина, — на то у тебя глаза есть... Алексей-то Иваныч выучит.

Всех больше злорадствовал Спирька, хохотавший до слез. Все-таки развлечение, а то сиди день-деньской за верстаком, как пришитый. Да и господ жалеть нечего: дикие у них деньги, — вот и швыряют их.

Работа в мастерской распределялась таким образом. Сырые камни сортировал Ермилыч, а потом передавал их Левке «околтать», то есть обколоть железным молотком, так, чтобы можно было гранить. Это считалось черной работой, и только самые дорогие камни, как изумруд, окалтывал Ермилыч сам. Околтанные Левкой камни поступали к Спирьке, который обтачивал их начерно. Игнатий уже

клал фасетки (грани), а Ермилыч поправлял еще раз и полировал. В результате получались играющие разными цветами драгоценные и полудрагоценные камни: изумруды, хризолиты, аквамарины, тяжеловесы (благородный топаз), аметисты, а больше всего — раух-топазы (дымчатого цвета горный хрусталь) и просто горный бесцветный хрусталь. Изредка попадали и другие камни, как рубины и сапфиры, которые Ермилыч называл «зубастыми», потому что они были тверже всех остальных. Аметисты Ермилыч называл архиерейским камнем. Старик относился к камням, как к чему-то живому, и даже сердился на некоторые из них, как хризолиты.

— Это какой камень? Прямо сказать, враг наш, — ворчал он, пересыпая на руке блестящие изумрудно-зеленые зерна. — Всякий другой камень мокрым наждаком точится, а этому подавай сухой. Вот как наглотаешься пыли-то... Одна маета.

Большие камни точились прямо рукой, нажимая камнем на вертевшийся круг, а мелкие предварительно прилеплялись особой мастикой к деревянной ручке. Во время рабо-

ты вертевшийся круг постоянно смачивался наждаком. Наждак — порода корунда, которую для гранения и шлифования превращают в мельчайший порошок. При работе высохший наждак носится мелкой пылью в воздухе, и рабочие поневоле дышат этой пылью, засоряя легкие и портя глаза. Благодаря именно этой наждачной пыли большинство рабочих-гранильщиков страдают грудными болезнями и рано теряют зрение. Прибавьте к этому еще то, что работать приходится в тесных помещениях, без всякой вентиляции, как у Алексея Иваныча.

— Тесновато... да... — говорил сам Ухов. — Ужо новую мастерскую выстрою, как только поправлюсь с делами.

Год шел за годом, а дела Алексея Иваныча все не поправлялись. Относительно пищи повторялось то же самое. Алексей Иваныч сам иногда возмущался обедам своих рабочих и говорил:

— Какой это обед? Разве такие обеды бывают?.. Вот только поправлюсь делами, тогда все повернем по-настоящему.

Алексей Иваныч никогда не спорил, не го-

рячился, а соглашался со всеми и делал по-своему. Даже Ермилыч, как ни бранил хозяина за глаза, говорил:

— Ну, и человек тоже уродился! Его, Алексея Иваныча, как живого налима, никак не ухватишь рукой. Глядишь, и вывернулся. А на словах-то, как гусь на воде... Он же еще и жалеет нас!.. И тесно-то нам, и еда-то плохая... Ах, какой человек уродился!.. Одним словом, кругом плут!..

II

Солнце светило во все глаза, как оно светит только в июле. Было часов одиннадцать утра. Ермилыч сидел на самом припеке и наслаждался теплом. Его уже не грела старая кровь. Прошка думал целое утро об обеде. Он постоянно был голоден и жал только от еды до еды, как маленький голодный зверек. Он рано утром заглядывал в кухню и видел, что на столе лежал кусок «шеины» (самый дешевый сорт мяса, от шеи), и вперед предвкушал удовольствие поесть щей с говядиной. Что может быть лучше таких щей, особенно когда жир покрывает варево слоем чуть не в вер-

шок, как от свинины?.. Сейчас, летом, свинина дорога, и это удовольствие доступно только зимой, когда привозят в город мороженых свиней и Алексей Иваныч покупает целую тушку. Хороша и шеина, если хозяйка не разбавит щи водой. От этих мыслей у Прошки щемило в желудке, и он глотал голодную слюну. Если бы можно было наедаться досыта каждый день!..

Прошка вертел свое колесо, закрыв глаза. Он часто так делал, когда мечтал. Но его мысли сегодня были нарушены неожиданным появлением Алексея Иваныча. Это значило, что кто-то придет в мастерскую и что придется ждать обеда. Алексей Иваныч нарядился в свой рабочий костюм и озабоченно посмотрел кругом.

— Этакая грязь!.. — думал он вслух. — И откуда только она берется? Хуже, чем в конюшне... Спирька, хоть бы ты прибрал что-нибудь!

Спирька с недоумением посмотрел кругом. Если убирать, так надо всю мастерскую разнести по бревнышку. Он все-таки перенес из одного угла в другой несколько тяжелых кам-

ней, валявшихся в мастерской без всякой надобности. Этим все и кончилось. Алексей Иваныч только покачал головой и проговорил:

— Ну и мастерская, нечего сказать! Только свиней держать.

Время подошло к самому обеду, когда у ворот уховского дома остановился щегольский экипаж и из него вышла нарядная дама с двумя детьми: девочкой лет двенадцати и мальчиком лет десяти. Алексей Иваныч выскочил встречать дорогих гостей за ворота без шапки и все время кланялся.

— Уж вы извините, сударыня!.. Грязновато будет в мастерской; а камушки вы можете посмотреть у меня в доме.

— Нет, нет, — настойчиво повторяла дама. — Камни я могу купить и в магазине; а мне именно хочется посмотреть вашу мастерскую, то есть показать детям, как гранятся камни.

— А, это другое дело! Милости просим...

Дама поморщилась, когда переступила порог уховской мастерской. Она никак не ожидала встретить такое убожество.

— Отчего у вас так грязно? — удивлялась

она.

— Нам никак невозможно соблюдать чистоту, — объяснял Алексей Иваныч. — Известно, камень... Пыль, сор, грязь... Уж как стараемся, чтобы почище...

Эти объяснения, видимо, нисколько не убедили даму, которая брезгливо подобрала юбки, когда переходила от двери к верстаку. Она была такая еще молодая и красивая, и уховская мастерская наполнилась запахом каких-то дорогих духов. Девочка походила на мать и тоже была хорошенькая. Она с любопытством слушала подробные объяснения Алексея Иваныча и откровенно удивилась в конце концов тому, что из такой грязной мастерской выходят такие хорошенькие камушки.

— Да, барышня, случается, — объяснил Ермилыч, — и белый хлеб, который изволите кушать, на черной земле родится.

Алексей Иваныч прочитал целую лекцию о драгоценных камнях. Сначала показал их в сыром виде, а потом — последовательную обработку.

— Прежде камней было больше, — объяс-

нял он, — а теперь год от году все меньше и меньше. Вот взять александрит, — его днем с огнем наищешься. А господа весьма его уважают, потому как он днем зеленый, а при огне — красный. Разного сословия бывает, сударыня, камень, все равно как бывают разные люди.

Мальчик совсем не интересовался камнями. Он не понимал, чем любуются мать и сестра и чем хуже граненые цветные стекла. Его больше всего заняло деревянное большое колесо, которое вертел Прошка. Вот это штука действительно любопытная: такое большое колесо и вертится! Мальчик незаметно пробрался в темный угол к Прошке и с восхищением смотрел на блестящую железную ручку, за которую вертел Прошка.

— Отчего она такая светлая?

— А от рук, — объяснил Прошка.

— Дай-ка я сам поверчу...

Прошка засмеялся, когда барчонок принялся вертеть колесо.

— Да это очень весело... А тебя как зовут?

— Прошкой.

— Какой ты смешной: точно из трубы вы-

лез.

— Поработай-ка с мое, так не так еще почернеешь.

— Володя, ты это куда забрался? — удивилась дама. — Еще ушибешься...

— Мамочка, ужасно интересно!.. Отдай меня в мастерскую, — я тоже вертел бы колесо. Очень весело!.. Вот, смотри! И какая ручка светлая, точно отполированная. А Прошка походит на галчонка, который жил у нас. Настоящий галчонок...

Мать Володи заглянула в угол Прошки и только покачала головой.

— Какой он худенький! — пожалела она Прошку, — Он чем-нибудь болен?

— Нет, ничего, слава богу! — объяснил Алексей Иваныч. — Круглый сирота, — ни отца, ни матери... Не от чего жиреть, сударыня! Отец умер от чахотки... Тоже мастер был по нашей части. У нас много от чахотки умирает...

— Значит, ему трудно?

— Нет, зачем трудно? Извольте сами попробовать... Колесо, почитай, само собой вертится.

— Но ведь он работает целый день?

— Обыкновенно...

— А когда утром начинаете работать?

— Не одинаково, — уклончиво объяснил Алексей Иваныч, не любивший таких расспросов. — Глядя по работе... В другой раз — часов с семи.

— А кончаете когда?

— Тоже не одинаково: в шесть часов, в семь, — как случится.

Алексей Иваныч приврал самым бессовестным образом, убавив целых два часа работы.

— А сколько вы жалованья платите вот этому Прошке?

— Помилуйте, сударыня, какое жалованье! Одеваю, обуваю, кормлю, все себе в убыток. Так, из жалости и держу сироту... Куда ему деться-то?

Дама заглянула в угол Прошки и только пожала плечами. Ведь это ужасно: целый день провести в таком углу и без конца вертеть колесо. Это какая-то маленькая каторга...

— Сколько ему лет? — спросила она.

— Двенадцать...

— А на вид ему нельзя дать больше девяти. Вероятно, вы плохо его кормите?

— Помилуйте, сударыня! Еда для всех у меня одинаковая. Я сам вместе с ними обедаю. Прямо сказать, в убыток себе кормлю; а только уж сердце у меня такое... Ничего не могу поделать и всех жалею, сударыня.

Барыня отобрала несколько камней и просила прислать их домой.

— Пошлите камни с этим мальчиком, — просила она, указывая глазами на Прошку.

— Слушаюсь-с, сударыня!

Последнее желание не понравилось Алексею Иванычу. Эти барыни вечно что-нибудь придумают! К чему ей понадобился Прошка? Лучше он сам бы принес камни. Но делать нечего, — с барыней разве сговоришь? Прошка так Прошка, — пусть его идет; а у колеса поработает Левка.

Когда барыня уехала, мастерская огласилась общим смехом.

— Духу только напустила! — ворчал Ермилыч. — Точно от мыла пахнет...

— Она и Прошку надушит, — соображал Спирька. — А Алексей Иваныч охулки на руку

[21] не положил: рубликов на пять ее околпачил.

— Что ей пять рублей? Наплевать! — ворчал Ермилыч. — У барских денежек глаз нет… Вот и швыряют. Алексей-то Иванычу это на руку. Вот как распинался он перед барыней: соловьем так и поет.

— Платье на ней шелковое, часы золотые, колец сколько… Богатеющая барыня!

— Ну, это еще неизвестно. Одна видимость в другой раз. Всякие господа бывают…

Дорогой маленький Володя объяснил матери, что Прошка «вертел».

— Что это значит? — не понимала та.

— А вертит колесо, — ну, и вышел: вертел. Не вертел, мама, а вертел.

III

Бедного Прошку часто занимал вопрос о тех неизвестных людях, для которых он должен был с утра до ночи вертеть в своем углу колесо. Другие дети веселились, играли и пользовались свободой; а он был точно привязан к своему колесу. Прошка понимал, что у других детей есть отцы и матери, которые их берегут и жалеют; а он — круглый сирота и должен сам зарабатывать свой маленький кусочек хлеба. Но ведь круглых сирот много на белом свете, и не все же должны вертеть колеса. Сначала Прошка возненавидел свое колесо, потому что, не будь его, и не нужно было бы его вертеть. Это была совершенно детская мысль. Потом Прошка начал ненавидеть Алексея Иваныча, которому его отдала в ученье тетка: Алексей Иваныч нарочно придумал это проклятое колесо, чтобы мучить его.

«Когда я вырасту большой, — раздумывал Прошка за работой, — тогда я отколочу Алексея Иваныча, изрублю топором проклятое колесо и убегу в лес».

Последняя мысль нравилась Прошке больше всего. Что может быть лучше леса? Ах, как там хорошо!.. Трава зеленая-зеленая, сосны шумят вершинами, из земли сочатся студеные ключики, всякая птица поет по-своему, — умирать не нужно! Устроить из хвои шалашик, разложить огонек, — и живи себе, как птица. Пусть другие задыхаются в городах от пыли и вертят колеса... Прошка уже видел себя свободным, как птица.

«Убегу!.. — решал Прошка тысячу раз, точно с кем-нибудь спорил. — Даже и Алексея Иваныча не буду бить, а просто убегу».

Прошка думал целые дни, — вертит свое колесо и думает, думает без конца. Разговаривать за работой было неудобно, не то что другим мастерам. И Прошка все время думал, думал до того, что начинал видеть свои мысли точно живыми. Видел он часто и самого себя и непременно большим и здоровым, как Спирька. Ведь хорошо быть большим. Не понравилось у одного хозяина, — пошел работать к другому.

Ненависть к Алексею Иванычу тоже прошла, когда Прошка понял, что все хозяева

одинаковы, и что Алексей Иваныч совсем не желает ему зла, а делает то же, что делали и с ним, когда он был таким же вертелом, как сейчас Прошка. Значит, виноваты те люди, которым нужны все эти аметисты, изумруды, тяжеловесы, — они и заставляли Прошку вертеть его колесо. Тут же воображение Прошки отказывалось работать, и он никак не мог представить себе этих бесчисленных врагов, сливавшихся для него в одном слове «господа». Для него ясно было одно, что они злые. Для чего им эти камни, без которых так легко обойтись? Если бы господа не покупали камней у Алексея Иваныча, ему пришлось бы бросить свою мастерскую, — и только всего. А вон барыня еще детей притащила... Действительно, есть чем полюбоваться... Прошка видел во сне эту барыню, у которой камни были и на руках, и на шее, и в ушах, и на голове. Он ненавидел ее и даже сказал:

— У! злая...

Ему казалось, что и глаза у барыни светились, как светит шлифованный камень, — зеленые, злые, как у кошки ночью.

Никто из мастеров никак не мог понять,

зачем понадобился барыне именно Прошка. Алексей Иваныч и сам бы пришел да еще подсунул бы товару рубликов на десять; а что может понимать Прошка?

— Блажь господская, и больше ничего, — ворчал Ермилыч.

Алексей Иваныч тоже был недоволен. Во-первых, нельзя было Прошку пустить по-домашнему, — значит, расход на рубаху; а во-вторых, кто ее знает, барыню, что у нее на уме!

— Ты рыло-то вымой, — наказывал он Прошке еще с вечера. — Понимаешь? А то придешь к барыне черт чертом...

Ввиду этих приготовлений Прошка начал трусить. Он даже пробовал увильнуть, сославшись на то, что у него болит нога. Алексей Иваныч рассвирепел и, показывая кулак, проговорил:

— Я тебе покажу, как ноги болят!..

Нужно сказать, что Алексей Иваныч никогда не дрался, как другие мастера, и очень редко бранился. Он обыкновенно со всеми соглашался, все обещал и ничего не исполнял.

Прошка должен был идти утром, когда ба-

рыня пила кофе. Алексей Иваныч осмотрел Прошку, как новобранца, и проговорил:

— А ты не робей, Прошка! И господа такие же люди, — из той же кожи сшиты, как и мы, грешные. Барыня заказала аметистов; а я тебе дам еще парочку бериллов, да тяжеловесов, да альмандинов. Понимаешь? Надо уметь показать товар...

Алексей Иваныч научил, сколько нужно запросить, сколько уступать и меньше чего не отдавать. Барыня-то еще, может, пожалеет мальчонку и купит.

Когда Прошка уходил, Алексей Иваныч остановил его в самых дверях и прибавил:

— Смотри, лишнего не разбалтывай... Понимаешь? Ежели будет барыня выпытывать насчет еды и прочее... «Мы, мол, сударыня, серебряными ложками едим».

Прошке пришлось идти через весь город, и чем ближе он подходил к квартире барыни, тем ему делалось страшнее. Он и сам не знал, чего боялся, и все-таки боялся. Робость охватила его окончательно, когда он увидел двухэтажный большой каменный дом. В голове Прошки мелькнула даже мысль о бегстве. А

что, если взять да и убежать в лес?

Скрепя сердце он пробрался в кухню и узнал, что барыня дома. Горничная в крахмальном белом переднике подозрительно оглядела его с ног до головы и нехотя пошла доложить «самой». Вместо нее прибежал в кухню Володя, одетый в коротенькую смешную курточку, коротенькие смешные штанишки, в чулки и башмаки.

— Пойдем, вертел!.. — приглашал он Прошку. — Мама ждет.

Они прошли по какому-то коридору, потом через столовую, а потом в детскую, где ждала сама барыня, одетая в широкое домашнее платье.

— Ну показывай, что принес! — проговорила она певучим, свежим голосом и, оглядев Прошку, прибавила: — Какой ты худенький! Настоящий цыпленок!

Прошка с серьезным видом достал товар и начал показывать камни. Он больше ничего уже не боялся. У барыни совсем был не злой вид. Расчет Алексея Иваныча оправдался: она рассмотрела камни и купила все без торга. Прошка внутренно торжествовал, что так

ловко надул барыню рубля на три. Ему было только неловко, что она все время как-то особенно смотрела на него и улыбалась.

— Ты, наверно, хочешь есть? — проговорила она наконец. — Да?

Этот простой вопрос смутил Прошку, точно барыня угадала его тайные мысли. Когда он дожидался в кухне, то там так хорошо пахло жареным мясом и все время его преследовал этот аппетитный запах.

— Я не знаю, — по-детски ответил он.

— Он хочет, мама! — подхватил Володя. — Я сейчас сбегаю в кухню и скажу Матрене, чтобы она дала котлетку.

Володя был добрый мальчик, и это радовало маму. Ведь самое главное в человеке — доброе сердце. Прошка чувствовал себя смущенным, как попавшийся в ловушку зверек. Он молча разглядывал комнату и удивлялся, что бывают такие большие и светлые комнаты. У одной стены стоял шкаф с игрушками; кроме того, игрушки валялись на полу, стояли в углу, висели на стене. Тут были и детские ружья, и солдатская будка, и мельница, и лошадки, и домики, и книжки с картинка-

ми, — настоящий игрушечный магазин.

— Неужели все это твои игрушки? — спросил Прошка Володю.

— Мои. По я уже не играю, потому что большой. А у тебя тоже есть игрушки?

Прошка засмеялся. У него игрушки! Какой смешной этот барчонок: решительно ничего не понимает!

Подававшая в столовую котлету горничная смотрела на Прошку с удивлением. Этак барыня скоро будет собирать в дом всех нищих и кормить котлетами. Прошка это чувствовал и смотрел на горничную серьезными глазами, Потом его затрудняла вилка и салфетка, особенно — последняя, Пока он ел, барыня просто и ласково расспрашивала его обо всем: давно ли он в мастерской, много ли приходится работать, как кормит рабочих хозяин, что он делает по праздникам, знает ли грамоту и т. д.

— Вот видишь, Володя, — говорила она сыну, — этот мальчик уже с семи лет зарабатывает себе кусок хлеба... Прошка, а ты хочешь учиться?

— Не знаю...

— Хочешь приходить по воскресеньям к нам? Я тебя выучу читать и писать. Я поговорю об этом с Алексеем Иванычем сама.

Прошка был озадачен.

Домой он вернулся в старой курточке Володи, которая ему была даже широка в плечах, хотя Володя был моложе на целых два года. Барчук был такой рослый и закормленный. Рабочие посмеялись над ним, как смеялись над всеми, а хозяин похвалил:

— Молодец; Прошка! Когда в воскресенье пойдешь, я тебе еще дам товару...

IV

Прошка начал ходить учиться каждое воскресенье. В первое время, говоря правду, больше всего его привлекала возможность хорошенько поесть, как едят господа. А последнее было удивительно, удивительнее всего, что только Прошка видал. Мать Володи — ее звали Анной Ивановной — ужасно волновалась каждый раз, когда завтракали. Ей все казалось, что Володя мало ест и что он нездоров. Сначала Прошка думал, что Анна Ивановна шутит; но Анна Ивановна говорила со-

вершенно серьезно:

— Мне кажется, Володя, что ты скоро решительно ничего не будешь есть. Посмотри на Прошку: вот какой аппетит нужно иметь.

— А отчего он такой худой, если ест много? — спросил Володя.

— Оттого, что он работает много, оттого, что в их мастерской буквально дышать нечем, и так далее.

Володя был настоящий барчонок. По-своему добрый, всегда веселый, увлекающийся и в достаточной мере бесхарактерный. Прошка рядом с ним казался существом другой породы. Анну Ивановну это поражало, когда дети были вместе. Детские глаза Прошки смотрели уже совсем не по-детски; потом он точно не умел улыбаться. В тощей фигурке Прошки точно был скрыт какой-то затаенный упрек. Анне Ивановне иногда делалось даже немного совестно, — ведь она пригласила в первый раз Прошку только для того, чтобы показать Володе, что дети его возраста работают с утра до ночи. Прошка должен был служить живым и наглядным примером; а Володя должен был исправиться, глядя на него, от припадков сво-

ей барской лени.

В этих воспитательных целях Анна Ивановна несколько раз под разными предлогами посылала Володю в мастерскую Алексея Иваныча, чтобы он посмотрел на самом деле, как работает маленький Прошка. Володя отправлялся в мастерскую каждый раз с особенным удовольствием и возвращался домой весь испачканный наждаком. Результатом этих наглядных уроков было то, что Володя совершенно серьезно заявил матери:

— Мама, отдай меня в мастерскую. Я хочу быть вертелом, как Прошка...

— Володя, что ты говоришь? — ужаснулась Анна Ивановна. — Ты только подумай, что ты говоришь!

— Ах, мама, там ужасно весело!..

— Ты умер бы там через три дня с голода...

— А вот и нет! Я уже два раза обедал с рабочими. Какие вкусные щи из соленой рыбы, мама! А потом — просовая каша с зеленым маслом... горошница...

Анна Ивановна пришла в ужас. Ведь Володя просто мог отравиться. Она даже смерила температуру у Володи и успокоилась только

тогда, когда он принял ванну и сам попросил есть.

— Мама, если б ты велела приготовить тертой редьки с квасом!..

Володя оказался неисправимым. Пример Прошки решительно ничему его не научил, кроме того, что он несколько дней старался устроить в своей детской гранильную мастерскую и натащил со двора всевозможных камней. Получилась почти совсем настоящая мастерская, только недоставало деревянного громадного колеса, которое вертел Прошка.

Перед рождеством Прошка перестал ходить учиться по воскресеньям. Анна Ивановна думала, что его не пускает Алексей Иваныч, и поехала сама узнать, в чем дело. Алексей Иваныч был дома и объяснил, что Прошка сам не желает идти.

— Почему так? — удивилась Анна Ивановна.

— А кто его знает! Нездоровится ему... Все кашляет по ночам.

Анна Ивановна отправилась в мастерскую и убедилась своими глазами, что Прошка болен. Глаза у него так и горели лихорадочным

огнем; на бледных щеках выступал чахоточный румянец. Он отнесся к Анне Ивановне совершенно равнодушно.

— Ты что же это забыл нас совсем? — спрашивала она.

— Так...

— Тебе, может быть, не хочется учиться?

— Нет...

— Какое ему ученье, когда он на ладан дышит! — заметил Ермилыч.

— Разве можно такие вещи говорить при больном? — возмутилась Анна Ивановна.

— Все помрем, сударыня...

Это было бессердечно. Ведь Прошка был еще совсем ребенок и не понимал своего положения. Под впечатлением этих соображений Анна Ивановна предложила Прошке переехать к ним, пока поправится; но Прошка отказался наотрез.

— Разве тебе у нас не нравится? Я устроила бы тебя в людской...

— Мне здесь лучше... — упрямо отвечал Прошка.

— Сударыня, ведь мы его тоже вот как жалеем! — объяснил Ермилыч. — Вот ему и не

хочется уходить...

Анна Ивановна серьезно была огорчена, хотя вполне понимала, почему Прошка не захотел уходить из своей мастерской. У больных является страстная привязанность именно к своему углу. И большие и маленькие люди в этом случае совершенно одинаковы. Потом Анна Ивановна упрекала себя, что решительно ничего не сделала для Прошки, не сделала потому, что не умела. Мальчик умирал у своего колеса от наждачной пыли, дурного питания и непосильной работы. А сколько детей умирает таким образом по разным мастерским, как мальчиков, так и девочек! Вернувшись домой, Анна Ивановна долго не могла успокоиться. Маленький вертел Прошка не выходил у нее из головы. Раньше Анна Ивановна очень любила драгоценные камни, а теперь дала себе слово никогда их не носить: каждый такой камень напоминал бы ей умирающего маленького Прошку.

А Прошка продолжал работать, несмотря даже на то, что Алексей Иваныч уговаривал его отдохнуть. Мальчику было совестно есть чужой хлеб даром... А колесо делалось с каж-

дым днем точно все тяжелее и тяжелее... От натуги у Прошки начинала кружиться голова, и ему казалось, что вместе с колесом вертится вся мастерская. По ночам он видел во сне целые груды граненых драгоценных камней: розовых, зеленых, синих, желтых. Хуже всего было, когда эти камни радужным дождем сыпались на него и начинали давить маленькую больную грудь, а в голове начинало что-то тяжелое кружиться, точно там вертелось такое же деревянное колесо, у которого Прошка прожил всю свою маленькую жизнь.

Потом Прошка слег. Ему пристроили небольшую постельку тут же, в мастерской. Ермилыч ухаживал за ним почти с женской нежностью и постоянно говорил:

— Ты бы поел чего-нибудь, Прошка! Экой ты какой!..

Но Прошка ничего не хотел есть, даже когда горничная Анны Ивановны приносила ему котлеток и пирожного. Он относился ко всему безучастно, точно придавленный своей болезнью.

Через две недели его не стало. Анна Ива-

новна приехала вместе с Володей на похороны и плакала, плакала не об одном, а обо всех бедных детях, которым не могла и не умела помочь.

Волшебник

I

Как известно, детское любопытство неистощимо и находит в себе обильную пищу даже там, где, кажется, уж решительно ничего нельзя найти. Например, какой интерес может представлять собой пустырь, поросший бурьяном и крапивой? Даже неприхотливые городские козлы не считали нужным сюда заглядывать, а между тем мы, школяры, не находили себе места лучше и, как воробьи, обыскали каждый уголок. Лучше этого пустыря для нас ничего не было, особенно осенью,

когда выпадал первый снежок. Это был чудесный, единственный уголок...

Много прошло этому лет, но я сейчас не могу равнодушно вспомнить об этом милом пустыре, с которым связано столько дорогих детских воспоминаний. Представьте себе глухую улицу глухого, провинциального городка, усаженную одноэтажными деревянными домиками, с длинными заборами, из-за которых выглядывали рябины, черемухи и березы, с плохими деревянными тротуарами и с громадным пустырем в самой середине. От улицы пустырь отделялся тоже забором, но он давно уже покосился и имел такой вид, что вот-вот упадет. Ворот не было; а мы проникали в этот пустырь со стороны болотистой реки, где тоже когда-то стоял забор, но постепенно был растащен соседями на дрова. Главную прелесть этого пустыря составляло небольшое озерко. От бывших здесь построек сохранились один фундамент и старая деревянная баня. В уголке как-то жалко торчали две старые березы, точно позабытые всеми сироты. Озерко на нашем школьном языке называлось Средиземным морем, а баня —

замком. Детское воображение превращало пустырь в громадную дикую страну, полную чудес и самых таинственных явлений. В «Средиземном море» жили русалки, а в бане-замке — привидения. Тех и других кто-то видел, и все боялись.

Я уже сказал, что самым лучшим временем для нашего пустыря была та крепкая осень, когда земля промерзала и начинал выпадать первый снежок. Все летние игры кончались, и приходилось мириться с тем, что могла дать осень. Только дети умеют использовать всякую мелочь, как тряпки, палки, камушки и т. д. Все это оказывается нужным, и все идет в дело. А тут в наше распоряжение попал целый пустырь... Как теперь вижу, как ранним осенним утром, когда еще хорошенько не рассвело, мы, по пути в школу, как воробьи, забирались на наш пустырь с самыми коварными целями, именно чтобы поставить клетки-западни, раскинуть тайники (сетки для ловли птиц) и везде рассыпать притраву из конопляного семени и разных крошек. Бедным маленьким птичкам, остававшимся на зиму, приходилось добывать свою пищу с

большим трудом, и они попадались в наши ловушки. Серые чечетки с красными хохолками, желтогрудые кузнечики, розовые жуланы (снегири), пестренькие зяблики — все одинаково страдали от нашего хищничества и за корм платили неволей. В праздники мы по целым часам терпеливо высиживали где-нибудь в бурьяне, чтобы подкараулить момент, когда нужно дернуть веревочку тайника. Хитро устроенная сетка захлопывалась, и несчастная жертва нашей ребячьей жестокости попадала в клетку.

Как сейчас помню то роковое утро, когда мы, по обыкновению, явились на наш пустырь, нагруженные клетками, западнями и тайниками. Утро было самое отличное для нашей охоты. Падал снежок, а «Средиземное море» уже покрылось тонким, как стекло, первым льдом, по которому еще было нельзя кататься на коньках. Первое, что нам бросилось в глаза, — это вившийся из трубы бани-замка тоненькой струйкой синий дымок.

— В замке появилось привидение... — прошептал кто-то.

В первую минуту мы остановились и даже

малодушно хотели отступить. В следующий момент мы рассмотрели отпечатавшиеся на снегу следы мужских сапог, которые вели к реке. По внимательном их исследовании было единогласно решено, что это следы того волшебника, который ночью вышел из реки и поселился в нашем замке. Это было так ясно, что никому и в голову не пришла самая простая мысль, именно, что волшебник ходил к реке за водой. Почему неизвестное существо, поселившееся в пустой бане, непременно волшебник, а не просто человек, — тоже было ясно, как день, и не требовало доказательств. Кто первый придумал это слово — осталось неизвестным, но всем было ясно, что поселился в нашем замке именно волшебник.

— А может быть, это привидение? — попробовал кто-то посомневаться еще раз; но эта мысль была встречена общим негодованием.

— Разве привидения топят печи?!

— Разве привидения ходят в сапогах?!

После некоторого раздумья мы двинулись вперед. Дымок продолжал подниматься над

замком и точно таял в воздухе. Мы заняли свои обычные позиции и принялись за дело, по временам оглядываясь на баню. Охота на птичек требует большого терпения. Чтобы не спугнуть добычу, приходилось молчать и не двигаться по целым часам. Из засевшей в бурьяне детворы впоследствии вышли два врача, один технолог, три учителя гимназии и даже товарищ прокурора. Где-то они сейчас?.. Вероятно, когда выпадает первый снежок, они каждый раз вспоминают заброшенный пустырь, где когда-то ловили чечеток, жуланов, кузнечиков и зябликов. А может быть, их дети в это время тоже занимаются птицеловством...

Мы отсидели в бурьяне положенное время, поймали несколько чечеток и разошлись по домам, рассуждая по дороге о таинственном волшебнике, который даже не счел нужным показаться, чтобы прогнать непрошеных гостей. Осень выдалась для нас неудачная, и птица ловилась плохо, а тут еще навязался волшебник, от которого трудно было ждать чего-нибудь хорошего.

На следующие дни мы опять видели под-

нимавшийся из бани дымок, а некоторые уверяли, что в окне бани показывалось чье-то лицо с большой седой бородой.

— А рога есть у волшебника?

— Ну, волшебникам рога не полагаются, а только седая, длинная-длинная борода.

Кстати наступил перерыв в нашей охоте на птиц, потому что лед на «Средиземном море» сделался настолько толстым, что мы могли кататься на коньках, — удовольствие, равного которому, как известно, нет. Тайники, западни и силки на время были позабыты.

II

«Период коньков» продолжался не больше недели, потому что выпал полуаршинный снег и засыпал все «Средиземное море». Конечно, во время катанья на коньках нам было не до волшебника, хотя мы и видели каждый день поднимавшийся из бани-замка дымок. Увлечение коньками было настолько сильно, что если бы в нашей бане поселился белый медведь, — мы и на него не обратили бы должного внимания, какого каждый медведь заслуживает.

Пришлось опять вернуться к птицам, тем более что выпавший глубокий снег лишал их даже тех зернышек, какие они находили в засохшей траве. Теперь они с голодной доверчивостью набрасывались на нашу притраву и попадали в западни десятками, так что мы оставляли у себя только лучшие экземпляры, а недостойным нашего внимания торжественно возвращали золотую птичью свободу.

В один из горячих моментов нашей охоты мы в первый раз увидели таинственного волшебника. Увлеченные своим делом, мы не заметили, как он вышел из своей бани, — он точно вырос перед нами из земли, как и полагается настоящему волшебнику. Это был действительно старик, высокий, худой, сгорбленный, с редкой седенькой бородкой. Потертая военная шинель сидела на нем, как на деревянной вешалке, и, вероятно, чтобы не свалилась с него, была перехвачена вместо пояса каким-то шарфом. Волшебник, по-видимому, совсем не желал нас замечать. Он постоял на одном месте, что-то пробормотал себе под нос, а потом быстро принялся за дело, какого

мы меньше всего ожидали. Он снял с берез наши западни и выпустил сидевших в них для приманки птичек, потом сделал то же с клетками-садками, куда мы временно помещали только что пойманных птичек, наконец спокойно подобрал растянутые на снегу сетки-тайники и разорвал их. Мы все онемели от ужаса.

— Что вы делаете?! — крикнул наконец какой-то отчаянный смельчак.

Волшебник оглянулся на голос и улыбнулся. Последнее придало нам храбрости, и мы его окружили живой стеной.

— Вы не имеете права рвать наши тайники и выпускать наших птиц! — загалдели мы разом. — Это бессовестно!..

Он продолжал улыбаться, рассматривая своих врагов поочередно.

— Ваши птицы? — проговорил он наконец. — Ваши птицы?

— Конечно, наши, если мы их поймали...

— Да, вы их поймали, но это совсем не значит, что они ваши, — спокойно ответил он. — И даже совсем не ваши... Для чего создана птичка? А вы подумайте хорошенько об

этом... Представьте себе только, что вас самих кто-нибудь посадил в клетку, другими словами, — тюрьму, и посадил только потому, что вы голодны... Да. А вы с горя начали бы петь, чтобы доставить удовольствие тому, кто лишил вас свободы...

Эти слова не произвели на нас никакого впечатления, потому что все думали о выпущенных на волю пленницах и разорванных тайниках. Волшебник, кажется, это заметил и проговорил уже другим тоном, точно он давным-давно был знаком со всеми:

— Послушайте, ребятки, носы у вас от мороза красные, руки — тоже... Пойдемте ко мне, я вас напою чаем. Горячий чай — лучшая вещь на свете...

Мы приняли это любезное приглашение с большой нерешительностью. А вдруг волшебник заманит нас в свой замок и что-нибудь сделает с нами такое, что мы больше не увидим белого света?

— А вы кто такой? — спросил кто-то.

— Я? — переспросил волшебник и, подумав, ответил с улыбкой: — Я — птица... Да, настоящая птица.

В ответ послышался смех.

— Да, настоящая птица, — настойчиво повторил волшебник. — Зовут меня Иваном Гаврилычем Мухиным, а все-таки птица. Ну, об этом поговорим потом, а сейчас пойдемте пить чай.

В толпе всегда найдется решительный человек, который поведет за собой других. Так было и с нами. С другой стороны, и выпить горячего чая было недурно. Мы веселой гурьбой вошли в баню, где топилась печь. Из банной каменки волшебник ухитрился сделать себе большой камин, а банный полок был превращен в какой-то музей редкостей. Тут стояли какие-то мудреные машины, колеса и т. п. Баня была устроена по-старинному, большая и светлая, благо прежде лес был дешев.

— Садитесь, дорогие гости, — приглашал нас волшебник. — Места всем хватит...

Мы сели на большую лавку у окна, а гостеприимный волшебник принялся готовить чай. Всего интереснее было для нас то, как он приготовит чай без самовара; но дело оказалось самое простое: в камине у огня стоял чугунный котел — вот и самовар. Чайник с под-

битым носиком и две жестяные кружки составляли весь чайный сервиз. Все это было так хорошо, что мы забыли всякий страх. Помилуйте, напиться чаю из чугунного котла да из жестяной кружки — это одно уже делало настоящий праздник.

— А разве птицы пьют чай? — решился кто-то спросить, когда чай был готов.

Всем сделалось ужасно весело.

Волшебник добродушно смеялся вместе с нами, и мы как-то сразу полюбили его, как умеют любить только дети. Сейчас он был в синей блузе, подпоясанной ремешком. Голова у него была совсем лысая, отчего лоб казался необыкновенно большим, чуть не с чугунный котел, в котором так весело сейчас кипела вода. Худое лицо было покрыто глубокими морщинами, а серые, большие, грустные глаза смотрели с пытливой ласковостью.

— И у птицы есть свой чай, — добродушно говорил волшебник, потирая руки. — Ну-ка, чем отличается птица от человека?

— У нее нет рук...

— Она в перьях...

— Она глупая...

— А главного-то и не сказали, — перебил нас волшебник. — Всякая, самая глупая птица и та умеет летать, а человек не умеет. Вот тут-то и секрет, братцы...

— А почему вы называете себя птицей?

— А потому, что я тоже полечу, как птица...

Мы звонко расхохотались. Этакой смешной волшебник и вдруг полетит...

— У вас хвоста нет, — пошутил кто-то.

— Будет все: и хвост, и крылья... Все будет, как у настоящей птицы.

— Неужели вы полетите?

— Непременно...

Волшебник начал подробно рассказывать нам историю воздухоплавания, перечисляя по именам всех знаменитых воздухоплавателей и сделанные ими открытия...

— Пока дальше воздушных шаров еще никто не пошел, — рассказывал он. — А это пустяки... С воздушными шарами ничего не поделаешь. Все дело в том, когда будет изобретена воздухоплавательная машина. Изобрели же паровую машину, открыли электричество, — ну, откроют и воздухоплавательную

машину. Вся задача в том, что она должна быть в десять раз легче паровой машины и развивать силу в десять раз больше. Наука идет вперед, и это будет сделано...

III

У нас быстро завязалось самое близкое знакомство с волшебником. В его замке мы чувствовали себя настолько дома, что сделались надоедливыми и уж слишком бесцеремонными. Но он все терпел от своих молодых друзей и позволял нам хозяйничать в его помещении, как мы хотели. Запретной областью оставался только банный полок, где стояли модели каких-то непонятных машин и приборы. Волшебник с одушевлением посвящал нас во все тайны воздухоплавания, объяснял устройство воздушных шаров, а всего интереснее — рассказывал ужасные случаи с аэронавтами.

— Все это были герои науки, — любил повторять волшебник. — И для науки требуется не меньшая храбрость, чем на войне... А сколько труда, терпения и ума затрачено на малейшее открытие в области науки! Мы

слишком привыкли к окружающим нас чудесам этой науки... Никто уже не удивляется ни пароходу, ни железной дороге, ни телеграфу, ни напечатанной книге, ни швейной машине, ни зажигательной спичке, а ведь все это придумано гениальнейшими людьми, выстрадано. Под каждым изобретением лежит много-много испорченных жизней, несчастий и страданий тех безумцев-изобретателей, над которыми при жизни смеялись и которые дарили человечеству свои открытия...

Волшебник говорил с увлечением. На его высоком лбу выступали капли пота, а худое и бледное лицо покрывалось румянцем. Он любил разговаривать на ходу, смешно размахивая руками.

— Да, да, мы не умеем ценить наших благодетелей и смеемся над ними, как глупые дети, — объяснял волшебник. — Каждое новое открытие или изобретение, — это благодеяние всему человечеству... И тот безумец, который откроет секрет движения по воздуху, перевернет всю историю человечества. Даже приблизительно нельзя себе представить, что тогда будет... Да, такой человек в свое время

должен явиться, и мы все полетим по воздуху, как птицы. Это будет величайшим завоеванием... И я верю, что даже люди сделаются добрее и лучше, потому что у них, благодаря воздухоплаванию, явится больше средств к существованию, больше удобств и тысячи других преимуществ, о которых мы сейчас и мечтать не смеем.

Много-много говорил в этом роде странный старик, и мы отлично его понимали и даже готовы были согласиться, что таким гениальным изобретателем явится именно он, наш собственный волшебник.

— Он полетит непременно, — толковали мы между собой. — А пока скрывает все...

По нашему мнению, изобретатель воздухоплавания даже должен был жить в бане, а не в обыкновенном доме. В наших детских глазах волшебник превращался в существо необыкновенное, ведь он знал решительно все на свете и все мог сделать.

Впрочем, бывали моменты разочарования. Иногда волшебник принимал нас очень сухо, то есть был неразговорчив, морщился и глухо кашлял. Правда, зима стояла суровая, баня

была занесена снегом чуть не до самой крыши, камин давал мало тепла, и волшебник сидел у себя дома в шубе. Временами он исчезал на несколько дней, и мы только по дыму из банной трубы могли догадываться об его возвращении.

— Ну, что, детки, как дела? — спрашивал он обыкновенно после такой разлуки, и в его голосе слышалась какая-то особенная нежность. — А я уж соскучился о моих воробьях... ведь вы тоже птицы, а будете побольше, отрастут крылышки и разлетитесь в разные стороны.

К нашему стыду должен признаться, что мы совсем мало интересовались вопросом, кто такой наш волшебник, откуда он взялся и почему поселился на нашем пустыре. Мы довольствовались тем, что видели наши глаза и слышали наши уши. Впрочем, иногда волшебник рассказывал нам о том, как живут люди за границей и в Америке. Очевидно, он много путешествовал и много видел. Одним словом, волшебник являлся для нас живой энциклопедией всевозможных знаний.

Суровая зима прошла. Наступала тяжелая

северная весна с ее гололедицей, снежными метелями и ростепелями. То, что оттаивало днем, замерзало ночью. Весеннее солнце точно разъедало саженные сугробы снега, пока не появились первые весенние проталинки. Наш пустырь постепенно таял, а «Средиземное море» точно вспухло и покрылось трещинами. Но и этот мучительный период северной весны миновал, и снег оставался только в теневых местах и в бурьяне. Прилетели первыми синички-трясогузки, показались дорогие гости скворцы, а вместе с весной у нас проснулась и жажда возобновить прекращенную волшебником охоту на птиц.

— Что мы его слушаем? — роптали более строптивые мальчуганы. — Пусть он кашляет в своей бане, а мы будем ловить птиц...

С детской жестокостью мы отплачивали самой черной неблагодарностью нашему старому другу. В одно действительно прекрасное весеннее утро мы тайком пробрались в наш пустырь с возобновленными тайниками, западнями и ловушками. Увлеченные своим предприятием, мы не заметили, что волшебник сидит на пороге своей бани. Несмотря на

солнечное, теплое утро, он был в шубе и, видимо, грелся на солнце. На свежем воздухе он показался таким жалким, высохшим, изможденным.

Мы были смущены и даже хотели убежать, но волшебник нас остановил:

— Ах, детки, вы опять за старое принимаетесь? Стыдно, очень стыдно. Неужели вам приятно смотреть на хорошенькую птичку, которая умирает с тоски в клетке? Ведь это ужасно... А потом подумайте, что может быть красивее птицы? Это сама свобода... Она летит к нам из-за тридевять земель, как дорогая гостья, а вы ее хотите посадить в тюрьму...

К сожалению, эти прекрасные слова не действовали на нас. Мы были слишком захвачены весенним теплом и светом и жаждали самой бурной деятельности, а тут какой-то волшебник захватил дорогой нам пустырь...

В солнечные, теплые дни он выходил греться на солнышке и не снимал шубы. Его мучил глухой кашель, и волшебник точно таял у нас на глазах.

Потом наступили экзамены, и нам было не до волшебника. Перед отъездом на каникулы

мы все-таки вспомнили о нем и забежали проститься. Он сидел, по обыкновению, на пороге бани и очень был рад, что мы его не забыли.

— А я вам покажу одну интересную штучку, — говорил он.

— Летательную машину?

— Почти...

Волшебник сходил в свою баню и вынес нам китайскую летающую бабочку. Эту игрушку мы видели в первый раз и были поражены, когда она взвилась на воздух, хлопая бумажными крылышками, точно летучая мышь. Волшебник смотрел на нас и улыбался.

— Вот, детки, как будут летать по воздуху, — объяснял он. — Многие великие открытия делались этим путем, то есть сначала были детской игрушкой.

Когда мы вернулись осенью в город, волшебника уже не было. Он умер летом.

Дурной товарищ

I

История разыгралась прескверная и совершенно неожиданная. Кажется, ни один человек в мире не мог бы ее предвидеть, тем более что осеннее утро выдалось такое чудное, светлое, с крепким морозцем... Но я забегаю вперед.

Когда меня отдавали в школу, тетушка Мария Ильинишна считала своим долгом повторить несколько раз с особым ударением:

— Коля, главное, бойся дурных товарищей!..

Мой отец, скромный, вечно занятый человек, счел необходимым подтвердить то же са-

мое.

— Да, товарищи — это главное... И поговорка такая есть: скажи мне, кто твои друзья, и я скажу, кто ты. Да, нужно быть осторожным...

Нужно сказать, что я рос порядочным баловнем, вероятно, потому, что рано лишился матери и в глазах доброй тетушки являлся сиротой. Милая добрая старушка напрасно старалась быть строгой, и даже выходило смешно, когда она начинала сердиться и придумывать грозные слова. Когда истощался весь запас строгости, тетушка прибегала к последнему средству и говорила самым зловещим тоном:

— Вот погоди, придет папа со службы, тогда узнаешь... Да, узнаешь!

Отец никогда меня не наказывал, а в крайнем случае, когда был особенно недоволен моим поведением, запирался у себя в кабинете. Это было самым сильным средством для моего исправления, и я серьезно мучился, пока буря не проходила.

Итак, стояло чудное осеннее утро. Я с намерением вышел из дому пораньше, как и другие товарищи, с которыми вместе ходил в

школу. Первая новость, которую я узнал на улице, была та, что река встала, то есть покрылась льдом. Это известие всех школьников страшно взволновало, тем более что наша дорога в школу проходила мимо реки, то есть не то чтоб совсем мимо, а приходилось сделать большой крюк, ну, как не посмотреть на первый лед — это было свыше наших сил. Дорога сокращалась еще тем, что мы побежали к реке бегом. Действительность превзошла все наши ожидания. Река не только встала, но была покрыта таким блестящим льдом, точно зеркалом.

— Ах, какой лед!.. — крикнули мы все разом.

К реке бежали мальчишки из других улиц, — как на праздник. Были тут и гимназисты, и реалисты,[22] и ученики городских школ, и просто безыменная детвора, высыпавшая из подвалов и чердаков. Два мальчика из соседней булочной прибежали в одних рубашках, в опорках на босу ногу и без шапок. Подняли общий радостный крик, и по льду с звенящим гулом полетели палки и камни. Нет больше удовольствия, как запу-

стить палку по такому молодому льду, который гудит, как тонкое стекло.

— А ведь лед толстый, — заявил Паша Селиванов, краснощекий мальчуган из нашего класса. — Ей-богу, толстый...

Для проверки было брошено несколько кирпичей, и лед не проломился. Это было великолепно, и мы прыгали на берегу, как дикари.

— Если лед держит кирпичи, то, значит, можно по нему ходить, — проговорил Костя Рябов, тоже наш товарищ.

— Ах, если бы были коньки... — пожалел кто-то.

— Можно попробовать пройти по льду и без коньков, — продолжал третий.

— А в самом деле, если попробовать...

Точно в ответ на этот вопрос, с противоположной стороны на лед выскочил мальчуган в красной рубахе. Смельчак лихо прокатился, стоя на ногах, и вызвал общее одобрение. Пример получился заразительный. За первым смельчаком явился, конечно, и второй, и третий.

— Да, им хорошо там кататься, — с зави-

стью говорил Паша Селиванов. — Там берег мелкий. Если и провалятся, так не утонут.

Это говорило благоразумие. Действительно, наш берег шел обрывом, и река здесь была глубокая. Но явилась счастливая мысль: пройти по льду у самого-самого берега. Это была общая мысль, трогательная по своей простоте и разумности. Костя Рябов сейчас же и привел ее в исполнение. Лед выдержал...

— Да он совсем толстый, лед...

Мы принялись бегать по закрайку самого берега, и все выходило отлично, несмотря на то что кое-где лед ломался и выступала вода.

— Это тонкий лед только у самого берега, а посредине реки он совсем толстый, — сообразил кто-то. — Это всегда так бывает...

Кому первому пришла в голову счастливая мысль проверить это предположение на опыте, трудно сказать. Впоследствии выходило как-то так, что никто не выходил на лед первым, а дело началось прямо со второго номера. Я, конечно, был виноват решительно меньше всех, вернее, совсем не виноват и даже отговаривал товарищей, хотя они, по свойственному им коварству, совершенно не слы-

шали голоса благоразумия.

Когда мы были уже на середине реки, на противоположном берегу раздался общий отчаянный крик:

— Полиция!!

Действительно, на берегу торопливо бежали два городовых и что-то кричали. Катавшаяся по льду детвора бросилась врассыпную на берег, как воробьи. Мы забрались слишком далеко, чтобы убежать сейчас же, и лед был такой скользкий. Кто-то из нас упал, на него упал другой, и лед не выдержал нашей тяжести. Сначала он зловеще треснул, потом начал опускаться, и мы все трое как-то сразу очутились по горло в воде. Как мы кричали, было слышно чуть не за версту. По берегу бегали два городовых. Откуда-то появились доски и веревки. Кто-то ужасно кричал, и со всех сторон бегали люди — мужики, женщины, дети.

— Тонут!!! Караул!..

Все случилось так быстро, что трудно было что-нибудь сообразить. От страха мы даже не чувствовали, как холодна вода, и напрасно цеплялись руками за тонкий лед, который

сейчас же ломался, как сухарь. Вместе с нами плавали в воде наши шапки, так что с берега казалось, что тонет целых десять человек.

Мы уже выбивались из сил, когда по льду, держа веревку в зубах, подполз какой-то подмастерье. Он вперед себя толкал длинную доску, за которую мы и ухватились окоченевшими руками. Как нас вытащили, я плохо помню. Какой-то человек поставил меня на ноги, встряхнул и проговорил всего одно слово:

— Хорош!..

II

Можно себе представить весь ужас моей тетушки, когда меня привели к ней, всего мокрого и без шапки. Бравый городовой, сделав под козырек, отрапортовал:

— Они изволили тонуть, а мы их вытащили...

Городовой получил на чай, а меня потащили в мою комнату, раздели, и тетушка сама принялась растирать меня водкой и скипидаром. Потом явились на сцену липовый чай, малина и мята. Через полчаса я уже лежал в

своей постели. Странно, что настоящий испуг я испытал только теперь, когда лежал на своей собственной кровати.

Первое, что могла сказать милая тетушка, была обычная фраза:

— Вот что значит, Коля, иметь дело с дурными товарищами...

Старушка только сейчас сообразила, как велика была опасность, которой я подвергался, и горько расплакалась.

— Я тебе всегда говорила, Коля, что твои приятели Паша Селиванов и Костя Рябов не доведут тебя до добра...

Я заступался за своих товарищей как умел, но это нисколько не убедило тетушку. Она еще больше рассердилась и даже погрозила кулаком.

— Только бы они попали в мои руки... О, я знаю, что это они затащили тебя на лед! А вдруг бы ты утонул? Что бы я сказала папе, когда он вернется домой со службы? Ведь он обвинил бы во всем меня, почему я недосмотрела. А что я могу сделать с этими сорванцами?!. Господи, вот наказание-то...

Последняя мысль убивала меня не мень-

ше, чем тетушку, и я даже закрывал глаза от страха, представляя себе возвращение отца со службы. В самом деле, что я могу сказать ему в свое оправдание? Решительно ничего... Конечно, немного утешала мысль, что и моим товарищам по несчастью не лучше, чем мне, если не хуже. Если бы мой отец закричал на меня, начал браниться или как-нибудь меня наказал, все было бы, кажется, легче, а то выслушает рассказ тетушки, повернется и уйдет к себе в кабинет. Хуже этого я ничего представить не мог, потому что очень любил отца, а с другой стороны чувствовал себя бесконечно виноватым.

— Тетя, я больше не буду... — по-детски оправдывался я, чтобы сказать что-нибудь. — Только позвольте мне встать и одеться.

— Э, нет, голубчик!.. Умеешь тонуть, так лежи в постели, пока не придет отец. Пусть он делает с тобой что хочет.

Это было для меня наказанием.

Отец возвращался со службы в 5 часов, и я с тоской ждал, когда в передней раздастся звонок. Время точно остановилось. Но вот и звонок. У меня замерло сердце. Тетушка

встретила отца в передней, и я слышал, как она ему рассказывала целую историю о дурных товарищах, которые меня силой затащили на лед и чуть-чуть не утопили.

— Я всегда это говорила, — повторяла она. — Коля очень доверчив. Он еще совсем ребенок...

Отец не ответил ни слова и прямо из передней пришел в мою комнату. Я со страха закрыл глаза и боялся шевельнуться. Отец сел на мою кровать, пощупал мою голову и ласково спросил:

— Тебя не знобит?

— Нет, папа...

Ласковость отца растрогала меня больше всего, и я расплакался самым глупым образом. Тетушка, выгораживая меня, продолжала сочинять такую историю о дурных товарищах, причем выходило как-то так, что Костя Рябов и Паша Селиванов с намерением затащили меня на лед и точно нарочно хотели меня утопить.

— Я всегда говорила Коле: бойся дурных товарищей. Вот по-моему и вышло... Если бы он не встретил их сегодня утром на улице, ес-

ли бы они не затащили его силой на реку…

— Да, дурные товарищи — вещь опасная, — соглашался отец и потом прибавил: — А вот я сейчас покажу Коле того дурного товарища, которого нужно опасаться больше всего…

Отец ушел в свою спальню и вернулся с маленьким зеркалом, перед которым брился.

— Ну вот, смотри портрет самого дурного товарища, — говорил он, подставляя зеркало к моему лицу. — Его нужно бояться больше всего, особенно если не хватает характера удержаться от чего-нибудь. Понял?

— Да, папа… — согласился я, рассматривая свое собственное лицо в зеркале.

Емеля-охотник

I

Далеко-далеко, в северной части Уральских гор, в непроходимой лесной глуши спряталась деревушка Тычки. В ней всего одиннадцать дворов, собственно десять, потому что одиннадцатая избушка стоит совсем отдельно, но у самого леса. Кругом деревни зубчатой стеной поднимается вечнозеленый хвойный лес. Из-за верхушек елей и пихт можно разглядеть несколько гор, которые точно нарочно обошли Тычки со всех сторон громадными синевато-серыми валами. Ближе других стоит

к Тычкам горбатая Ручьевая гора, с седой мохнатой вершиной, которая в пасмурную погоду совсем прячется в мутных, серых облаках. С Ручьевой горы сбегает много ключей и ручейков. Один такой ручеек весело катится к Тычкам и зиму и лето всех поит студеной, чистой, как слеза, водой.

Избы в Тычках выстроены без всякого плана, как кто хотел. Две избы стоят над самой речкой, одна — на крутом склоне горы, а остальные разбрелись по берегу, как овцы. В Тычках даже нет улицы, а между избами колесит избитая тропа. Да тычковским мужикам совсем и улицы, пожалуй, не нужно, потому что и ездить по ней не на чем: в Тычках нет ни у кого ни одной телеги. Летом эта деревушка бывает окружена непроходимыми болотами, топями и лесными трущобами, так что в нее едва можно пройти пешком только по узким лесным тропам, да и то не всегда. В ненастье сильно играют горные речки, и часто случается тычковским охотникам дня по три ждать, когда вода спадет с них.

Все тычковские мужики — записные охотники. Летом и зимой они почти не выходят

из лесу, благо до него рукой подать. Всякое время года приносит с собой известную добычу: зимой бьют медведей, куниц, волков, лисиц; осенью — белку; весной — диких коз; летом — всякую птицу. Одним словом, круглый год стоит тяжелая и часто опасная работа.

В той избушке, которая стоит у самого леса, живет старый охотник Емеля с маленьким внучком Гришуткой. Избушка Емели совсем вросла в землю и глядит на свет божий всего одним окном; крыша на избушке давно прогнила, от трубы остались только обвалившиеся кирпичи. Ни забора, ни ворот, ни сарая — ничего не было у Емелиной избушки. Только под крыльцом из неотесанных бревен воет по ночам голодный Лыско — одна из самых лучших охотничьих собак в Тычках. Перед каждой охотой Емеля дня три морит несчастного Лыска, чтобы он лучше искал дичь и выслеживал всякого зверя.

— Дедко... а дедко!.. — с трудом спрашивал маленький Гришутка однажды вечером. — Теперь олени с телятами ходят?

— С телятами, Гришук, — ответил Емеля, доплетая новые лапти.

— Вот бы, дедко, теленочка добыть... А?

— Погоди, добудем... Жары наступили, олени с телятами в чаще прятаться будут от оводов, тут я тебе и теленочка добуду, Гришук!

Мальчик ничего не ответил, а только тяжело вздохнул. Гришутке всего было лет шесть, и он лежал теперь второй месяц на широкой деревянной лавке под теплой оленьей шкурой. Мальчик простудился еще весной, когда таял снег, и все не мог поправиться. Его смуглое личико побледнело и вытянулось, глаза сделались больше, нос обострился. Емеля видел, как внучонок таял не по дням, а по часам, но не знал, чем помочь горю. Поил какой-то травой, два раза носил в баню, — больному не делалось лучше. Мальчик почти ничего не ел. Пожует корочку черного хлеба, и только. Оставалась от весны соленая козлятина; но Гришук и смотреть на нее не мог.

«Ишь чего захотел: теленочка... — думал старый Емеля, доковыривая свой лапоть. — Ужо надо добыть...»

Емеле было лет семьдесят: седой, сгорбленный, худой, с длинными руками. Пальцы на руках у Емели едва разгибались, точно это

были деревянные сучья. Но ходил он еще бод-

ро и кое-что добывал охотой. Только вот глаза сильно начали изменять старику, особенно зимой, когда снег искрится и блестит кругом алмазной пылью. Из-за Емелиных глаз и труба развалилась, и крыша прогнила, и сам он сидит частенько в своей избушке, когда другие в лесу.

Пора старику и на покой, на теплую печку, да замениться некем, а тут вот еще Гришутка на руках очутился, о нем нужно позаботиться… Отец Гришутки умер три года назад от горячки, мать заели волки, когда она с маленьким Гришуткой зимним вечером возвращалась из деревни в свою избушку. Ребенок спасся каким-то чудом. Мать, пока волки грызли ей ноги, закрыла ребенка своим телом, и Гришутка остался жив.

Старому деду пришлось выращивать внучка, а тут еще болезнь приключилась. Беда не приходит одна…

II

Стояли последние дни июня месяца, самое жаркое время в Тычках. Дома оставались только старые да малые. Охотники давно разбрелись по лесу за оленями. В избушке Емели бедный Лыско уже третий день завывал от голода, как волк зимой.

— Видно, Емеля на охоту собрался, — говорили в деревне бабы.

Это была правда. Действительно, Емеля скоро вышел из своей избушки с кремневой винтовкой в руке, отвязал Лыска и направился к лесу. На нем были новые лапти, котомка с хлебом за плечами, рваный кафтан и теплая оленья шапка на голове. Старик давно уже не носил шляпы, а зиму и лето ходил в своей оленьей шапке, которая отлично защищала его лысую голову от зимнего холода и от летнего зноя.

— Ну, Гришук, поправляйся без меня... — говорил Емеля внуку на прощанье. — За тобой приглядит старуха Маланья, пока я за теленком схожу.

— А принесешь теленка-то, дедко?

— Принесу, сказал.

— Желтенького?

— Желтенького...

— Ну, я буду тебя ждать... Смотри не промахнись, когда стрелять будешь...

Емеля давно собирался за оленями, да все жалел бросить внука одного, а теперь ему было как будто лучше, и старик решился попытать счастья. Да и старая Маланья поглядит за мальчонком, — все же лучше, чем лежать одному в избушке.

В лесу Емеля был как дома. Да и как ему не знать этого леса, когда он целую жизнь бродил по нему с ружьем да с собакой. Все тропы, все приметы — все знал старик на сто верст кругом.

А теперь, в конце июня, в лесу было особенно хорошо: трава красиво пестрела распустившимися цветами, в воздухе стоял чудный аромат душистых трав, а с неба глядело ласковое летнее солнышко, обливавшие ярким светом и лес, и траву, и журчавшую в осоке речку, и далекие горы.

Да, чудно и хорошо было кругом, и Емеля не раз останавливался, чтобы перевести дух и

оглянуться назад.

Тропинка, по которой он шел, змейкой взбиралась на гору, минуя большие камни и крутые уступы. Крупный лес был вырублен, а около дороги ютились молодые березки, кусты жимолости, и зеленым шатром раскидывалась рябина. Там и сям попадались густые перелески из молодого ельника, который зеленой щеткой вставал по сторонам дороги и весело топорщился лапистыми и мохнатыми ветвями. В одном месте, с половины горы, открывался широкий вид на далекие горы и на Тычки. Деревушка совсем спряталась на дне глубокой горной котловины, и крестьянские избы казались отсюда черными точками. Емеля, заслонив глаза от солнца, долго глядел на свою избушку и думал о внучке.

— Ну, Лыско, ищи... — говорил Емеля, когда они спустились с горы и повернули с тропы в сплошной дремучий ельник.

Лыску не нужно было повторять приказание. Он отлично знал свое дело и, уткнув свою острую морду в землю, исчез в густой зеленой чаще. Только на время мелькнула его спина с желтыми пятнами.

Охота началась.

Громадные ели поднимались высоко к небу своими острыми вершинами. Мохнатые ветви переплетались между собой, образуя над головой охотника непроницаемый темный свод, сквозь который только кое-где весело глянет солнечный луч и золотым пятном обожжет желтоватый мох или широкий лист папоротника. Трава в таком лесу не растет, и Емеля шел по мягкому желтоватому мху, как по ковру.

Несколько часов брел охотник по этому лесу. Лыско точно в воду канул. Только изредка хрустнет ветка под ногой или перелетит пестрый дятел. Емеля внимательно осматривал все кругом: нет ли где какого-нибудь следа, не сломал ли олень рогами ветки, не отпечаталось ли на мху раздвоенное копыто, не объедена ли трава на кочках. Начало темнеть. Старик почувствовал усталость. Нужно было думать о ночлеге.

«Вероятно, оленей распугали другие охотники», — думал Емеля.

Но вот послышался слабый визг Лыска, и впереди затрещали ветви. Емеля прислонил-

ся к стволу ели и ждал.

Это был олень. Настоящий десятирогий красавец олень, самое благородное из лесных животных. Вот он приложил свои ветвистые рога к самой спине и внимательно слушает, обнюхивая воздух, чтобы в следующую минуту молнией пропасть в зеленой чаще.

Старый Емеля завидел оленя, но он слишком далеко от него: не достать его пулей. Лыско лежит в чаще и не смеет дохнуть в ожидании выстрела; он слышит оленя, чувствует его запах... Вот грянул выстрел, и олень, как стрела, понесся вперед. Емеля промахнулся, а Лыско взвыл от забиравшего его голода. Бедная собака уже чувствовала запах жареной оленины, видела аппетитную кость, которую ей бросит хозяин, а вместо этого приходится ложиться спать с голодным брюхом. Очень скверная история...

— Ну, пусть его погуляет, — рассуждал вслух Емеля, когда вечером сидел у огонька под густой столетней елью. — Нам надо теленочка добывать, Лыско... Слышишь?

Собака только жалобно виляла хвостом, положив острую морду между передними ла-

пами. На ее долю сегодня едва выпала одна сухая корочка, которую Емеля бросил ей.

III

Три дня бродил Емеля по лесу с Лыском и все напрасно: оленя с теленком не попадалось. Старик чувствовал, что выбивается из сил, но вернуться домой с пустыми руками не решался. Лыско тоже приуныл и совсем отощал, хотя и успел перехватить пару молодых зайчат.

Приходилось заночевать в лесу у огонька третью ночь. Но и во сне старый Емеля все видел желтенького теленка, о котором его просил Гришук; старик долго выслеживал свою добычу, прицеливался, но олень каждый раз убегал от него из-под носу. Лыско тоже, вероятно, бредил оленями, потому что несколько раз во сне взвизгивал и принимался глухо лаять.

Только на четвертый день, когда и охотник и собака совсем выбились из сил, они совершенно случайно напали на след оленя с теленком. Это было в густой еловой заросли на скате горы. Прежде всего Лыско отыскал

место, где ночевал олень, а потом разнюхал и запутанный след в траве.

«Матка с теленком, — думал Емеля, разглядывая на траве следы больших и маленьких копыт. — Сегодня утром были здесь... Лыско, ищи, голубчик!..»

День был знойный. Солнце палило нещадно. Собака обнюхивала кусты и траву с высунутым языком; Емеля едва таскал ноги. Но вот знакомый треск и шорох... Лыско упал на траву и не шевелился. В ушах Емели стоят слова внучка: «Дедко, добудь теленка... и непременно, чтобы был желтенький». Вон и матка... Это был великолепный олень-самка. Он стоял на опушке леса и пугливо смотрел прямо на Емелю. Кучка жужжавших насекомых кружилась над оленем и заставляла его вздрагивать.

«Нет, ты меня не обманешь...» — думал Емеля, выползая из своей засады.

Олень давно почуял охотника, но смело следил за его движениями.

«Это матка меня от теленка отводит», — думал Емеля, подползая все ближе и ближе.

Когда старик хотел прицелиться в оленя,

он осторожно перебежал несколько сажен далее и опять остановился. Емеля снова подполз со своей винтовкой. Опять медленное подкрадывание, и опять олень скрылся, как только Емеля хотел стрелять.

— Не уйдешь от теленка, — шептал Емеля, терпеливо выслеживая зверя в течение нескольких часов.

Эта борьба человека с животным продолжалась до самого вечера. Благородное животное десять раз рисковало жизнью, стараясь отвести охотника от спрятавшегося олененка; старый Емеля и сердился и удивлялся смелости своей жертвы. Ведь все равно она не уйдет от него... Сколько раз приходилось ему убивать таким образом жертвовавшую собою мать. Лыско, как тень, ползал за хозяином, и когда тот совсем потерял оленя из виду, осторожно ткнул его своим горячим носом. Старик оглянулся и присел. В десяти саженях от него, под кустом жимолости стоял тот самый желтенький теленок, за которым он бродил целых три дня. Это был прехорошенький олененок, всего нескольких недель, с желтым пушком и тоненькими ножками; красивая го-

ловка была откинута назад, и он вытягивал тонкую шею вперед, когда старался захватить веточку повыше. Охотник с замирающим сердцем взвел курок винтовки и прицелился в голову маленькому, беззащитному животному...

Еще одно мгновение, и маленький олененок покатился бы по траве с жалобным предсмертным криком; но именно в это мгновение старый охотник припомнил, с каким геройством защищала теленка его мать, припомнил, как мать ею Гришутки спасла сына от волков своей жизнью. Точно что оборвалось в груди у старого Емели, и он опустил ружье. Олененок по-прежнему ходил около куста, общипывая листочки и прислушиваясь к малейшему шороху. Емеля быстро поднялся и свистнул, — маленькое животное скрылось в кустах с быстротой молнии.

— Ишь какой бегун... — говорил старик, задумчиво улыбаясь. — Только его и видел: как стрела... Ведь убежал, Лыско, наш олененок-то? Ну, ему, бегуну, еще надо подрасти... Ах ты, какой шустрый!..

Старик долго стоял на одном месте и все

улыбался, припоминая бегуна.

На другой день Емеля подходил к своей избушке.

— А... дедко, принес теленка? — встретил его Гриша, ждавший все время старика с нетерпением.

— Нет, Гришук... видел его...

— Желтенький?

— Желтенький сам, а мордочка черная. Стоит под кустиком и листочки пощипывает... Я прицелился...

— И промахнулся?

— Нет, Гришук: пожалел малого зверя... матку пожалел... Как свистну, а он, теленок-то, как стреканет в чащу, — только его и видели. Убежал, пострел этакий...

Старик долго рассказывал мальчику, как он искал теленка по лесу три дня и как тот убежал от него. Мальчик слушал и весело смеялся вместе с старым дедом.

— А я тебе глухаря принес, Гришук, — прибавил Емеля, кончив рассказ. — Этого все равно волки бы съели.

Глухарь был ощипан, а потом попал в горшок. Вольной мальчик с удовольствием поел

глухариной похлебки и, засыпая, несколько раз спрашивал старика:

— Так он убежал, олененок-то?

— Убежал, Гришук...

— Желтенький?

— Весь желтенький, только мордочка черная да копытца.

Мальчик так и уснул и всю ночь видел маленького желтенького олененка, который весело гулял по лесу со своей матерью; а старик спал на печке и тоже улыбался во сне.

Зеленая война

I

— Братцы, вот я! — весело крикнул Репей, выглядывая из земли зеленой почкой. — Ух, как долго я спал!.. Здравствуйте, братцы!

Когда он посмотрел кругом, то понял, почему никто не откликнулся: он выглянул из земли почти первый. Только кое-где еще начинали показываться зелененькие усики безымянной травки. Впрочем, у самого забора уже росла острая крапива, — эта жгучая дама являлась всегда раньше всех. Репей даже рассердился немного, что он опоздал.

— Вы что же молчите? — обратился он к Крапиве. — Кажется, я был вежлив...

— А что же мне говорить? — заворчала Крапива: она вечно была чем-нибудь недовольна. — Только выскочил из земли, и давай орать... Вот посмотрите, как себя умно ведет Чертополох: растет себе потихоньку.

— Ах, не говорите мне про Чертополох... Он молчит, потому что глуп. Да, очень глуп, бедняжка... Впрочем, я это так, к слову. Я знаю, Крапива, что вы давно неравнодушны к этому колючему господину...

— Кажется, это не ваше дело, умный болтун! — отозвался выведенный из терпения Чертополох.

— Виноват, я к слову... Действительно, меня это нисколько не касается. Да... А все-таки я рад встретить старых знакомых. Помилуйте, сколько лет вместе растем у одного забора... Одним словом, соседи. Нет, я не сержусь на вас, Чертополох, хотя вы и могли бы быть повежливее. Впрочем, все зависит от воспитания, и вы не виноваты, что не знаете первых правил приличия...

— Ну, пошел молоть!.. — ворчал Чертопо-

лох. — Для чего только родятся такие болтуны? Напрасно землю занимают и другим мешают...

— Значит, по-вашему, я лишний? — обернулся Репей. — Я? Лишний? Ха-ха!.. Вот это недурно сказано! Желал бы я знать, кто украшает весь огород?.. Да, я украшаю, господа! Всем это известно и, кажется, не требует доказательств. Один рост чего стоит: а потом — какие листья!.. Должен признаться, что я по ошибке попал в ваше общество, то есть на задворки. Мое настоящее место где-нибудь в оранжерее... Скажите, пожалуйста, чем лучше все эти пальмы? Дайте-ка мне хорошую пищу, побольше света и тепла, так я бы их всех за пояс заткнул. Просто ко мне относятся несправедливо, и я вынужден скитаться под заборами... Да, люди несправедливы и сами виноваты, что не могут понять настоящей красоты...

— Да... особенно — ваших цветов прекрасных!.. Нечего сказать, хороши цветы... Просто какие-то шишки! — ядовито заметила Крапива. — Вот у Чертополоха так цветы, а тут — колючие шишки.

Крапива и Репей частенько ссорились между собой, ссорились просто так, от нечего делать. Чертополох обыкновенно молчал и вступался только тогда, когда Репей очень уж начинал хвастать. Положим, и Крапива была хороша, — всех бы жалила; но что вы поделаете с женщиной, когда она желает сердиться?

А весна шла быстрыми шагами. Солнышко так и пригревало оттаявшую землю. Огород и задворки, заглушенные сухим бурьяном и сорной травой, начинали принимать веселый вид, точно принаряжались к какому-то празднику. Везде показывалась светлая весенняя зелень, точно развертывался дорогой бархатный ковер... Поднималась молодая крапива, чертополох, репей, лебеда. Все эти сорные травы росли с необыкновенной быстротой, как будто стараясь перегнать друг друга. Скоро выглянул желтым глазком Одуванчик и крикнул:

— Здравствуйте, братцы!..

Одуванчик был славный малый, а главное, ни с кем не ссорился. Растет себе и радуется. Его все любили, а особенно серебристая Лебеда, тоже скромная и безобидная травка. Они

так и росли вместе, как брат с сестрой.

— Ты меня любишь, Лебеда? — шепотом спрашивал Одуванчик вечером, складывая свой желтый цветочек.

— Ах, очень, очень люблю!.. — признавалась тоже шепотом Лебеда, опуская свои зеленые листочки, точно посыпанные серебряной мукой. — Вы такой вежливый, Одуванчик, не то что Репей или Чертополох. А Крапивы я боюсь, — она такая злая. Я стараюсь всегда быть подальше от нее...

— Я тоже... Неприятная дама!.. Ее даже коровы боятся и люди тоже. Так и вцепится...

Остались незаросшими только гряды, где взрытая земля так неприятно чернела. А какая там была отличная почва!.. Сорные травы всегда смотрели на нее с завистью. Вот бы где отлично было устроиться.

— Я не понимаю, почему мы должны жаться у заборов, — ворчал Репей. — На грядах земля такая мягкая, как пух, и потом так много солнца...

— А ты попробуй устроиться на гряде, — ехидно советовала Крапива.

— Устроиться не долго, да только из этого

не выйдет толка… Хлопот много.

— Ты боишься хозяйки?

— Что мне ее бояться? Я никого не боюсь. А только это несправедливо, что нас загнали к забору. Чем мы хуже других?

Пока гряды не были вскопаны, в огород заходила разная скотина. Впрочем, коровы не трогали сорной травы, а только пощипывали зеленую травку. Вот другое дело, когда забрался однажды козел. Он прямо попал на Репей и съел у него целый лист.

— Ах, какой нахал! — ругался Репей. — Это наконец невежливо… Погоди, вот я тебя осенью украшу всеми своими шишками… Будешь меня помнить, негодная тварь!

От козла досталось и бедному Одуванчику, и Лебеде: они тоже недосчитались зеленых листьев. Он не тронул только Крапивы и Чертополоха.

— Благородное животное козел!.. — ехидно уверяла всех Крапива. — Он никогда не затопчет… Не то что корова или лошадь.

II

Скоро земля совсем оттаяла, и в огород пришла хозяйка. Это была низенькая старушка в темном платочке. Огород для нее составлял главную статью дохода: и сама сыта, да еще на рынок столько овощу разного продаст. Посмотрела, посмотрела старушка кругом и говорит:

— Пора гряды копать...

А потом еще посмотрела кругом, покачала головой и говорит:

— Откуда только берется эта сорная трава?.. И когда успела вырасти?.. Ведь никому она не нужна...

Репей обиделся на старушку за всех товарищей.

— Вот тоже выдумала: никому не нужны!.. Это мы-то не нужны? Вот ты, старушонка, действительно никому не нужна, — и давно тебе пора помирать... И тебя не будет, а мы все-таки будем расти. Вся разница в том, что будет у нас другая хозяйка, подобрее.

На другой день старушка опять явилась в огород и привела с собой внучку Машу.

— Стара я стала, внучка, одной не управиться, а твое дело — молодое, в охотку поработаешь.

— Ничего, бабушка, поработаю. Да и какая это работа? Одно удовольствие...

Начали бабушка с внучкой гряды копать. Бабушка кряхтит, кряхтит, едва полгряды выкопает, а у внучки уже целая грядка готова.

— Ай да внучка! Ай да умница! — похваливает старушка. — И я прежде вот так же скоро все делала, а теперь едва спину разогну...

А Маша только смеется. Копает да еще песни поет. Не работа, а забава. Здоровая девушка, — в охотку поработать... Дней в пять все было кончено. Посмотрела Маша на свою работу, полюбовалась и говорит:

— А что, бабушка, у тебя вот там место под забором даром пропадает? Вот бы малины посадить, да крыжовнику, да смородины... Очень уж я малину люблю, бабушка.

— Так, внучка, так, милая... и в самом деле, посадим-ка малинки, да смородинки, да крыжовнику. Которую ягоду сами съедим, а которую на базаре продадим... Я уж давно об этом сама подумывала, да все как-то руки не

доходили.

Обрадовалась старушка новой статье дохода, благо у внучки руки здоровые. Сказано — сделано. Накупила старушка у знакомого садовника и малины, и смородины, и крыжовника, и началась работа. Маша вдоль забора накопала ям и принялась рассаживать в них кусты. От этой работы больше всего досталось Крапиве.

— Что же это такое, — кричала она на весь огород, — этак и совсем житья не будет!.. Караул!..

В отчаянье она несколько раз пребольно ужалила белые руки бойкой внучки.

— Вот тебе, вот тебе, выдумщица!..

— Ах, проклятая крапива, как она больно жжется!.. — жаловалась Маша, помахивая рукой.

— Я всех сожгу, — шипела Крапива.

— Откуда она только берется! — удивилась опять старушка. — Ведь никто ее, кажется, не садит...

III

Гораздо скорее начали расти все овощи после полотья.

— Ишь дармоеды!.. — ворчал Репей. — Небось своего ума не хватало, чтобы расти в готовой гряде. Эх вы, белоручки!..

— Молчи, мужик, — крикнул с гряды молодой Горох, начинавший завиваться около своей тычинки, — не твое дело...

— А ты, хвастун!.. Погоди, вот тебя воробьи заклюют.

— Значит, сладко, если клюют... А вот тебя так никому не нужно.

— Оттого и не нужно, что я для себя расту, а ты для других стараешься.

Одним словом, что ни день, то новый спор. Нашла коса на камень, и хвастун попал на хвастуна.

На гряды теперь любо было посмотреть. Все зеленело и быстро росло. И простоватая свекла, и кокетливая морковка, и горькая редька, и капуста. Вся беда, что мало было кавалеров — все наперечет: хвастун Горох да горький Лук. Впрочем, Лук понимал свое по-

ложение и старался расти поближе к Редьке, — такая же горечь, так уж вместе бог велел расти.

— У меня все красавицы растут, — хвастался Горох. — А всех лучше морковка... Вот какие у нее листочки прорезные, точно зеленые кудерьки. Так сами и вьются...

Морковка делала вид, что не слышит этих похвал, и только все краснела и краснела. И приятно, и стыдно. Конечно, верить Гороху нельзя; а все-таки, когда так начинают хвалить прямо в глаза, невольно как-то хочется верить. Скромная морковка начинала про себя думать, что в самом деле она лучше всех, и еще больше краснела. Вот другое дело Редька; толстеет себе, как купчиха, и ничего знать не хочет.

Споры часто заходили так далеко, чуть не до настоящей ссоры. Главными зачинщиками являлись Горох и Репей.

— Эй ты, мужик! — кричал обыкновенно Горох. — Никому-то тебя не нужно. Тебя даже и скотина не ест... Для чего ты растешь?

— Для себя расту, — отвечал Репей с гордостью. — А что касается того, что я никому не

нужен, так это ты весьма ошибаешься... Куда человек — туда и я; значит, и я на что-нибудь нужен. Тысячу верст человек прошел, и я за ним... Для меня все равно — холод и жар: я не прихотлив. А ты — неженка. Тебя и садить нужно, и беречь, а я все сам. Вот теперь и сообрази, что все это значит...

— Моя хозяйка говорит, что ты никому не нужен.

— Мало ли что она скажет!.. Вот осень настанет, вот она и примется выбирать вас всех из гряды; а я-то останусь на том же месте. Вот тебе и не нужен... Тебя каждый козел съест; а я так вцеплюсь в него, что не обрадуется. Всю бороду ему зацеплю, — не отдерет потом. И Крапива тоже постоит за себя, и Чертополох... Мы уже все заодно живем. Без нас-то какой огород может быть?.. Да, подумай-ка своим умом... Ежели разобрать, так я гораздо поважнее тебя буду и постарше. Конечно, меня мало ценят, ну, да это все равно. Я мало обращаю внимания, что про меня говорят. Они свое говорят, а я свое делаю. Так-то, милый друг!.. Одним словом, жаль мне тебя, потому что ты чужим умом живешь. Легкомысленный овощ,

и больше ничего. До первого мороза тебе и жить.

— У всякого своя судьба, Репей. У тебя кожа толстая, — вот и не боишься мороза; а у меня листочки нежные, сам я тоненький... Одним словом, деликатное растение.

Так дело шло день за днем. Лето проходит быстро, — его вспоминают, когда оно пройдет. Так было и тут. Гряды в огороде покрылись густой зеленью. Капуста разбухла до того, что верхние листья на ней лопались. Горох отцвел и покрылся стручьями. Малина начала созревать, хотя на первый год ягод и немного было.

Внучка Маша, кажется, больше всего заботилась о ягодах. Нет-нет и заглянет в огород. То репку сорвет, то спелую ягодку ущипнет. Крапива и тут не унималась. С горя она нынче выросла большая-большая и не упускала случая обжечь прихотницу-внучку.

— У, гадкая! — ворчала девушка, пряча руки.

Скоро ягоды были обобраны, и очередь наступила овощам. Началось дело с гороха. Перерастет — невкусный будет. Потом редьке и

луку досталось. Потом дело дошло до свеклы и моркови. Старушка приходила каждое утро и вырывала созревшие овощи, чтобы снести их на базар.

— Что, дармоеды? — торжествовал Репей. — Пришла ваша пора... всех вас старушонка перетаскает на базар. Так вам и надо — не хвастайтесь... Погодите, вот ударит мороз, — всем конец.

И мороз ударил... Почернела ботва у картофеля, пожелтел горох, начали обваливаться засыхавшие листья. Пришла старушка вместе с внучкой и принялась за работу. Вместе они повыдергали весь картофель, морковь, репу и свеклу и целых два дня обрезывали ботву. Гряды приняли такой печальный вид, точно по ним прошел неприятель. В бороздах валялись целые вороха обрезанных листьев, точно старое, изношенное платье, которое уже никому не нужно.

Дольше других на грядках оставались лук, редька да капуста. Они не боялись морозов. Но и их очередь наступила. Опять пришла старушка с внучкой, и гряды окончательно опустели. Тяжело было смотреть даже со сто-

роны, как валились под ножом тяжелые зеленые головы капусты. Скоро весь огород был убран, и на грядах оставались одни кочерыжки от капусты, жалко торчавшие из земли, точно утиные шеи.

Полил дождь, загудел ветер, а потом первый мороз сковал землю. Жутко пришлось и сорной траве.

— Ну, кума, пора и нам отдохнуть, — сказал как-то Репей засыхавшей Крапиве. — Что же, пожили, покрасовались и на будущий год опять увидимся... До свидания, кума! Меня только одно утешает: всех этих дармоедов убрали от нас, — место очистили...

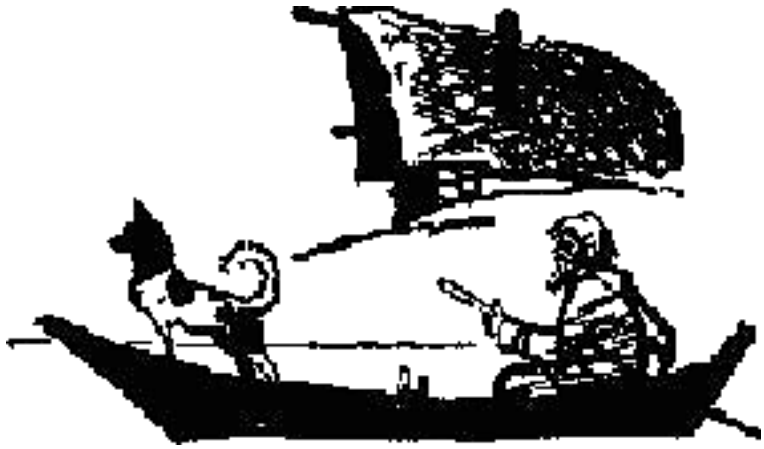
Крапива только жалобно стонала:

— Ух, как холодно!.. В самом деле, пора на покой. — Она даже сердиться не могла.

Чертополох все лето промолчал и молча засох от первого инея.

Зимовье на Студеной

I



Старик лежал на своей лавочке, у печи, закрывшись старой дохой из вылезших оленьих шкур. Было рано или поздно — он не знал, да и знать не мог, потому что светало поздно, а небо еще с вечера было затянуто низкими осенними тучами. Вставать ему не хотелось; в избушке было холодно, а у него уже несколько дней болели и спина и ноги. Спать он тоже не хотел, а лежал так, чтобы провести время. Да и куда ему было торопиться? Его разбудило осторожное царапанье в дверь, — это просился Музгарко, небольшая, пестрая вогульская собака, жившая в этой избушке уже лет десять.

— Я вот тебе задам, Музгарко!.. — заворчал старик, кутаясь в свою доху с головой. — Ты у меня поцарапайся...

Собака на время перестала скоблить дверь своей лапой и потом вдруг взвыла протяжно и жалобно.

— Ах, штоб тебя волки съели!.. — обругался старик, поднимаясь с лавки.

Он в темноте подошел к двери, отворил ее и все понял, — отчего у него болела спина и отчего завыла собака. Все, что можно было рассмотреть в приотворенную дверь, было покрыто снегом. Да, он ясно теперь видел, как в воздухе кружилась живая сетка из мягких, пушистых снежинок. В избе было темно, а от снега все видно — и зубчатую стенку стоявшего за рекой леса, и надувшуюся почерневшую реку, и каменистый мыс, выдававшийся в реку круглым уступом. Умная собака сидела перед раскрытой дверью и такими умными, говорящими глазами смотрела на хозяина.

— Ну, што же, значит, конец!.. — ответил ей старик на немой вопрос собачьих глаз. — Ничего, брат, не поделаешь... Шабаш!..

Собака вильнула хвостом и тихо взвизгну-

ла тем ласковым визгом, которым встречала одного хозяина.

— Ну, шабаш, ну, што поделаешь, Музгарко!.. Прокатилось наше красное летечко, а теперь заляжем в берлоге...

На эти слова последовал легкий прыжок, и Музгарко очутился в избушке раньше хозяина.

— Не любишь зиму, а? — разговаривал старик с собакой, растопляя старую печь, сложенную из дикого камня. — Не нравится, а?..

Колебавшееся в челе печки пламя осветило лавочку, на которой спал старик, и целый угол избушки. Из темноты выступали закопченные бревна, покрытые кое-где плесенью, развешанная в углу сеть, недоконченные новые лапти, несколько беличьих шкурок, болтавшихся на деревянном крюку, а ближе всего сам старик — сгорбленный, седой, с ужасным лицом. Это лицо точно было сдвинуто на одну сторону, так что левый глаз вытек и закрылся припухшим веком. Впрочем, безобразие отчасти скрадывалось седой бородой. Для Музгарки старик не был ни красив, ни некрасив.

Пока старик растоплял печь, уже рассвело. Серое зимнее утро занялось с таким трудом, точно невидимому солнцу было больно светить. В избушке едва можно было рассмотреть дальнюю стену, у которой тянулись широкие нары, устроенные из тяжелых деревянных плах. Единственное окно, наполовину залепленное рыбьим пузырем, едва пропускало свет. Музгарко сидел у порога и терпеливо наблюдал за хозяином, изредка виляя хвостом.

Но и собачьему терпенью бывает конец, и Музгарко опять слабо взвизгнул.

— Сейчас, не торопись, — ответил ему старик, придвигая к огню чугунный котелок с водой. — Успеешь...

Музгарко лег и, положив остромордую голову в передние лапы, не спускал глаз с хозяина. Когда старик накинул на плечи дырявый пониток, собака радостно залаяла и бросилась в дверь.

— То-то вот у меня поясница третий день болит, — объяснил старик собаке на ходу. — Оно и вышло, што к ненастью. Вона как снежок подваливает...

За одну ночь все кругом совсем измени-

лось, — лес казался ближе, река точно сузилась, а низкие зимние облака ползли над самой землей и только не цеплялись за верхушки елей и пихт. Вообще вид был самый печальный, а пушинки снега продолжали кружиться в воздухе и беззвучно падали на помертвевшую землю. Старик оглянулся назад, за свою избушку — за ней уходило ржавое болото, чуть тронутое кустиками и жесткой болотной травой. С небольшими перерывами это болото тянулось верст на пятьдесят и отделяло избушку от всего живого мира. А какая она маленькая показалась теперь старику, эта избушка, точно за ночь вросла в землю...

К берегу была причалена лодка-душегубка. Музгарко первый вскочил в нее, оперся передними лапами на край и зорко посмотрел вверх реки, туда, где выдавался мыс, и слабо взвизгнул.

— Чему обрадовался спозаранку? — окликнул его старик. — Погоди, может, и нет ничего...

Собака знала, что есть, и опять взвизгнула: она видела затонувшие поплавки закинутой

в омуте снасти. Лодка полетела вверх по реке у самого берега. Старик стоял на ногах и гнал лодку вперед, подпираясь шестом. Он тоже знал по визгу собаки, что будет добыча. Снасть действительно огрузла самой серединой, и, когда лодка подошла, деревянные поплавки повело книзу.

— Есть, Музгарко...

Снасть состояла из брошенной поперек реки бечевы с поводками из тонких шнурков и волосяной лесы. Каждый поводок заканчивался острым крючком. Подъехав к концу снасти, старик осторожно начал выбирать ее в лодку. Добыча была хорошая: два больших сига, несколько судаков, щука и целых пять штук стерлядей. Щука попалась большая, и с ней было много хлопот. Старик осторожно подвел ее к лодке и сначала оглушил своим шестом, а потом уже вытащил. Музгарко сидел в носу лодки и внимательно наблюдал за работой.

— Любишь стерлядку? — дразнил его старик, показывая рыбу. — А ловить не умеешь... Погоди, заварим сегодня уху. К ненастью рыба идет лучше на крюк... В омуте она теперь

сбивается на зимнюю лежанку, а мы ее из омута и будем добывать: вся наша будет. Лучить ужо поедем... Ну, а теперь айда домой!.. Судаков-то подвесим, высушим, а потом купцам продадим...

Старик запасал рыбу с самой весны: часть вялил на солнце, другую сушил в избе, а остатки сваливал в глубокую яму вроде колодца; эта последняя служила кормом Музгарке. Свежая рыба не переводилась у него целый год, только не хватало у него соли, чтобы ее солить, да и хлеба не всегда доставало, как было сейчас. Запас ему оставляли с зимы до зимы.

— Скоро обоз придет, — объяснил старик собаке. — Привезут нам с тобой и хлеба, и соли, и пороху... Вот только избушка наша совсем развалилась, Музгарко.

Осенний день короток. Старик все время проходил около своей избушки, поправляя и то и другое, чтобы лучше ухорониться на зиму. В одном месте мох вылез из пазов, в другом — бревно подгнило, в третьем — угол совсем осел и, того гляди, отвалится. Давно бы уж новую избушку пора ставить, да одному

все равно ничего не поделать.

— Как-нибудь, может, перебьюсь зиму, — думал старик вслух, постукивая топором в стену. — А вот обоз придет, так тогда...

Выпавший снег все мысли старика сводил на обоз, который приходил по первопутку, когда вставали реки. Людей он только и видел один раз в году. Было о чем подумать. Музгарко отлично понимал каждое слово хозяина и при одном слове «обоз» смотрел вверх реки и радостно взвизгивал, точно хотел ответить, что вон, мол, откуда придет обоз-то — из-за мыса.

К избе был приделан довольно большой низкий сруб, служивший летом амбаром, а зимой казармой для ночлега ямщиков. Чтобы защитить от зимней непогоды лошадей, старик с осени устраивал около казармы из молодых пушистых пихт большую загородку. Намаются лошади тяжелой дорогой, запотеют, а ветер дует холодный, особенно с солнцевосхода. Ах, какой бывает ветер, даже дерево не выносит и поворачивает свои ветви в теплую сторону, откуда весной летит всякая птица.

Кончив работу, старик сел на обрубок дерева под окном избушки и задумался. Собака села у его ног и положила свою умную голову к нему на колени. О чем думал старик? Первый снег всегда и радовал его и наводил тоску, напоминая старое, что осталось вон за теми горами, из которых выбегала река Студеная. Там у него были и свой дом, и семья, и родные были, а теперь никого не осталось. Всех он пережил, и вот где привел бог кончать век: умрет — некому глаза закрыть. Ох, тяжело старое одиночество, а тут лес кругом, вечная тишина, и не с кем слова сказать. Одна отрада оставалась: собака. И любил же со старик гораздо больше, чем любят люди друг друга. Ведь она для него была все и тоже любила его. Не один раз случалось так, что на охоте Музгарко жертвовал своей собачьей жизнью за хозяина, и уже два раза медведь помял его за отчаянную храбрость.

— А ведь стар ты стал, Музгарко, — говорил старик, гладя собаку по спине. — Вон и спина прямая стала, как у волка, и зубы притупились, и в глазах муть... Эх, старик, старик, съедят тебя зимой волки!.. Пора, видно,

нам с тобой и помирать...

Собака была согласна и помирать... Она только теснее прижималась всем телом к хозяину и жалобно моргала. А он сидел и все смотрел на почерневшую реку, на глухой лес, зеленой стеной уходивший на сотни верст туда, к студеному морю, на чуть брезжившие горы в верховьях Студеной, — смотрел и не шевелился, охваченный своей тяжелой стариковской думой.

Вот о чем думал старик.

Родился и вырос он в глухой лесной деревушке Чалпан, засевшей на реке Колве. Место было глухое, лесистое, хлеб не родился, и мужики промышляли кто охотой, кто сплавом леса, кто рыбной ловлей. Деревня была бедная, как почти все деревни в Чердынском крае, и многие уходили на промысел куда-нибудь на сторону: на солеваренные промыслы в Усолье, на плотбища по реке Вишере, где строились лесопромышленниками громадные баржи, на железные заводы по реке Каме.

Старик тогда был совсем молодым, и звали его по деревне Елеской Шишмарем, — вся се-

мья была Шишмари. Отец промышлял охотой, и Елеска с ним еще мальчиком прошел всю Колву. Били они и рябчика, и белку, и куницу, и оленя, и медведя, — что попадет. Из дому уходили недели на две, на три. Потом Елеска вырос, женился и зажил своим домом в Чалпане, а сам по-прежнему промышлял охотой. Стала потихоньку у Елески подрастать своя семья — два мальчика да девочка; славные ребятки росли и были бы отцу подмогой на старости лет. Но богу было угодно другое: в холерный год семья Елески вымерла... Случилось это горе осенью, когда он ушел с артелью других охотников в горы за оленями. Ушел он семейным человеком, а вернулся бобылем. Тогда половина народу в Чалпане вымерла: холера прошла на Колву с Камы, куда уходили на сплавы чалпанские мужики. Они и занесли с собой страшную болезнь, которая косила людей, как траву.

Долго горевал Елеска, но второй раз не женился: поздно было вторую семью заводить. Так он и остался бобылем и пуще прежнего занялся охотой. В лесу было весело, да и привык уж очень к такой жизни Елеска. Только и

тут стряслась с ним великая беда. Обошел он медвежью берлогу, хорошего зверя подглядел и уже вперед рассчитал, что в Чердыни за медвежью шкуру получит все пять рублей. Не в первый раз выходил на зверя с рогатиной да с ножом; но на этот раз сплоховал: поскользнулась у Елески одна нога, и медведь насел на него. Рассвирепевший зверь обломал охотника насмерть, а лицо сдвинул ударом лапы на сторону. Едва приполз Елеска из лесу домой, и здесь свой знахарь лечил его целых полгода; остался жив, а только сделался уродом. Не мог далеко уходить в лес, как прежде, когда ганивал сохатого на лыжах верст по семидесяти, не мог промышлять наравне с другими охотниками, — одним словом, пришла беда неминучая.

В своей деревне делать Елеске было нечего, кормиться мирским подаянием не хотел, и отправился он в город Чердынь, к знакомым купцам, которым раньше продавал свою охотничью добычу. Может, место какое-нибудь обыщут Елеске богатые купцы. И нашли.

— Бывал на волоке с Колпы на Печору? — спрашивали его промышленники. Там на ре-

ке Студеной зимовье, — так вот тебе быть там сторожем... Вся работа только зимой: встретить да проводить обозы, а там гуляй себе целый год. Харч мы тебе будем давать, и одежду, и припас всякий для охоты — поблизости от зимовья промышлять можешь.

— Далеконько, ваше степенство... — замялся Елеска. — Во все стороны от зимовья верст на сто жилья нет, а летом туда и не пройдешь.

— Уж это твое дело; выбирай из любых: дома голодать или на зимовье барином жить...

Подумал Елеска и согласился, а купцы высылали ему и харч и одежду только один год. Потом Елеска должен был покупать все на свои деньги от своей охоты и рыбной ловли на зимовке. Так он и жил в лесу. Год шел за годом. Елеска состарился и боялся только одного, что придет смертный час и некому будет его похоронить.

II

До обоза, пока реки еще не стали, старик успел несколько раз сходить на охоту. Боровой рябчик поспел давно, но бить его не стоило, потому что все равно сгниет в тепле. Обозный приказчик всегда покупал у старика рябчиков с особым удовольствием, потому что из этих мест шел крепкий и белый рябчик, который долго не портился, а это всего важнее, потому что убитые на Студеной рябчики долетали до Парижа. Их скупали купцы в Чердыни, а потом отправляли в Москву, а из Москвы рябчиков везли громадными партиями за границу. Старик на двадцать верст от своей избушки знал каждое дерево и с лета замечал все рябиные выводки, где они высиживались, паслись и кормились. Когда выводки поспевали, он знал, сколько штук в каждом, но для себя не прочил ни одного, потому что это был самый дорогой товар, и он получал за него самый дорогой припас — порох и дробь. Нынешняя охота посчастливилась необыкновенно, так что старик заготовил пар тридцать еще до прихода обоза и бо-

ялся только одного: как бы не ударила ростепель. Редко случалась такая ростепель на Студеной, но могла и быть.

— Ну, теперь мы с тобой на припас добыли, — объяснял старик собаке, с которой всегда разговаривал, как с человеком. — А пока обоз ходит с хлебом на Печору, мы и харч себе обработаем... Главное — соли добыть побольше. Ежели бы у нас с тобой соль была, так богаче бы нас не было вплоть до самой Чердыни.

О соли старик постоянно говорил: «Ах, кабы соль была — не житье, а рай». Теперь рыбу ловил только для себя, а остальную сушил, — какая цепа такой сушеной рыбе? А будь соль, тогда бы он рыбу солил, как печорские промышленники, и получал бы за нее вдвое больше, чем теперь. Но соль стоила дорого, а запасать ее приходилось бы пудов по двадцати, — где же такую уйму деньжищ взять, когда с грехом пополам хватало на харч да на одежду? Особенно жалел старик, когда летним делом, в петровки, убивал оленя: свежее мясо портится скоро, — два дня поесть оленины, а потом бросай! Сушеная оленина как де-

рево.

Стала и Студеная. Горная холодная вода долго не замерзает, а потом лед везде проедается полыньями. Это ключи из земли бьют. Запасал теперь старик и свежую рыбу, которую можно было сейчас морозить, как рябчиков. Лиха беда в том, что времени было мало. Того и гляди, что подвалит обоз.

— Скоро, Музгарко, харч нам придет...

Собственно, хлеб у старика вышел еще до заморозков, и он подмешивал к остаткам ржаной муки толченую сухую рыбу. Есть одно мясо или одну рыбу было нельзя. Дня через три так отобьет, что потом в рот не возьмешь. Конечно, самоеды и вогулы питаются одной рыбой, так они к этому привычны, а русский человек — хлебный и не может по-ихнему.

Обоз пришел совершенно неожиданно. Старик спал ночью, когда заскрипели возы и послышался крик:

— Эй, дедушка, жив ли ты?.. Примай гостей... Давно не видались.

Старика больше всего поразило то, что Музгарко прокараулил дорогих, жданных го-

стей. Обыкновенно он чуял их, когда обоз еще был версты за две, а нынче не слыхал. Он даже не выскочил на улицу, чтобы полаять на лошадей, а стыдливо спрятался под хозяйскую лавку и не подал голоса.

— Музгарко, да ты в уме ли! — удивлялся старик. — Проспал обоз... Ах, нехорошо!..

Собака выползла из-под лавки, лизнула его в руку и опять скрылась: она сама чувствовала себя виноватой.

— Эх, стар стал: нюх потерял, — заметил с грустью старик. — И слышит плохо на левое ухо.

Обоз состоял возов из пятидесяти... На Печору чердынские купцы отправляли по первопутку хлеб, соль, разные харчи и рыболовную снасть, а оттуда вывозили свежую рыбу. Дело было самое спешное, чтобы добыть печорскую рыбу раньше других, — шла дорогая поморская семга. Обоз должен сломать трудную путину в две недели, и ямщики спали только во время кормежек, пока лошади отдыхали. Особенно торопились назад, тогда уж и спать почти не приходилось. А дорога через волок была трудная, особенно горами. Дорога

скверная, каменистая, сани некованые, а по речкам везде наледи да промоины. Много тут погублено хороших лошадей, а людям приходилось работать, как нигде: вывозить возы в гору на себе, добывать их из воды, вытаскивать из раскатов. Только одни колвинские ямщики и брались за такую проклятую работу, потому что гнала на Печору горькая нужда.

В зимовье на Студеной обоз делал передышку: вместо двухчасовой кормежки лошади здесь отдыхали целых четыре. Казарму старик подтопил заранее, и ямщики, пустив лошадей к корму, завалились спать на деревянных нарах ямщичьим мертвым сном. Не спал только молодой приказчик, еще в первый раз ехавший на Печору. Он сидел у старика в избушке и разговаривал.

— И не страшно тебе в лесу, дедушка?

— А чего бояться, Христос с нами! Привычное наше дело, В лесу выросли.

— Да как же не бояться: один в лесу…

— А у меня песик есть… Вот вдвоем и коротаем время. По зимам вот волки одолевают, так он мне вперед сказывает, когда придут

они в гости. Чует… И дошлая: сама поднимает волков. Они бросятся за ней, а я их из ружья… Умнеющая собака: только не скажет, как человек. Я с ней всегда разговариваю, а то, пожалуй, и говорить разучишься…

— Откуда же ты такую добыл, дедушка?

— Давно это было, почитай годов с десять. Вот по зиме, этак перед рождеством, выслеживал я в горах лосей… Была у меня собачка, еще с Колвы привел. Ну, ничего, правильный песик: и зверя брал, и птицу искал, и белку все как следует. Только иду я с ним по лесу, и вдруг вот этот Музгарко прямо как выскочит на меня. Даже испугал… Не за обычай это у наших промысловых собак, штобы к незнакомому человеку ластиться, как к хозяину, а эта так прямо ко мне и бросилась. Вижу, што дело как будто неладно. А он этак смотрит на меня, умненько таково, а сам ведет все дальше… И што бы ты думал, братец ты мой, ведь привел! В логовине этак вижу шалашик из хвои, а из шалашика чуть пар… Подхожу. В шалашике вогул лежит, болен, значит, и от своей артели отстал… Пряменько сказать: помирал человек. На охоте его ухватила

немочь, другим-то не ждать. Увидал меня, обрадовался, а сам едва уж языком ворочает. Больше все руками объяснял. Вот он меня и благословил этим песиком... При мне и помер, сердяга, а я его закопал в снегу, заволок хворостом да бревном придавил сверху, штобы волки не съели. А Музгарко, значит, мне достался... Это по речке я его и назвал, где вогул помирал: Музгаркой звать речку, ну, я и собаку так же назвал. И умный песик... По лесу идет, так после него хоть метлой подметай, — ничего не найдешь. Ты думаешь, он вот сейчас не понимает, што о нем говорят?.. Все понимает...

— Зачем он под лавкой-то лежит?

— А устыдился, потому обоз прокараулил. Стар стал... Два раза меня от медведя ухранял: медведь-то на меня, а он его и остановил. Прежде я с рогатиной ходил на медведя, когда еще в силе был, а как один меня починил, ну, я уж из ружья норовлю его свалить. Тоже его надо умеючи взять: смышлястый зверь.

— Ну, а зимой-то, поди, скучно в избушке сидеть?

— Привышное дело... Вот только праздни-

ки когда, так скушновато. Добрые люди в храме божьем, а у меня волки обедню завывают. Ну, я тогда свечку затеплю перед образом, и сам службу пою… Со слезами тоже молюсь.

Славный этот приказчик, молодой такой, и все ему надо знать. Елеска обрадовался живому человеку и все рассказывал про свою одинокую жизнь в лесу.

— У меня по весне праздник бывает, милый человек, когда с теплого моря птица прилетит. И сколько ее летит: туча… По Студеной-то точно ее насыпано… Всякого сословия птица: и утки, и гуси, и кулики, и чайки, и гагары… Выйдешь на заре, там стон стоит по Студеной. И нет лучше твари, как перелетная птица: самая божья тварь… Большие тыщи верст летит, тоже устанет, затощает и месту рада. Прилетела, вздохнула денек и сейчас гнездо налаживать… А я хожу и смотрю: мне бог гостей прислал. И как наговаривают… Слушаешь, слушаешь, инда слеза проймет. Любезная тварь перелетная птица… Я ее не трогаю, потому трудница перед господом. А когда гнезда она строит, это ли не божецкое произволение… Человеку так не состроить. А

потом матки с выводками на Студеную выплывут... Красота, радость... Плавают, полощутся, гогочут... Неочерпаемо здесь перелетной птицы. Праздником все летечко прокатится, а к осени начнет птица грудиться стайками: пора опять в дорогу. И собираются, как люди... Лопочут по-своему, суетятся, молодых учат, а потом и поднялись... Ранним утром снимаются с места, вожак в голове летит. А есть и такие, которые остаются: здоровьем слаба выйдет, или позднышки выведутся... Жаль на них глядеть. Кричат, бедные, когда мимо них стая за стаей летит. На Студеной все околачиваются. Плавают-плавают, пока забереги настынут, потом в полыньях кружатся... Ну, этих уже я из жалости пришибу. Што ей маяться-то, все равно сгибнет... Лебеди у меня тут в болоте гнезда вьют. Всякой твари свое произволенье, свой предел... Одного только у меня не хватает, родной человек: который год прошу ямщиков, штобы петушка мне привезли... Зимой-то ночи долгие, конца нет, а петушок-то и сказал бы, который час на дворе.

— В следующий раз я тебе привезу самого

горластого, дедушка: как дьякон будет орать.

— Ах, родной, то-то уважил бы старика... Втроем бы мы вот как зажили! Скучно, когда по зимам мертвая тишь встанет, а тут бы петушок, глядишь, и взвеселил. Тоже не простая тваринка, петушок-то; другой такой нет, чтобы часы сказывала. На потребу человеку петушок сотворен.

Приказчика звали Флегонтом. Он оставил старому Елеске и муки, и соли, и новую рубаху, и пороху, а на обратном пути с Печоры привез подарок.

— Я тебе часы привез, дедушка, — весело говорил он, подавая мешок с петухом.

— Ах, кормилец, ах, родной... Да как я тебя благодарить буду? Ну, пошли тебе бог всего, чего сам желаешь. Поди, и невеста где-нибудь подгляжена, так любовь да совет...

— Есть такой грех, дедушка, — весело ответил Флегонт, встряхивая русыми кудрями. — Есть в Чердыни два светлых глаза: посмотрели они на меня, да и заворожили... Ну, оставайся с богом.

— Соболька припасу твоей невесте на будущую осень, как опять поедешь на Печору.

Есть у меня один на примете.

Ушел обоз в обратный путь, и остался старик с петушком. Радости-то сколько!.. Пестренький петушок, гребешок красненький — ходит по избушке, каждое перышко играет. А ночью как гаркнет... То-то радость и утешение! Каждое утро стал Елеска теперь разговаривать со своим петушком, и Музгарко их слушает.

— Што, завидно тебе, старому? — дразнит Елеска собаку. — Только твоего ремесла, што лаять... А вот ты по-петушиному спой!..

Заметил старик, как будто заскучал Музгарко. Понурый такой ходит... Неможется что-то собаке. Должно полагать, ямщики сглазили.

— Музгарушко, да што это с тобой попритчилось? Где болит?

Лежит Музгарко под лавкой, положил голову между лапами и только глазами моргает.

Всполошился старик: накатилась беда неожиданная. А Музгарко все лежит, не ест, не пьет и голосу не подает.

— Музгарушко, милый!

Вильнул хвостом Музгарко, подполз к хозяину, лизнул руку и тихо взвыл. Ох, плохо дело!..

III

Ходит ветер по Студеной, наметает саженные сугробы снега, завывает в лесу, точно голодный волк, избушка Елески совсем потонула в снегу. Торчит без малого одна труба, да вьется из нее синяя струйка дыма...

Воет пурга уже две недели, две недели не выходит из своей избушки старик и все сидит над больной собакой. А Музгарко лежит и едва дышит: пришла Музгаркина смерть.

— Кормилец ты мой... — плачет старик и целует верного друга. — Родной ты мой... ну, где болит?..

Ничего не отвечает Музгарко, как раньше. Он давно почуял свою смерть и молчит... Плачет, убивается старик, а помочь нечем: от смерти лекарства нет. Ах, горе какое лютое привалилось!.. С Музгаркой умерла последняя надежда старика, и ничего, ничего не осталось для него, кроме смерти. Кто теперь будет искать белку, кто облает глухаря, кто высле-

дит оленя? Смерть без Музгарки, ужасная, голодная смерть. Хлебного припаса едва хватит до крещенья, а там помирать...

Воет пурга, а старик вспоминает, как жил он с Музгаркой, как ходил на охоту и промышлял себе добычу. Куда он без собаки?

А тут еще волки... Учуяли беду, пришли к избушке и завыли. Целую ночь так-то выли, надрывая душу. Некому теперь пугнуть их, облаять, подманить на выстрел... Вспомнился старику случай, как одолевал его медведь-шатун. Шатунами называют медведей, которые вовремя не залегли с осени в берлогу и бродят по лесу. Такой шатун — самый опасный зверь... Вот и повадился медведь к избушке: учуял запасы у старика. Как ночь, так и придет. Два раза на крышу залезал и лапами разгребал снег. Потом выворотил дверь в казарме и утащил целый ворох запасенной стариком рыбы. Донял-таки шатун Елеску до самого нельзя. Озлобился на него старик за озорство, зарядил винтовку пулей и вышел с Музгаркой. Медведь так и прянул на старика и наверно бы его смял под себя, прежде чем тот успел бы в него выстрелить, но спас Музгар-

ко. Ухватил он зверя сзади и посадил, а Елескина пуля не знала промаха... Да мало ли было случаев, когда собака спасала старика...

Музгарко издох перед самым рождеством, когда мороз трещал в лесу. Дело было ночью. Елеска лежал на своей лавочке и дремал. Вдруг его точно что кольнуло. Вскочил он, вздул огня, зажег лучину, подошел к собаке, — Музгарко лежал мертвый. Елеска похолодел: это была его смерть.

— Музгарко, Музгарко... — повторял несчастный старик, целуя мертвого друга. — Што я теперь делать буду без тебя?

Не хотел Елеска, чтобы волки съели мертвого Музгарку, и закопал его в казарме. Три дня он долбил мерзлую землю, сделал могилку и со слезами похоронил в ней верного друга.

Остался один петушок, который по-прежнему будил старика ночью. Проснется Елеска и сейчас вспомнит про Музгарку. И сделается ему горько и тошно до смерти. Поговорить не с кем. Конечно, петушок — птица занятная, а все-таки птица и ничего не понимает.

— Эх, Музгарко! — повторял Елеска по

нескольку раз в день, чувствуя, как все начинает у него валиться из рук.

Бедным людям приходится забывать свое горе за работой. Так было и тут. Хлебные запасы приходили к концу, и пора было Елеске подумать о своей голове. А главное, тошно ему теперь показалось оставаться в своей избушке.

— Эх, брошу все, уйду домой на Колву, а то в Чердынь проберусь! — решил старик.

Поправил он лыжи, на которых еще молодым гонял оленей, снарядил котомку, взял запасу дней на пять, простился с Музгаркиной могилой и тронулся в путь. Жаль было петушка оставлять одного, и Елеска захватил его с собой: посадил в котомку и понес. Отошел старик до каменного мыса, оглянулся на свое жилье и заплакал: жаль стало насиженного теплого угла.

— Прощай, Музгарко...

Трудная дорога вела с зимовья на Колву. Сначала пришлось идти на лыжах по Студеной. Это было легко, но потом начались горы, и старик скоро выбился из сил. Прежде-то, как олень, бегал по горам, а тут на двадцати

верстах обессилел. Хоть ложись и помирай... Выкопал он в снегу ямку поглубже, устлал хвоей, развел огонька, поел, что было в котомке, и прилег отдохнуть. И петушка закрыл котомкой... С устали он скоро заснул. Сколько он спал, долго ли, коротко ли, только проснулся от петушиного крика.

«Волки...» — мелькнуло у него в голове.

Но хочет он подняться и не может, точно кто его связал веревками. Даже глаз не может открыть... Еще раз крикнул петух и затих: его вместе с котомкой утащил из ямы волк. Хочет подняться старик, делает страшное усилие и слышит вдруг знакомый лай: точно где-то под землей залаял Музгарко. Да, это он... Ближе, ближе — это он по следу нижним чутьем идет. Вот уже совсем близко, у самой ямы... Открывает Елеска глаза и видит: действительно, Музгарко, а с Музгаркой тот самый вогул, первый его хозяин, которого он в снегу схоронил.

«Ты здесь, дедушка? — спрашивает вогул, а сам смеется. — Я за тобой пришел...»

Дунул холодный ветер, рванул комья снега с высоких елей и пихт, и посыпался он на

мертвого Елеску; к утру от его ямки и следов не осталось.

Кормилец
(Из жизни на Уральских заводах)

I

Маленький Прошка всегда спал как убитый, и утром сестра Федорка долго тащила его с полатей за ногу или за руку, прежде чем Прошка открывал глаза.

— Вставай, отчаянный!.. — ругалась Федорка, стаскивая с полатей разное лохмотье, которым закрывался Прошка. — Недавно оглох, что ли? Слышишь свисток-от!..

— Сейчас... Привязалась! — бормотал Прошка, стараясь укатиться в самый дальний

угол.

— Маменька, что же я-то далась, каторжная, что ли?.. — начинала жаловаться Федорка, слезая с приступка. — Каждый раз так-то: дрыхнет, как очумелый...

— Прошка... а, Прошка!.. — крикливо начинала голосить старая Марковна и лезла на полати с ухватом. — Ох, согрешила я, грешная, с вами! Прошка, отчаянный, вставай!.. Ну? Ишь куды укатился!..

— Мамка, я сейчас... — откликался Прошка, хватаясь за рога ухвата обеими руками.

— Да ты оглох, в самом деле: слышь, свисток-от насвистывает... Федорке идти надо, не будет свистеть для вас другой раз!

Заводский свисток действительно давно вытягивал свою волчью песню, хватавшую Прошку прямо за сердце. На полатях было так тепло, глаза у него слипались, голова давила, как котел, а тут — вставай, одевайся и иди с Федоркой на фабрику...

Пока происходило это пробуждение Прошки, Федорка торопливо доедала какую-нибудь вчерашнюю корочку, запивая ее водой. Прошка всегда видел сестру одетой и удивлялся, —

когда это Федорка спит!

— Черти, не дадут и выспаться-то... — ворчал Прошка, слезая наконец с полатей и начиная искать худые коты[23] с оборванными веревочками. — Руки-то, поди, болят... вымахаешь за день-то. Мамка, дай поесть...

— Одевайся, нечего растабарывать, — на заводе поешь! — торопила Прошку мать. — Ишь важный какой... Разве один ты на заводе робишь?..[24] Другие-то как?..

— Другие... — повторял Прошка за матерью и не знал, что сказать в свое оправдание, и только чесал скатавшиеся волосы на голове.

Федорке иногда делалось жаль двенадцатилетнего брата, и она молча начинала помогать ему: запахивала дырявый кафтанишко, подпоясывала тонким ремешком вместо опояски, завязывала коты на ногах, а Прошка сидел на лавке или на приступке у печки и чувствовал, как его давит смертный сон. Кажется, умер бы вот тут сейчас, только бы не идти на эту проклятую фабрику, что завывает своим свистком, как голодный волк...

Но Федорка никогда не жаловалась, и все у

ней как-то горело в руках, — и Прошке делалось совестно перед сестрой: все-таки он, Прошка, мужик!

Федорка работала на дровосушных печах и всегда была в саже, как галка, но никакая сажа не могла скрыть горячего румянца, свежих губ, белых зубов и задорно светившихся серых глаз. Всякая тряпка сидела на Федорке так, точно она была пришита к ее сбитому, крепкому, молодому телу. Рядом с сестрой Прошка в своих больших котах и разъезжавшемся кафтанишке походил на выпавшего из гнезда воробья, особенно когда нахлобучивал на голову отцовскую войлочную шляпу с оторванным полем. Лицо у него было широкое, с плоским носом и небольшими темными глазками. Конечно, Прошка тоже был всегда в саже, которой не мог отмыть даже в бане.

— Ну, совсем?.. — ворчала Федорка, когда одевание кончилось. — Уж второй свист сейчас будет. Другие-то девки давно на фабрике, поди, а я вот тут с тобою валандалась...

— Ума у вас нет, у девок, вот и бежите на фабрику, как угорелые!.. — важно говорил Прошка, заранее ежась от холода, который

ожидал его на улице. — Мамка, я есть хочу...

— Ладно, там дам, как придем, — говорила Федорка, торопливо засовывая за пазуху узелочек с завтраком.

Марковна почесывалась, зевала и все время охала, пока дети собирались на фабрику, а потом, когда они уходили, заваливалась на полати спать... Ленивая была старуха, и както всякое дело валилось у нее из рук. Она Постоянно на что-нибудь жаловалась и все говорила про покойного мужа, который умер лет пять тому назад.

Выйдя за дверь, Прошка всегда чувствовал страшный холод — и зимой и летом. В пять часов утра всегда холодно, и мальчик напрасно ежился в своем кафтанишке и не знал, куда спрятать голые руки. Кругом темно. Федорка сердито бежит вперед, и, чтобы держаться за нею, Прошке приходится бежать вприпрыжку... Он понемногу согревается, а ночной холод прогоняет детский крепкий сон.

II

Избушка Марковны стояла на самом краю Першинского завода, и до фабрики было с версту. В избах кое-где мелькали огни, — везде собирались рабочие на фабрику. На стеклах маленьких окошек прыгали и колебались неясные тени... По дороге то и дело скрипели отворявшиеся ворота, и из них молча выходили рабочие и быстро шли по направлению к фабрике. Иногда попадались Федоркины подружки — Марьки, Степаньки, Лушки. Вместе девушки начинали бойко переговариваться, смеялись и толкали одна другую. Эта болтовня бесила Прошку. «Дровосушки» (так звали поденщиц, которые работали на дровосушных печах) хохотали еще больше и начинали дразнить Прошку. С ними перешучивались парни, шагавшие на фабрику с болтавшимися на руках вачегами и запасными прядениками.[25]

Рабочие кучками шли по берегу заводского пруда, поднимались на плотину и потом исчезали в закопченной заводской сажей воротах караульни. Глухой сторож Евтифей вы-

глядывал из окошечка караульни и вечно что-то бормотал, а рабочие спускались по крутой деревянной лесенке вниз, к доменной печи, где в темном громадном корпусе всегда теплился веселый огонек и около него толпились рабочие в кожаных фартуках — защитках.

Федорка провожала братишку до самого пожога,[26] где он «бил руду», то есть большие куски обожженной железной руды разбивал в мелкую щебенку. Пожог стоял в самом дальнем углу громадного фабричного двора. Снаружи виднелись только серые толстые стены, выложенные из крупных камней. Внутри пожог разделялся на два дворика: в одном постоянно обжигалась новая руда, а в другом — ее разбивали в щебенку такие же мальчуганы, как Прошка, да еще две пожилые женщины, вечно завязанные какими-то тряпками. В том дворике пожога, где били руду, по утрам всегда горел костер. Федорка подходила к огню, грела свои красные руки и сердито огрызалась от пристававших к ней мальчишек-рудобойцев, усвоивших уже все ухватки больших рабочих.

Оставив братишку в пожоге, Федорка торопливо уходила к дровосушным печам, где крикливо гудела целая толпа поденщиц-дровосушек, точно стая галок.

III

Собравшись в пожоге, мальчики начинали завтракать, потому что дома обыкновенно не успевали проглотить куска.

Их было человек пятнадцать, от десяти до четырнадцати лет. Около костра образовывалось живое кольцо из чумазых лиц, торопливо прожевывающих свою утреннюю порцию.

Прошка чувствовал себя лучше в этой подвижной толпе и быстро съедал оставленный Федоркой завтрак, обыкновенно состоявший из куска ржаного хлеба и нескольких картошек. Федорка всегда умела сделать так, что и ломоть хлеба у Прошки был больше, чем у нее, и картошка лучше. А когда в доме была недостача в хлебе, Федорка отдавала все братишке, а сама перебивалась не евши. Прошка не видел этого и постоянно жаловался, что Федорка все лопает сама, а он, Прошка, всегда хочет есть...

— Эй вы, соловьи, чего расселись, — пора на работу! — кричал на мальчишек дозорный Павлыч. — Жалованье любите получать!..

Рудобойцы расходились по пожогу к своим кучам руды. У всякого было свое место, и дозорный Павлыч осматривал перед обедом, сколько кто наробил. Все робили из поденщины, по десяти копеек.

Тяжело было приниматься за эту несложную работу, и Прошка всегда чувствовал, как у него ноет спина, а руки едва поднимают железный молоток, насаженный на длинном черенке. Все обыкновенно принимались за работу молча, и в пожоге было слышно только тюканье молотков по камню, точно землю клевала железными носами стая каких-то мудреных птиц...

Прошка работал недалеко от огня и скоро согревался за работой, спина и руки помаленьку отходили.

— Ай да молодцы!.. Похаживай веселее!.. — выкрикивал главный доменный мастер Лукич, приходивший посмотреть, ладно ли ребятки крошат «крупу на кашу старухе». «Старухой» он называл доменную печь.

Лукич, широкоплечий бородастый мужик, с вечными шуточками и прибаутками, был общим любимцем на фабрике. По праздникам он подыгрывал на берестяной волынке, когда рабочие затягивали заводскую песню. Он приходил на пожог, выкуривал трубочку около огонька, шутил с ребятишками и уходил к своей «старухе».

В пожоге работали только сироты да дети самых бедных мужиков. Прошка, провожая Лукича глазами, думал о своем отце, который не пустил бы его на пожог, где работа была такая тяжелая, особенно по зимам... Другие ребятишки думали то же, что и Прошка, и в детские головы лезли невеселые мысли о той бедности, которая ждала их там, по своим углам...

— Нет тяжелее нашей работы, — толковали мальчики, делая передышку. — Из плеча все руки вымотаешь, а спина точно чужая... Едва встанешь в другой раз...

— А вот в корпусе славно робить, кто около машины ходит...

— Уж это что говорить: известное дело, — ходи себе с тряпочкой да масло подтирай; вся

твоя и работа, а поденщина та же.

— В тепле, главное.

— Страсть, как тепло. Пар из машинной так и валит, как двери отворишь!

Попасть в тепло, куда-нибудь к «машине», казалось счастьем для этих голодавших и холодавших ребятишек. Да на хороших местах перебиваются отцовские дети, а голытьбу не пустят... Вон у дозорного Павлыча сын там ходит; тоже у плотинного, у машиниста.

Дети завидовали счастливцам и еще сильнее мерзли, работая до онемения рук.

Прошка колотился вместе с другими и в общем горе забывал свое.

Время до одиннадцати часов, когда «отдавали свисток» на обед, было самое тяжелое, точно и конца ему нет.

В одиннадцать часов гудел свисток, и рабочие шли домой обедать. На плотину из ворот Евтифея высыпала толпа рабочих, поденщиц, мальчишек. Все торопились, чтобы поесть и закусить. На фабрике оставались кое-какие рабочие, которым нельзя было отлучиться от своего дела; им приносили обед на фабрику. Маленькие девочки тащились к ним с котел-

ками да бураками в руках и терпеливо дожидались, когда отцы или братья кончат обед, чтобы отправиться домой.

Когда-то Федорка тоже носила отцу обеды на фабрику, а потом — Прошка. Отец работал в главном корпусе, у обжимочного молота, и обедал тут же, присев на чугунный «стул». Прошка сначала боялся этого корпуса, где стоял всегда такой шум и так ярко горели печи; где вечно капала вода, от водяного ларя тянуло сыростью, рабочие ходили с запеченными, красными лицами; где так пронзительно свистели, что Прошка вздрагивал и боязливо озирался по сторонам.

— Испужался, Прошка? — спрашивал отец, прожевывая кусок лукового пирога или облизывая деревянную круглую ложку.

Отец Прошки был здоровенный мужик и смахивал на медведя. У него были кривые ноги, тонкие длинные руки... Когда он ворочал горевшее и сыпавшее искрами железо под обжимочным молотом, это сходство было поразительное: настоящий медведь, и только! По праздникам отец надевал простую кумачную рубаху, халат из тонкого сукна и непременно

напивался. Ребятам он покупал каждый раз пряников, когда получал двухнедельный расчет.

Это было счастливое время для семьи Пискуновых, и Прошке оно казалось каким-то сном. Незадолго до смерти отец купил даже подержанный самовар. Но потом отец надсадился, поднимая упавшую со стула полосу железа, долго лежал больной и умер, оставив семью ни с чем.

Иногда Прошке делалось ужасно скучно. Улучив минуту, когда рабочие поужинали, мальчик любил бродить по фабрике и смотреть, как везде сидели облитые потом фигуры мастеров, а около них толклись маленькие девочки с бураками и узелками. В кричном корпусе, прижавшись куда-нибудь в темный угол, Прошка долго наблюдал, как ужинает главный мастер у обжимочного молота. Вот так же ужинал когда-то и отец Прошки, а сам Прошка стоял и смотрел на него.

«Вот буду большой, тогда сам в мастера пойду...» — соображал мальчик и видел себя в мягких прядениках, в кожаной защитке и в новых вачегах, какие были у отца.

Если бы отец был жив, тогда бы и Федорка не пошла в дровосушки, потому что отцовские дочери не идут никогда на фабрику.

— Уж замуж с поденщины не скоро выйдешь, — толковали рабочие, балагуря где-нибудь около огонька. — Тут уж шабаш.

В половине первого отдавали свисток на работу, а в семь вечера — с работы.

На смену дневным являлись ночные рабочие.

Доменная печь ночью топилась точно жарче, чем днем; железные трубы дымили сильнее, и далеко неслись лязг железа, окрики рабочих и резкие свистки...

Вся заводская жизнь строилась по свистку, и Прошка подолгу смотрел на хитрую медную машину, которая ворочала всем заводом. Ему казалось, что это что-то живое и притом очень злое: вырвется белая струйка пара и загудит на весь завод, только стон пойдет...

IV

Маленький Прошка работал на фабрике уже вторую зиму. Марковна стонала с осени, — как это мальчонко будет робить в стужу, когда у него нет ни шубенки, ни валенок, ни хороших варежек!

— И то прохворал в прошлую-то зиму недель шесть, — говорила Марковна. — Уж хоть бы он помер, што ли... не глядели бы глазыньки на ребячью маету!.. А много ли заробит и с Федоркой вместе: ей двугривенный поденщины да Прошке — гривенник... В выписку[27] дён двадцать приходится, ну, и принесут домой три рубля шесть гривен. Не много уколешь на них... Вон ржаная-то мучка восемь гривенок пуд; крупа, горох... а тут обуть надо, одежонку справить!..

— Маменька, что же нам делать, ежели уж так довелось? — отвечала иногда Федорка, которой нытье матери было хуже ножа. — Вот погоди, Прошка подрастет, тогда справимся...

— Сам-то когда был в живности, так по пятнадцати цалковых приносил домой в выписку! — не унималась старуха. — Легкое де-

ло сказать... Крупчатку покупали к пасхе, говядину; на все хватало. Другие-то вон как живут, только радуются, а нам без смерти смерть...

Марковна была из зажиточной семьи и прожила с мужем лет пятнадцать в полном довольстве, поэтому ей особенно была горька настоящая нужда. Как большинство заводских баб, Марковна никакой другой работы не знала, кроме своей домашности. Когда был муж, она еще с грехом пополам ткала пестрядину, а теперь и от этой работы отбилась, — не на что было купить льна, и пустые «кросна» стояли в сенцах. Вообще самая горькая нужда обошла семью Пискуновых со всех четырех углов и давила с каждым днем все сильнее и сильнее. В пять лет вдовства Марковна успела поразмотать все, что было нажито с мужем: лошадь, корову, хорошую одежу, два покоса, стоявшие в огороде срубы на новую избу и т. д. Нужно было пить-есть, а ребята остались невелички. Слава богу, по миру еще не ходили... Только вот Федорка попала на фабрику!.. Нехорошее это дело, да быть иначе нельзя, не с голоду помирать.

— Ты, смотри, Марковна, пуще наказывай дочери-то, чтобы она не сбаловалась, — шушукали соседки.

— И то наказываю...

— Хорошенько учи, потому — какой у девки ум.

По силе возможности Марковна действительно «наказывала» дочери и часто доводила ее до слез. Федорка сначала огрызалась, потом начинала ругаться и кончала бессильными девичьими слезами. Да и как было не плакать: какая это жизнь? Работаешь, бьешься, недоедаешь, недопиваешь, в люди глаза показать не в чем, а тут еще мать пристает... У Федорки все платьишко было на себе, да плохонькая «перемывочка», то есть разное тряпье, которое надевалось во время стирки Федоркина сарафана: рубаха и юбчонка с «подзором». Летом выйти в хоровод не в чем, а зимой — на супрядки или на вечёрки. Так Федорка и сидела у себя дома, стыдясь показаться в люди в своей заводской саже. Мать понимала ее положение, но помочь не умела... Да и чем тут поможешь, когда при дорогом заводском харче троим приходилось тянуть две

недели на три рубля шестьдесят копеек? Только-только на хлеб хватало да на крупу.

V

Была у Пискуновых всякая родня, но ведь родные хороши только в богатстве да в достатке, а при бедности больше любят указывать: и то не так, и это не так, и пятое-десятое не ладно. Марковна везде по родне успела назанимать всячины — конечно, крохами — и терпеливо выслушивала всякие советы, на которые так щедра богатая родня. Федорка сторонилась от этой родни, и ее попрекали гордостью.

— Без них тошнехонько!.. — отвечала она обыкновенно пристававшей матери. — Сажу свою заводскую пойду казать им, што ли?..

К тому же наступившая вторая зима Прошкиной работы приводила Федорку в отчаяние. Где взять ему пимы,[28] шапку, шубенку?.. Ведь это, ежели считать, так рублей на семь хватит, да еще и не укупишь на семь-то, потому и варежки нужны двои на зиму-то, и рубаха, и порты...

Иногда Федорку просто брала какая-то

одурь от этих расчетов; ей наяву начинали грезиться роковые семь рублей: она с открытыми глазами видела две трехрублевых зелененьких бумажки и одну желтенькую рублевку... Часто, глядя на кого-нибудь из рабочих, она думала об этих деньгах и видела их, — как три бумажки лежат завязанные в уголок платка и тянут ее к себе. Вон у Лукича, сказывают, сколько денег-то, у дозорного Павлыча, у других мастеров, которые в выписку получают рублей по пятнадцати...

Эти неотступные мысли преследовали Федорку и дома и на работе. Таская дрова в печь и обратно, она все думала свое.

«Вот бы только вырастить Прошку, опять будет „кормилец“ в доме, и уйду с завода...»

Зато другие дровосушки, щеголявшие в кумачных платках и в ситцевых новых сарафанах, постоянно донимали Федорку разными смешками.

— Федорка, ты смотри не выйди замуж за Павлыча; он к тебе што-то больно приглядывается ноне! — кричала рябая и курносая Степанька.

— Отстань, короста...

— Девоньки, наша Федора скоро пойдет в гору... — смеялись другие дровосушки. — Она Глаза только отводит!

Дозорный Павлыч, степенный и румяный мужик, действительно засматривался на Федору.

VI

А зима уже наступала. За ночь несколько раз выпадал первый снежок, таявший на другой день. Нужно было решить вопрос о Прошкиной одежде. Федорка, когда выгружала сухие дрова из печи, несколько раз всплакнула.

Раз в углу темной дровосушки ее поймал вихлястый Антошка... Федорка тихо всхлипывала, как плачут дети.

— Федорка, да ты это што? — онемел Антошка, выпуская из рук плакавшую девушку.

— Убирайся к черту!..

— Вот те и раз!.. Федорка, да ты о чем это ревешь-то?..

— Отвяжись!

Антошка положительно не знал, что ему делать, и почесывал за ухом, стоя около Фе-

дорки. Федоркино безмолвное горе тронуло его, но он не умел даже спросить ее, о чем она ревет, и стоял, как пень...

Смущение Антошки вдруг растрогало Федорку. Она работала на фабрике третий год и еще ни от кого не слыхала доброго слова, не видела искреннего участия... Ей вдруг захотелось рассказать Антошке все, что у нее накипело на душе, и она ему рассказала, торопливо глотая слова и размазывая по лицу слезы, мешавшиеся с сажей. Антошка выслушал все, почесал в затылке и только развел руками. У него тоже не было денег. Это движение разозлило Федорку: разве она к деньгам приговаривается!.. Федорка тяжело замолчала...

— Ну, вот и осердилась! — ласково говорил Антошка, стараясь опять обнять Федорку.

— Отстань, короста!..

— Постой... А ты вот что, Федорка, — обрадовался неожиданно Антошка, — мы дело и без шубы сварганим... верно!.. И без пимов и без шубы Прошку приспособим...

— Мели пуще, пустая башка!

— Верно говорю: надо его, Прошку-то, в машинную определить. Ей-богу!.. Это уж Павлы-

ча дело. Попроси его...

— Лучше к черту пойду, а не к Павлычу.

— Ах, какая ты, Федорка! Ну, хошь, я Павлычу замолвлю словечко для тебя... Харюза [29] ему предоставлю и замолвлю...

Когда Федорка вышла из печи, замазанная потоками слез, все дровосушки покатились над ней со смеху, но она ничего не замечала: ей вдруг сделалось так хорошо и тепло. Нашелся и для нее хороший человек...

VII

Когда начались сильные заморозки, Прошка попал в самое тепло — в машинный корпус.

Устроилось это так, как говорил Антошка: принес он с поклоном живых харюзов дозорному Павлычу и в разговоре замолвил словечко за Федоркина брата Прошку, который околевал с холоду на пожоге.

— А ты что больно кручинишься за парнишку? — спросил только Павлыч, не подавая никакого вида.

— Да так... Вместе с работы ходим, так оно видно, как парнишка, значит, на холоду ги-

нет.

— Так, так... Ну, поговорю я с плотинным да с надзирателем; может, и выгорит што...

От дозорного дело перешло к уставщику, от уставщика к плотинному, от плотинного к надзирателю; надзиратель посоветовался с записчиком поденных работ, и в конце концов Прошка очутился в теплом машинном корпусе с двумя другими мальчиками, одетыми в белые холщовые блузы, замазанные ворванью и машинным салом.

Прошка долго не верил своему счастью и долгое время ходил точно в каком-то сне. В корпусе было так тепло и светло, а работа самая небольшая сравнительно с битьем руды.

— Ну хорошо тебе теперь? — спрашивала Федорка брата.

— Уж так ловко, Федорка!.. Только больно утром сон долит!.. Смерть долит сон, потому теплынь у нас.

— А ты не спи... слышал?

— Тоже вот ись[30] больно охота, Федорка...

— Ну, старайся!

От тепла и легкой работы мальчик за зиму

заметно поправился и выглядел таким здоровым и бойким. Федорка иногда любовалась им, наблюдая издали, как Прошка бегал по фабрике с другими ребятами.

— Мне, мамынька, теперь хорошо робить!.. — хвастался Прошка, когда приходил на праздник в свою избушку.

— И слава богу, а ты старайся... потрафляй, Прошенька. Ласковое телятко двух маток сосет...

— Я, мамынька, и то стараюсь!.. Когда машинист за водкой пошлет, так ровно молния дуешь в кабак, только голяшки сверкают... Верно!

Машинист в хорошем расположении духа иногда позволял Прошке «отдать свисток», и мальчик был в восторге, повертывая кран. Пар с хрипом бросался по железной трубке, и медный свисток гудел на весь Першинский завод своим волчьим воем. Прошка был в восторге, точно он собственными руками распускал по домам или собирал на фабрику сотни рабочих. Он даже с удовольствием вспоминал о недавней работе на пожоге, где теперь выматывали руки и спины на морозе другие де-

ти. Иногда он для развлечения забегал на пожог посмотреть, как маются старые приятели. Мальчики смотрели на Прошку с завистью и обещали отдуть хорошенько при случае.

VIII

Только с одним никак не мог помириться Прошка: в тепле он просто «млел» от сна и, как крыса, ухитрялся засыпать по разным потаенным углам. Особенно по утрам донимал этот мертвый сон Прошку, и он ходил около машины, как шальной. Машинист, обходя машины, не один раз вытаскивал Прошку за ухо из таких мест, куда, кажется, не пролезть и лягушке, а Прошка ухитрялся спать, как зарезанный, не обращая внимания на грохот, свист и лязг работавшей машины.

— Эй ты, черт, куда залез? — ругался машинист, задавая Прошке приличную встрепку. — Вот ужо попадешь в ремень или шестерню куда, так наотвечаешься за тебя.

Прошка скоро забывал эти хорошие советы, и его опять находили где-нибудь под вертевшимся колесом.

Раз ему машинист поручил наблюдать ка-

кой-то клапан у паровика — ослабла пружина, и машинист боялся, чтобы кого-нибудь не обожгло паром.

Дело было ранним утром. Прошка крепился, сколько мог, и кончил тем, что заснул на полу под самым клапаном. Машинист вспомнил о нем только тогда, когда из клапана вырвалась с оглушительным свистом струя горячего пара и наполнила всю машинную белой сырой мглой. Прошка был обварен паром, как рыба, и его без памяти привезли домой в таком виде, что Марковна никак не могла узнать своего Прошку. Лицо и шея у Прошки превратились в один сплошной пузырь, глаз не было видно, и кожа отставала от живого мяса лоскутьями.

Приехал заводский фельдшер, посмотрел больного, обложил его примочками и долго качал головой.

— Родимый мой... голубчик!.. Один ведь он у меня! — голосила Марковна, валяясь в ногах у фельдшера.

— Что же делать: сам виноват... Его на дело поставили, а он уснул. Будем лечить, может, и поправится.

— Да ведь мальчонка!.. Еще велико ли место! С кого взыскивать-то!.. И большой заснет в другой раз...

— Это уж не мое дело.

Дня через три Прошка как будто немного отошел и начал говорить. Федорка и Марковна не спали над ним ночей и думали, что он поправится.

Но эта надежда не сбылась: болезнь повернула круто назад, и Прошка опять впал в забытье и просыпался только затем, чтобы бредить.

Больше всего его беспокоил фабричный свисток: как только загудит, — больной мальчик порывался соскочить и начинал бредить фабрикой, искал шапку и свои коты.

Особенно была страшна последняя ночь.

Уставшая Марковна заснула на полу, а Федорка караулила больного. С утренним свистком она уходила на работу. С вечера Прошка сильно метался и бредил, а к утру затих. Федорка тоже чуть не заснула, но ее разбудил шепот больного:

— Фабрику... скорее... слышишь!..

Действительно, гудел свисток, сзывал на

работу...

Вскочила Федорка, взглянула на Прошку, а он и дышать перестал.

Со смертью Прошки у старой Марковны не осталось больше никакой надежды.

Не осталось и у Федорки надежды вырваться с заводской поденщины.

Так и сгинула вся семья.

Лесная сказка

I

У реки, в дремучем лесу, в один прекрасный зимний день остановилась толпа мужиков, приехавших на санях. Подрядчик обошел весь участок и сказал:

— Вот здесь рубите, братцы... Ельник отличный. Лет по сту каждому дереву будет...

Он взял топор и постучал обухом по стволу ближайшей ели. Великолепное дерево точно застонало, а с мохнатых зеленых ветвей пока-

тились комья пушистого снега. Где-то в вершине мелькнула белка, с любопытством глядевшая на необыкновенных гостей; а громкое эхо прокатилось по всему лесу, точно разом заговорили все эти зеленые великаны, занесенные снегом. Эхо замерло далеким шепотом, будто деревья спрашивали друг друга: кто это приехал? Зачем?..

— Ну, а вот эта старушка никуда не годится... — прибавил подрядчик, постукивая обухом стоящую ель с громадным дуплом. — Она наполовину гнилая.

— Эй ты, невежа, — крикнула сверху Белка. — Как ты смеешь стучать в мой дом? Ты приехал только сейчас, а я прожила в дупле этой самой ели целых пять лет.

Она щелкнула зубами, распушила хвост и так зашипела, что даже самой сделалось страшно. А невежа-подрядчик не обратил на нее никакого внимания и продолжал указывать рабочим, где следовало начать порубку, куда складывать дрова и хворост.

Что было потом, трудно даже рассказать. Никакое перо не опишет того ужаса, который совершился в каких-нибудь две недели. Сто

лет рос этот дремучий ельник, и его не стало в несколько дней. Люди рубили громадные деревья и не замечали, как из свежих ран сочились слезы: они принимали их за обыкновенную смолу. Нет, деревья плакали безмолвными слезами, как люди, когда их придавит слишком большое горе. А с каким стоном падали подрубленные деревья, как жалобно они трещали!.. Некоторые даже сопротивлялись, не желая поддаваться ничтожному человеку: они хватались ветвями за соседние деревья во время своего падения. Но все было напрасно: и слезы, и стоны, и сопротивление. Тысячи деревьев лежали мертвыми, как на поле сражения, а топор все продолжал свое дело. Деревья-трупы очищались от хвои, затем оголенные стволы разрубались на равные части и складывались правильными рядами в поленницы дров. Да, самые обыкновенные поленницы, которые мы можем видеть везде, но не всегда думаем, сколько живых деревьев изрублено в такую поленницу и сколько нужно было долгих-долгих лет, чтобы такие деревья выросли.

Уцелела одна старая ель с дуплом, в кото-

ром жила старая Белка с своей семьей. Под этой елью рабочие устроили себе балаган и спали в нем. Целые дни перед балаганом горел громадный костер, лизавший широким, огненным языком нижние ветки развесистого дерева. Зеленая хвоя делалась красной, тлела, а потом оставались одни обгоревшие сучья, топорщившиеся, как пальцы. Старая Белка была возмущена до глубины души этим варварством и громко говорила:

— Для чего все это сделано?.. Кому мешал красавец лес? Противные люди! Нарочно придумали железные топоры, чтобы рубить ими деревья... Кому это нужно, чтобы вместо живого, зеленого леса стояли какие-то безобразные поленницы? Не правда ли, старушка Ель?

— Я ничего не знаю и ничего не понимаю, — грустно ответила Ель, вздрагивая от ужаса. — Мое горе настолько велико, что я не могу даже подумать о случившемся... Лучше было погибнуть и мне вместе с другими, чтобы не видеть всего, что происходило у меня на глазах. Ведь все эти срубленные деревья — мои дети. Я радовалась, когда они были моло-

дыми деревцами, радовалась, глядя, как они весело росли, крепли и поднимались к самому небу. Нет, это ужасно... Я не могу ни говорить, ни думать!.. Конечно, каждое дерево когда-нибудь должно погибнуть от собственной старости; но это совсем не то, когда видишь срубленными тысячи деревьев в расцвете сил, молодости и красоты.

Люди, срубившие деревья, почти совсем не говорили о них, точно все так было, как должно быть. Они заботились теперь о том, как бы поскорее вывезти заготовленные дрова и уехать самим. Может быть, их мучила совесть, а может быть, им надоело жить в лесу, — вернее, конечно, последнее.

К ним на помощь явились другие. Они в несколько дней сложили приготовленные дрова на воза и увезли, оставив одни пни и кучи зеленого хвороста. Вся земля была усыпана щепками и сором, так что зимнему ветру стоило больших хлопот засыпать эту безобразную картину свежим, пушистым снегом.

— Где же справедливость? — жаловалась Ветру старая Ель. — Что мы сделали этим

злым людям с железными топорами?

— Они совсем не злые, эти люди, — ответил Ветер. — А просто ты многого не знаешь, что делается на свете.

— Конечно, я сижу дома, не шатаюсь везде, как ты, — угрюмо заметила Ель, недовольная замечанием своего старого знакомого. — Да я и не желаю знать всех несправедливостей, какие делаются. Мне довольно своего домашнего дела.

— Ты, Ветер, много хвастаешься, — заметила в свою очередь старая Белка. — Что же ты можешь знать, когда должен постоянно лететь сломя голову все вперед? Потом, ты делаешь часто большие неприятности и мне и деревьям: нагонишь холоду, снегу...

— А кто летом гонит к вам дождевые облака? Кто весною обсушит землю? Кто?.. Нет, мне некогда с вами разговаривать! — еще более хвастливо ответил Ветер и улетел. — Прощайте пока...

— Самохвал!.. — заметила вслед ему Белка.

С Ветром у леса велись искони неприятные счеты главным образом зимой, когда он приносил страшный северный холод и сухой,

как толченое стекло, снег. Деревья к северу повертывались спиной и тянулись своими ветвями на юг, откуда веяло благодатным теплом. Но в густом лесу, где деревья защищали друг друга, Ветер мог морозить только одни вершины, а теперь он свободно гулял по вырубленному месту, точно хозяин, и это приводило старую Ель в справедливое негодование, как и Белку...

II

Наступила весна. Глубокий снег точно присел, потемнел и начал таять. Особенно скоро это случилось на новой поруби, где весеннее солнце припекало так горячо. В густом лесу, обступавшем порубь со всех сторон, снег еще оставался, а на поруби уже выступали прогалины, снеговая вода сбегала ручьями к одному месту, где под толстым льдом спала зимним сном Речка Безымянка.

— Что вы меня будите раньше времени? — ворчала она. — Вот снег в лесу стает, и я проснусь.

Но ее все-таки разбудили раньше. Проснувшись, река не узнала своих берегов;

везде было голо и торчали одни пни.

— Что такое случилось? — удивлялася Речка, обращаясь к одиноко стоявшей старой Ели. — Куда девался лес?

Старая Ель со слезами рассказала старой приятельнице обо всем случившемся и долго жаловалась на свою судьбу.

— Что же я теперь буду делать? — спрашивала Речка. — Раньше лес задерживал влагу, а теперь все высохнет... Не будет влаги, — не будет и лесных ключиков с холодной водой. Вот горе!.. Чем я буду поить прибрежную траву, кусты и деревья? Я сама высохну с горя...

А весеннее солнце продолжало нагревать землю. Дохнул теплом первый весенний ветерок, прилетевший с теплого моря. Набухли почки на березах, а мохнатые ветви елей покрылись мягкими, светлыми почками. Это были молодые побеги новой хвои, выглянувшие зелеными глазками. Через мокрый, почерневший снег, точно изъеденный червями, пробился своей желтой головкой первый Подснежник и весело крикнул тоненьким голоском:

— Вот и я, братцы!.. Поздравляю с весной!

Прежде в ответ сейчас же слышался веселый шепот елей, кивавших своими ветвями первому весеннему гостю, а теперь все молчало кругом, так, что Подснежник был неприятно удивлен таким недружелюбным приемом. Когда развернулась цветочная почка и Подснежник глянул кругом желтым глазком, он ахнул от изумления: вместо знакомых деревьев торчали одни пни; везде валялись кучи хвороста, щеп и сучьев. Картина представлялась до того печальная, что Подснежник даже заплакал.

— Если бы я знал, то лучше остался бы сидеть под землей, — печально проговорил он, повертываясь на своей мохнатой ножке. — От леса осталось одно кладбище.

Старушка Ель опять рассказала про свое страшное горе, а Белка подтвердила ее слова. Да, зимой приехали люди с железными топорами и срубили тысячи деревьев, а потом изрезали их на дрова и увезли.

Не успел этот разговор кончиться, как показались перистые листья папоротников. В густом дремучем лесу трава не растет, а мох и папоротник, — они любят и полусвет и сы-

рость. Их удивление было еще больше.

— Что же? Нам ничего не остается, как только уйти отсюда, — сурово проговорил самый большой Папоротник. — Мы не привыкли жариться на солнце...

— И уходите... — весело ответила зеленая Травка, выбившаяся откуда-то из-под сора нежными усиками.

— А ты откуда взялась? — сурово спросила старая Ель незваную гостью. — Разве твое место здесь? Ступай на берег реки, к самой воде...

Весело засмеялась зеленая Травка на это ворчанье. Зачем она пойдет, когда ей и здесь хорошо? Довольно и света, и земли, и воздуха. Нет, она останется именно здесь, на этой жирной земле, образовавшейся из перегнившей хвои, моха и сучьев.

— Как я попала сюда? Вот странный вопрос! — удивлялась Травка, улыбаясь. — Я приехала, как важная барыня... Меня привезли вместе с сеном, которое ели лошади: сено-то они съели, а я осталась. Нет, мне решительно здесь нравится... Вы должны радоваться, что я покрою все зеленым, изумруд-

ным ковром.

— Вот это мило! — заметила Белка, слушавшая разговор. — Пришла неизвестно откуда, да еще разговаривает... А впрочем, что же, пусть растет пока, особенно если сумеет закрыть все эти щепы и сор, оставленные дровосеками.

— Я никому не помешаю, — уверяла Травка. — Мне нужно так немного места... Сами будете потом хвалить. А вот вы лучше обратите внимание вон на те зеленые листочки, которые пробиваются из-под щеп: это осина. Она вместе со мной приехала в сене, и мне всю дорогу было горько. По-моему, осина — самое глупое дерево: крепости в нем никакой, даже дрова из нее самые плохие, а разрастается так, что всех выживает.

— Ну, это уж из рук вон! — заворчала старая Ель. — Положим, старый ельник вырублен, но на его месте вырастут молодые елочки... Здесь наше старинное место, и мы его никому не уступим.

— Когда еще твои елочки вырастут, а осинник так разрастется, что все задушит, — объяснила Белка. — Я это видела на других пору-

бях... Осина всегда занимала чужие места, когда хозяева уйдут... И вырастает она скоро, и неприхотлива, да и живет недолго. Пустое дерево, вечно что-то бормочет, а что — и не разберешь. Да и мне от него поживы никакой.

В одну весну на свежей поруби явились еще новые гости, которые и сами не умели объяснить, откуда явились сюда. Тут были и молодые рябинки, и черемуха, и малинники, и ольхи, и кусты смородины, и верба; все эти породы жались главным образом к реке, оттесняя одна другую, чтобы захватить местечко получше. Ссорились они ужасно, так что старая Ель смотрела на них, как на разбойников или мелких воришек, которые никак не могли разделить попавшуюся в руки лакомую добычу.

— Э, пусть их, — успокаивала ее Белка. — Пусть ссорятся и выгоняют друг друга. Нужно подождать, старушка. Только бы побольше уродилось шишек, а из шишек выпадет семя и народятся маленькие елочки.

— У тебя только и заботы, что о шишках! — укорила Ель лукавую лакомку. — Всякому, видно, до себя...

Порубь заросла вся в одну весну и новой травой, и новыми древесными породами, так что о сумрачных папоротниках не было здесь и помину. В зеленой, сочной траве пестрели и фиолетовые колокольчики, и полевая розовая гвоздика, и голубые незабудки, и ландыши, и фиалки, и пахучий шалфей, и розовые стрелки иван-чая. Недавняя смерть сменилась яркой жизнью молодой поросли; а в ней зачирикала, засвистела и рассыпалась веселыми трелями разная мелкая птичка, которая не любит глухого леса и держится по опушкам и мелким зарослям. Приковылял в своих валенках и косой зайка: щипнул одну травку, попробовал другую, погрыз третью и весело сказал Белке:

— Это повкуснее будет твоих шишек... Попробуй-ка!..

III

С тех пор как вырубили лес у реки, прошло уже несколько лет, и порубь сделалась неузнаваемой. С вершины старой Ели виднелось точно сплошное зеленое озеро, разлившееся в раме темного ельника, обступившего порубь со всех сторон зубчатой стеной. Старая Белка, бывшая свидетельницей порубки, успела в это время умереть, оставив целое гнездо молоденьких белочек, резвившихся и прыгавших в мохнатой зелени старой Ели.

— Посмотрите-ка, что там делается, на реке, — просила старушка Ель своих бойких квартиранток. — Меня ужасно это беспокоит... Кажется, довольно здесь набралось всяких деревьев, а идут все новые... Насильно лезут вперед, продираются, душат друг друга, — это меня удивляет! Мне, наконец, надоели эта суматоха и постоянные раздоры... Прежде было так тихо и чинно, каждое дерево знало свое место, а теперь точно с ума все сошли...

Белочки прыгали к реке и сейчас же приносили невеселый ответ:

— Плохо, бабушка Ель... По реке вверх под-

нимаются новые травы и цветы, новые кустарники, и все это стремится на порубь, чтобы захватить хоть какой-нибудь кусок земли.

— Э, пусть идут: мне теперь все равно, — печально шептала старушка Ель. — Мне и жить осталось недолго.

Время в лесу шло скорее, чем в городах, где живут люди. Деревья считали его не годами, а десятками лет. Происходило это, вероятно, потому, что деревья живут гораздо дольше людей и растут медленнее. С другой стороны, существовали однолетние растения, для которых весь круг жизни совершался в одно лето, — они родились весной и умирали осенью. Кустарники жили десять-двадцать лет, а потом начинали хиреть, теряли листья и постепенно засыхали. Лиственные деревья жили еще дольше, но до ста лет выживали одни липы и березы, а осины, черемухи и рябины погибали, не дожив и половины. С лиственными деревьями пришли и свои травы, и цветы, и кустарники — эта веселая зеленая свита, которая не встречается в глухих хвойных лесах, где недостает солнца и воздуха и где могут жить одни папоротники, мхи и ли-

шайники.

Главными действующими лицами на порубе являлись теперь река Безымянка и Ветер, — они вместе несли свежие семена новых растений и лесных пород, и таким образом происходило передвижение растительности. Через двадцать лет вся порубь заросла густым смешанным лесом, точно зеленая щетка. Посторонний глаз ничего здесь не разобрал бы, — так перемешались разные породы деревьев. Зеленая трава и цветы первыми покрыли свежую порубь, а теперь они должны были отступить на берег реки и лесные опушки, потому что в густой заросли им делалось душно да и солнца не хватало.

Но среди светлой зелени лиственных пород скоро показались зеленые стрелки молодых елочек, — они целой семьей окружали старую, дуплистую ель и, точно дети, рассыпались по опушке оставшейся нетронутой стены старого дремучего ельника.

— Не пускайте их! — кричала горькая Осина, шелестя своими дрожавшими листиками. — Это место наше... Вот как они продираются. Пожалуй, и нас выгонят...

— Ну, это еще мы посмотрим, — спокойно ответили зеленые Березки. — А мы не дадим им свету... Загораживайте им солнце, — отнимайте из земли все соки. Мы еще посмотрим, чья возьмет...

Завязалась отчаянная война, которая особенно страшна была тем, что она совершалась молча, без малейшего звука. Это была общая война лиственных пород против молодой хвойной поросли. Березы и осины протягивали свои ветви, чтобы загородить солнечные лучи, падавшие на молодые елочки. Нужно было видеть, как томились без солнца эти несчастные елочки, как они задыхались, хирели и засыхали. Еще сильнее шла война под землей, где в темноте неутомимо работали нежные корни, сосавшие питательную влагу. Корешки травы и цветов работали в самом верхнем слое почвы, глубже их зарывались корни кустарников, а еще глубже шли корни берез и молоденьких елочек. Там, в темноте, они переплетались между собой, как тонкие белые волосы.

— Дружнее работайте, детки! — ободряла их старая Ель. — Не теряйте времени...

Вся беда была в том, что березы росли быстрее елочек, но, с другой стороны, елочки оставались зелеными круглый год и пользовались одни светом и солнцем, пока березки спали зимним сном.

— Бабушка, нам трудно, — жаловались Елочки каждую весну. — Одолеют нас березы летом. Они в одно лето вырастут больше, чем мы — в два года.

— Имейте терпение, детки! Ничего даром не дается, а все добывается тяжелым трудом... Дружнее работайте!..

Кусты отступили первыми; им нечего было здесь делать. Они скромно исчезли, уступив место более сильным лесным породам. Молодому осиннику приходилось также плохо: его теснили березы.

— Вы это что же делаете? — спросили Осины. — Мы прежде вас пришли сюда, а вы нас же начинаете выживать... Это бессовестно!..

— Вы находите, что бессовестно? — смеялись веселые Березки. — Только мы нисколько не виноваты... Вас все равно выгонят отсюда вот эти елочки, как только они подрастут. Вы уж лучше уходите сами подобру-поздоро-

ву и поищите себе другого места. Только мешаете нам.

— Мы им мешаем?! Мы им мешаем?! — шептали огорченные листики бедной Осины. — Это называется просто нахальством. Вы пользуетесь правом сильного. Да... Когда-нибудь вы раскаетесь, когда самим придется плохо...

— Ах, отстаньте, надоели! Некогда нам разговаривать с вами...

Плохо пришлось осинкам, когда их загнали в самый угол поруби; с одной стороны на них наступал молодой березняк, а с другой — молодая еловая поросль.

— Батюшки, погибаем! — кричали несчастные Осинки. — Господа, что же это такое? Двое на одного...

— Уходите! Уходите! — тысячами голосов кричали Елочки. — Вы нам только мешаете... Смешно плакать, когда идет война. Нужно уметь умирать с достоинством, если нет силы жить...

— А где же у нас рябины и черемухи? — спрашивал насмешник-Ветер, прилетавший поиграть с молодыми березками. — Ах, бед-

ные, они ушли совсем незаметно, чтобы никого не побеспокоить...

Большой шалун был этот Ветер: каждую веточку по дороге нагнет, каждый листочек поцелует и с веселым свистом летит дальше. Ему и горя мало, как другие живут на свете, и только самому бы погулять. Правда, зимой, в холод, ему приходилось трудненько, и Ветер даже стонал и плакал, но ему никто не верил; это горе было только до первого весеннего луча.

IV

Прошло пятьдесят лет.

От старой поруби не осталось и следа. На ее месте поднималась зеленая рать молодых елей, рвавшихся в небо своими стрелками. Среди этой могучей хвойной зелени сиротами оставались кой-где старые березы, — на всю порубь их было не больше десятка. Там, где торжествовали смерть и разрушение, теперь цвела молодая жизнь, полная силы и молодого веселья. В этой зелени выделялась своей побуревшей вершиной одна старая Ель.

— Ох, детки, плохо мне... — часто жалова-

лась старушка, качая своей бурой вершиной. — Нехорошо так долго заживаться на свете. Всему есть свой предел... Теперь я умру спокойно, в своей семье, — а то совсем было осталась на старости лет одна-одинешенька.

— Бабушка, мы не дадим тебе умереть! — весело кричали молодые Ели. — Мы тебя будем защищать и от ветра, и от холода, и от снега.

— Нет, детки, устала я жить... Довольно. Меня уже точат и черви, и жучки, а сверху разъедают кору лишайники.

— Тук, тук!.. — крикнул пестрый Дятел, долбивший старую Ель своим острым клювом. — Где жучки? Где червячки? Тук... тук... тук... Я им задам!.. Тук... Не беспокойтесь, старушка, я их всех вытащу и скушаю... Тук!..

— Да ведь ты меня же долбишь, мою старую кору? — стонала Ель, возмущенная нахальством нового гостя. — Прежде в дупле жили белки, так те шишки мои ели, а ты долбишь меня, мое деревянное тело. Ах, приходит, видно, мой конец.

— Ничего. Тук!.. Я только червячков добуду... Тук, тук, тук!..

Молодые елочки были возмущены бессовестностью дятла; но что поделаешь с нахалом, который еще уверяет, что трудится для пользы других! А старая Ель только вздрагивала, когда в ее дряблое тело впивался острый клюв. Да, пора умирать.

— Детки, расскажу я вам, как я попала сюда, — шептала старушка. — Давно это было... Мои родители жили там, на горе, в камнях, где так свистит холодный ветер. Трудно им приходилось, особенно по зимам... Больше всех обижал Ветер: как закрутит, как засвистит... Северная сторона у елей вся была голая, а нижние ветви стлались по земле. Трудно было и пищу добывать между камнями. Корни оплетали камни и крепко держались за них. Ель — неприхотливое дерево и крепкое, не боится ничего. Сосны и березы не смели даже взглянуть туда, где мои родители зеленели стройной четой. Выше их росли только болотная горная трава да мох... Красиво было там, на горе... Да... На такую высоту только изредка забегали белки да зайцы. Одна такая белка подобрала между камнями спелую еловую шишку и утащила сюда, в

свой дом, а из этой шишки выросла я. Здесь привольнее, чем на горе, хоть и не так красиво. Вот моя история, детки... Долго я жила и скажу одно, что мы, ели, — самое крепкое дерево, а поэтому другие породы и не могут нас одолеть. Сосна тоже хорошее дерево, но не везде может расти... Вот пихты и кедры — те одного рода с нами и также ничего не боятся...

Все слушали старушку с приличным молчанием, а папоротники широко простирали свои листья-перья. В молодом лесу уже водворились сырость и вечная полумгла, какие необходимы этому красивому растению. О полевых цветах и веселой зеленой травке не было и помину, а от старых берез оставались одни гнилые пни, в которых жили мыши и землеройки. Следы поруби исчезли окончательно.

Настал и роковой день. Это было среди лета. С вечера еще ветер нагнал темную тучу, которая обложила половину неба. Все притихло в ожидании грозы, и только изредка налетал ветер. В воздухе сделалось душно. Весело журчала одна Безымянка: ветер прине-

сет ей новой воды. Обновилась и зеленая травка, которую несколько дней жгло солнце.

— Эй, берегись! — свистал Ветер, проносясь по верхушкам елей. — Я вас всех утешу, только стоять крепче.

Потом все стихло. Сделалось совсем темно. Где-то далеко грянул первый гром, а туча уже закрыла все небо. Ослепительно сверкнула молния, и раздался новый, страшный удар грома прямо над лесом. Где-то что-то затрещало и зашумело. Посыпались первые крупные капли дождя, и рванулся ветер, а там — новый удар грома. Эта канонада продолжалась в течение целого часа, а когда она кончилась и буря пронеслась, старая Ель лежала уже на земле. Она рухнула под тяжестью пережитых лет и старческого бессилия. Когда взошло солнце и под его лучами ярко заблестела омытая дождем зелень, не оказалось только одной бурой вершины старой Ели...

Малиновые горы

I

Сохач сидел на корточках около огонька и наблюдал, как в чугунном котелке, подвешенном на рогатке над костром, быстро таял снег. Старик любил пить воду, добытую именно таким способом, как делают башкиры, — и вода вкуснее, и для здоровья пользительнее. Весенний лед, чистый, как слеза, и дробившийся на отдельные кристаллы, как стекло, быстро таял в котелке, и получившаяся вода покрывалась пеной. Напротив Сохача сидела его собака Чуйка и внимательно следила за

каждым движением хозяина. Чуйку занимал вопрос, отставит хозяин котелок с водой в снег или положит в него рыбы. На последнее было, правда, мало надежды, потому что до обеда оставалось еще много времени, но Чуйка волновалась каждый раз, когда хозяин оттаивал лед в котелке. Почему бы ему не заварить уху или кашу? От ухи Чуйке доставались рыбьи головы и хвосты, а от каши остатки.

— Ну, что ты глядишь-то зря? — заговорил Сохач с собакой. — Ах, глупый ты пес, и больше ничего... Понимаешь: глупый. Значит, ничего не понимаешь, кроме еды... Разве теперь время есть?

Собака слабо взвизгнула и облизнулась. Это была типичная промысловая лайка — небольшая, но крепкая, с стоявшими ушами, острой мордой, большими темными глазами и круто завернутым в кольцо хвостом. Цвет шерсти у нее был довольно странный — черный с ярко-желтыми пятнами, точно кожа у Чуйки проржавела. Сохач любил разговаривать с собакой и каждый раз читал ей какие-нибудь наставления.

— А кто съел старого глухаря, который жил в осинниках под Малиновой горой? Думаешь, съем и никто не узнает... А перья-то и остались. Ну-ка, что скажешь? Ежели бы глухаря поймала лиса, то она утащила бы его к себе в гнездо вместе и с пером, а твое-то плутовство и осталось. А кто ловит молодых зайчат? Нечего, брат, жмуриться... Известное твое ремесло. А того не понимаешь, что ежели бы зайчонка поймал волк — он бы его с шерстью слопал, ежели бы лиса или коршун — унесли бы на гнездо. А после тебя заячья шерсть и остается... То-то, брат, очень уж ты у меня плутовать любишь, а хоронить концов не умеешь.

Чуйка выслушивала эти упреки и наставления самым внимательным образом и все понимала. Старик знал о каждом новом преступлении по ее виноватому виду. Тоже совестно, хотя и глупый пес: слопает зайчика и сейчас начнет прятаться, как хороший вор.

Сохач был низенький, худенький, сгорбленный старичок с жиденькой бородкой, слезившимися глазками и утиным носом. Прозвали его Сохачом в насмешку, когда еще он

жил у себя в деревне, — сохатым, или сохачом, называют на Урале лося, громадного оленя, у которого под брюхом может свободно пройти маленькая крестьянская лошаденка. Сколько было лет Сохачу — никто не знал. Зиму и лето он жил под Малиновой горой, на берегу громадного озера Карабалык. Он сторожил и богатое рыбное озеро, и караулил лес, и стерег дичь. Поселился Сохач под Малиновой горой лет пятьдесят тому назад и мало изменился за это время. В спутанных русых волосах у Сохача не было ни одного седого волоса, а ему насчитывали на девятый десяток лет. Лесная дача принадлежала Ушкуйским заводам, а озеро башкирам, сдававшим его в аренду купцам-рыбникам. Сохач должен был получать жалованье и с заводоуправления, и с купцов-арендаторов, но никто ничего ему не платил — заводоуправление было уверено, что Сохачу платят купцы, а купцы были уверены, что Сохач получает жалованье с заводоуправления. Но купцы все-таки доставляли старику зимой хлеб и необходимую одежонку, и он жил тем, что плел из черемуховых прутьев угольные коробья, которые продавал

углепоставщикам. Все-таки Сохач считал свое жалованье и на особенной липовой палке делал резку, заменявшую ему цифры, — возьмет палку и сейчас скажет, кто и сколько ему должен.

— А ну-ка, дедушка, подсчитай, — шутили купцы, когда приезжали зимой на Карабалык ловить рыбу громадными неводами. — Возьми-ка свою липовую арифметику…

Сохач брал палку и высчитывал по сделанным нарезам, что ему приходилось получить жалованье за тридцать пять лет. Это составляло довольно кругленькую сумму, потому что по ряде[31] ему обязаны были платить пятнадцать рублей в год, значит, за тридцать пять лет приходилось получить больше пятисот рублей.

— Пора бы уж получить должок… — говорил Сохач, почесывая в затылке.

— Куда тебе столько денег в лесу, дедка? Еще бродяги узнают и убьют тебя… Пусть пока полежат у нас. Вернее дело будет…

Сохач не спорил, потому что ему действительно деньги были не нужны. Его доверчивость и простота постоянно забавляли хит-

рых купцов, которые считали старика дурачком — не совсем дурак, а из ума выжил. Крестьяне и рыбаки были другого мнения о мудреном старике. По их мнению, это был не простой человек, который только прикидывался простоватым. К нему приходили за советом, когда кто-нибудь был болен или когда случалась беда.

— Уж ты помоги, дедушка... — просили его. — Ты ведь у нас все знаешь. Каждую травку вызнал, которая к чему...

Старик редко отвечал на эти просьбы словами, а пойдет в свою избушку, пороется где-то около печки и вынесет какой-нибудь травки. У Сохача от всякой напасти была своя травка. Так он многим помогал, и его слава росла. Денег за леченье Сохач не принимал, а любил, если ему приносили яичек или какую-нибудь домашнюю постряпеньку. Зубов у Сохача давно не было, и он любил пожевать мяконькое. Сам он умел варить только кашу из проса да уху — этим и питался. Мясо Сохач не ел совсем и позабыл даже, какой у него вкус.

— А для чего я его буду есть? — удивлялся

он. — Грешно это... Все болезни у вас от мяса.

Жил Сохач на «сайме», как называют в средней части Урала рыбачьи избушки. Избушка была небольшая, но зимой, когда неводили рыбу, в ней ночевали человек двадцать рыбаков. Спать приходилось вповалку, и все рады были теплу. Сейчас за избушкой шли два сарая, в которых хранились невода и разная другая рыболовная снасть. В окна избушки было видно все озеро Карабалык и синевшие за ним невысокие горы. Озеро разливалось верст на двенадцать и, как все горные озера, было очень глубокое. Сейчас стоял уже март, снег на озере весь стаял, и посиневший лед сильно надулся. Кое-где показывались первые полыньи. В горах снег еще не думал таять, а если подвертывались теплые дни, когда солнце обтаивало верхний снеговой слой, то ночью он покрывался тонкой, как стекло, ледяной коркой, которая называется «настом».

Именно в такое светлое мартовское утро и сидел у огонька старый Сохач. В воздухе уже чувствовалась весна, хотя кругом а белел снег. Старик каждый год встречал весну, как

дорогой праздник, и радовался, что еще раз полюбуется и светлым красным солнышком, и зеленой травушкой-муравушкой, и лазоревыми цветиками, и разной перелетной пташкой. Ох, что только и будет на озере и в горах...

— Скоро, Чуйка, птица полетит, — говорил Сохач, снимая котелок с огня. — Да, брат... Будет нам с тобой праздник. Ты хоть и бессовестный пес, а тоже чувствуешь... Вот ужо мы с тобой наладим скворечник...

Сохач любил думать вслух и разговаривал с собакой, как с человеком. Это было и понятно, потому что нельзя же было молчать по целым месяцам, когда старик оставался один. Чуйка садилась против него и слушала терпеливо.

— Да, наладим скворечник, Чуйка, пора уж... Налетят скворчики, будут гнездышко вить, будут птенчиков выводить...

Слушавшая собака вдруг насторожилась и повернула голову к горе. Сохач тоже остановился на полуслове. Где-то далеко гукнул ружейный выстрел и покатился по горам громким эхом.

— Ах ты, господи!.. Кому бы это стрелять? Ведь стреляли, Чуйка?

Собака тревожно взвизгнула, — она знала выстрелы и слышала лучше. Старик пошел в избушку, надел шапку, взял ружье и проговорил:

— Ну, Чуйка, пойдем искать... Кто-то шалит в лесу. Тоже нашли время... Кого теперь стрелять-то? Креста нет на людях... Ах ты, господи-батюшко...

Наблюдая собаку, Сохач понял, что выстрел был сделан по левую сторону Малиновой горы, где по обочине шли осиновые заросли. Он только покачал головой.

— Тарас Семеныч балуется? — спросил он собаку.

Чуйка утвердительно взвизгнула. Она различала выстрелы из разных ружей.

— Ну, так и есть... — бормотал старик, тяжело ступая по снеговой тропе. — Вот человек!.. И задам же я ему... Какое теперь время-то? А?..

II

Идти до саймы Тараса Семеныча нужно было версты две. Сначала тропа пролегала по берегу озера, а потом взбиралась на обочину Малиновой горы. Сохач торопился и тревожно оглядывал блестевший на солнце снег. Наконец он остановился и проговорил:

— Так и есть!.. Ах ты, господи... Да что же это такое?

Только опытный глав старого лесного сторожа мог решить сразу, в чем дело. Покрытый настом снег отлично сохранил следы отчаянной погони. Ледяная корка точно была протыкана колышками, а по ним лентой шел след охотничьих лыж. В двух-трех местах по снегу виднелись капли свежей крови. Чуйка обнюхала след лыж и радостно взвизгнула, — она узнала по запаху Тараса Семеныча. Нужно сказать, что собака любила этого неисправимого охотника, от которого иногда ей кое-что перепадало. Чуйка время от времени ходила к нему даже в гости, чтобы поглодать косточек, а иногда и стащить что-нибудь, что плохо лежало. Дома, кроме рыбы, ничего не

добудешь, а на займе Тараса Семеныча еще издали пахло мясом. Старик любил поохотиться, и дичь у него не переводилась.

— Да, да... — повторял Сохач, шагая уже прямо по снегу. — Ах, идол... Это он козу по насту гнал... вот она уже умаялась, сердечная, и начала петли делать... А ножки в крови... больно...

Чуйка забежала вперед, остановилась у взрытого снега и жалобно завыла. Снег был утоптан и залит пятнами крови. Очевидно, несчастная дикая коза была убита здесь, и Тарас Семеныч прирезал ее тут же на снегу. От пули не было бы столько крови. «Видно, промахнулся, идол...»

Займа Тараса Семеныча была скрыта ельником, который дружной семьей высыпал на озерный мыс. Озеро называлось Ала-Куль (пегое), потому что по заводям и излучинам было покрыто широкими полосами болотистых зарослей. Карабалык было просторнее и чище, хотя в Ала-Куль рыбы благодаря зарослям было гораздо больше. В этих зарослях пряталась рыбная молодь, пока не вырастала в настоящую рыбу. Еще издали было видно, как

над ельником, окружавшим сайму Тараса Семеныча живой зеленой стеной, поднимался синей струйкой дымок.

— Ишь обрадовался... — ворчал Сохач, с трудом шагая по снегу. — Козу зарезал и печку затопил... Ни жалости, ни совести, а только свою утробу тешит.

Чуйка с радостным лаем унеслась вперед, предчувствуя хорошую поживу.

Тарас Семеныч, рослый старик с седой бородой, сидел перед своей избушкой на корточках и свежевал только что убитую козу, от которой еще шел пар.

— Ну тебя, Чуйка... — ворчал он на собаку, которая с визгом начала вертеться кругом него. — Чему обрадовалась-то, глупая?

Появление Чуйки не понравилось Тарасу Семенычу, и он с тревогой посмотрел на ельник за саймой. Наверно, сейчас и Сохач приплетется... Учуял, колдун!.. Вот тоже навязался сосед — умереть спокойно не даст. Действительно, минут через пять показался из ельника и Сохач.

— Вот чертушка-то принесло... — ворчал Тарас Семеныч, поднимаясь, и прибавил

громко: — Здравствуй, Сохач...

— И ты здравствуй, Тарас...

Гость подошел к убитой козе, потрогал ее ногой, покачал головой и проговорил:

— Кровь... большой грех...

Тарас Семеныч молчал, почесывая в затылке. Ну, теперь начнет Сохач душу выматывать.

— Што это? — спрашивал Сохач, опять трогая козу ногой.

— Как што? Разве не видишь: коза...

— А кто ее убил, козу?..

— А ты думаешь, што я? — быстро заговорил Тарас Семеныч. — Я вот тут около избы утром-то подбираю дрова, а под Малиновой как кто-то запалит... Ну, я туда... Бегу, даже задохся, и вижу, как человек какой-то бежит в гору... Это он, значит, меня увидал, испугался и убежал. Ну, а коза лежит на снегу убитая. Я ее и того... Чего, думаю, пропадать напрасно добру? Взял да вот и принес сюда... Только и всего.

— Ах, Тарас, Тарас... И козу, божью тварь, зарезал, и меня обмануть хочешь...

— Да вот сейчас с места не сойти, Сохач!.. И

не думал убивать козу... На што она мне? Эка невидаль, подумаешь... Слава богу, достаточно видал этих самых коз в лесу. Даже сколько угодно...

— Значит, видел человека, который застрелил ее?

— Своими глазами видел, вот сейчас провалиться... Как увидел меня, и сейчас в гору побежал.

— Так, так... А как же следов-то после него не осталось, Тарас? Я все время шел по твоему следу — и он вывел на сайму. Вот ты обманываешь меня, а след всю правду сказал...

Это замечание сконфузило Тараса Семеныча, и он только замычал, как бык, припертый к стене.

— Ну, говори, — не унимался Сохач. — Обманывай... ну! Сейчас все врал, ну што стоит еще приврать малую толику... Ах, Тарас, Тарас!

— Да што ты ко мне привязался со следами?! — зарычал Тарас Семеныч. — Возьми глаза в зубы и погляди хорошенько...

— Так, так... Это не человек от тебя убежал, а твоя совесть. Да... Вот следов-то и не оста-

лось. Верно говорю...

Тарас Семеныч для чего-то снял с головы шапку и сердито бросил ее оземь. Потом он молча присел к козе и принялся доканчивать свою работу. Чуйка радостно взвизгнула, ожидая лакомой подачки. Сохач смотрел на них и качал головой.

— Тарас...

Тарас Семеныч молчал.

— Тарас...

— Отстань, смола!

— Вот я гляжу на вас, Тарас, то есть на тебя да на Чуйку, — как есть, два сапога — пара.

— Ты меня к псу приравниваешь?

— А ежели у вас одно с ним ремесло? Ишь, как пес-то радуется... И ты тоже радуешься. Только пес глупая тварь, а ты должон чувствовать. Ну, убил козу, сожрешь ее в неделю, а потом опять надо убивать... Бегала бы теперь божья тваринка, радовалась, а сейчас вот только рожки да ножки останутся. Хорошо это?..

Тарас Семеныч молчал, продолжая свое дело. Рядом с Сохачом он казался великаном, и было странно видеть, как маленький, тще-

душный старичонка донимал его, точно комар.

— Ну, што ты молчишь, ненасытная утроба? — приставал Сохач. — Говори свои слова, ежели у тебя есть совесть...

— И скажу! Думаешь, ничего не скажу? А вот возьму и скажу... — сердито отозвался Тарас Семеныч. — Вот ты пристал ко мне, што я козу застрелил... Хорошо. Ежели бы и в самом деле я ее пристрелил, ну, што из этого? Ежели бы по своему зверству и другую пристрелил — опять ровно ничего... Для чего, по-твоему, создана всякая травка и всякая тварь? Нука, скажи? На потребу человека... Чуйка, цыц!.. Куды морду суешь? Да, на потребу... Значит, я взял да и пристрелил козу, потому как она для моей потребы выросла в лесу... Колют же разную домашнюю тварь: и корову, и теленка, и овцу, и свинью, и курицу. Это как, по-твоему-то, выйдет?

— А нехорошо выйдет... Вот тебе и мой сказ. Ежели можно, например, без этого жить...

— Ну, хорошо... Теперь не стали бы резать домашнюю скотину — куда бы ее деть? У ме-

ня три телушки народились, а мне всего одну под силу выкормить!

— Отдай другим, у которых нет...

— Я отдам, другой отдаст, а под конец этой самой скотины столько разведется, што она нас съест или все одно передохнет с голоду. Так я говорю? Теперь, ежели опять волк или медведь — травой они не могут себя воспитывать, как же им быть? Для чего-нибудь и они живут на свете...

— А для страху, штобы мы чувствовали... Ты себя к волку приравнял?

— А хотя бы и так... У волка свое положенье — у меня свое. Теперь возьми щуку — по-твоему, ей тиной воспитывать себя? А ежели она, например, не может и так сотворена, штобы другую рыбу есть?.. Это как, по-твоему?

Теперь уже задумался Сохач и почесал в затылке. Конечно, Тарас Семеныч любит поесть свеженького мясца ж много пролил напрасной крови из-за своего лакомства — кругом неправ человек, одним словом, а вот относительно домашней скотины и кровожадного лесного зверья действительно задал за-

дачу. Ободренный этим молчанием, Тарас Семеныч заговорил уже совсем смело:

— Вот ты меня, Сохач, укорил козой, а сам сколько рыбы съел? Тоже тварь...

— Рыба — тварь немая, и кровь у ней холодная... Она не чувствует, значит.

— Как не чувствует? Вон подцепишь ее на крючок, так как она крутится, сердешная... Значит, вполне даже чувствует. А как она мается, пока не уснет? Бьется, бьется... А ты: не чувствует, тоже и в тебе зверства достаточно, Сохач...

— Нет, рыба другое... Теперь ежели ее не ловить из озера лет с десять, так она сама вся переведется. Корму ей не хватит...

— Вот-вот... Што я тебе говорил про домашнюю скотину? Оно самое и выходит... Так-то, а ты пристал ко мне с козой.

— Ну, насчет козы совсем другая статья. Кабы тебя совесть не мучила, так ты бы не обманывал меня...

III

Старики постоянно спорили между собой. Сохач всегда нападал на Тараса Семеныча, а тот обманывал и лгал. Это были два противоположных характера, а потому, вероятно, старики очень любили друг друга. Правда, скучно жить в лесу по целым годам, но, помимо этого, есть известные привычки, с которыми трудно расстаться.

Тарас Семеныч был плутоват по натуре. Собственно, он не желал никого обманывать, но все выходило как-то само собой. Старик так привык лгать, что сам начинал верить собственным выдумкам. Ведь только чуть-чуть прибавит — глядишь, и вышло совсем другое. Тарас Семеныч обманывал с таким добродушным видом, что все, кроме Сохача, невольно верили ему. Он умел утаить и часть добытой из озера рыбы, и продавал хозяйские снасти, и забирал все жалованье вперед, и обсчитывал рыбаков, когда зимой они жили у него. И все-таки ему больше верили, чем Сохачу. Тарас Семеныч улыбался в бороду и говорил:

— Э, правдой век не проживешь!.. На што рыба, последняя тварь, и та норовит надуть. А ты не зевай, не будь дураком, не клади плохо...

Но иногда на Тараса Семеныча нападало тяжелое раздумье, особенно по вечерам. Как будто оно и нехорошо обманывать, даже совсем нехорошо... Положим, никто и ничего не узнает, а все-таки нехорошо. Старика смущало больше всего то, что Сохач каким-то чутьем слышал его обман. Посмотрит и точно насквозь видит. Другие не замечают, а Сохач видит, потому что ему это дано и еще потому, что сам он, Сохач, весь чистый и никого в жизнь свою не обманул. Правда, Сохач немного колдун, все это знают, а все-таки не обманет ни на волос. Тарас Семеныч несколько раз давая себе зарок исправиться, но выходило еще хуже: позабудет зарок и еще больше наврет. Для него оставалось единственное утешение, которое выражалось так:

— Много ли Сохачу нужно, ежели разобрать? Вон он какой кощей бессмертный — пососал корочку и сыт. А ежели меня господь такого облома уродил — всего подавай и все-

го мало...

Тарас Семеныч любил выпить и всячески подслуживался к охотникам, которые приезжали уток стрелять на озере. Лучше этого народа и на свете не бывает — приедут, постреляют, водкой напоят и еще денег дадут. По условию, Тарас Семеныч не имел права сам стрелять дичь, но он потихоньку промышлял и сбывал под секретом тем же охотникам, причем свою дачу не трогал, а забирался в делянку Сохача. Что же ей, дичи, даром-то пропадать... Сегодня убил парочки три-четыре, а завтра народится новая. Чтобы не выдавать себя выстрелами и не тратиться на порох, Тарас Семеныч ловил глупую лесную птицу силками, уток на рыболовные крючки и разными другими хитростями. Но рыба и птица были сущие пустяки, а главное заключалось не в этом. Тарас Семеныч был по натуре охотник и на своем веку загубил многое множество всякого зверя. И себе удовольствие, и другим польза. Всякому приятно свежей дичинки отведать...

Ранней весной Тарас Семеныч бил на токах косачей и в одну ночь добывал штук де-

сять. Когда Сохач его корил за это, он оправдывался смело:

— Да ведь я петухов стреляю, а тетерок не трогаю... Ни-ни, ни боже мой! Зачем тетерку трогать — это грешно, потому как она яичек нанесет и птенчиков выведет. А петуха даже следует прикончить, потому как он ни к чему... На будущую весну молодые петухи поспеют. Сколько угодно, сделай милость. Вон и хозяйка так-то делает: всех петухов прирежет, а на развод одного оставит, и довольно... Не стану я всякую птицу тоже зря стрелять, а ту, которая соответствует... На што мне гагара, напримерно? А ни к чему... Вот тоже чайка или журавль. Даже нисколько не надобны, хоть бы их и совсем на свете не было.

Тарас Семеныч охотился целый год, но самой его любимой охотой была стрельба зверя на солонце, о чем не знал даже и Сохач. Солонец, то есть соляной ключ, был за Малиновой горой, и о его существовании знал только один Тарас Семеныч. О существовании этого сокровища он никому не рассказывал, даже самым близким благоприятелям. Только бы узнали — и все потянутся туда. По внешнему

виду солонец ничего особенного не представлял. Мало ли ключей в горах, около той же Малиновой горы. К солонцу Тарас Семеныч никогда не ходил одной дорогой, чтобы не пробить тропы. По такой тропе и другие охотники живо бы добрались. С саймы Тарас Семеныч шел влево по берегу своего Ала-Куля, потом поднимался в гору, огибал сосновый бор, разросшийся на полуденной теплой стороне Малиновой горы, и спускался к речке Безымянке. На правом берегу этой бойкой горной речонки образовалось в лесной заросли крошечное озерко, вернее — водяное окно в несколько сажен ширины. Это озерко питалось водой из солонца, выбивавшегося из-под большого камня, обложенного мохом, точно ковром. Можно было пройти в двух шагах от этого солонца и ничего не заметить. Тарас Семеныч пробирался лесной гущей с величайшей осторожностью, чтобы не сломить ни одного сучка и не оставить следов. По зимам солонец не замерзал, и от него шел густой пар, садившийся на окружающие деревья красивым куржаком. Деревья стояли, точно обсыпанные серебряной пылью. Другого такого

места не сыскать было не то что под Малиновой горой, а на сотню верст кругом. Одним словом, не ключик, а прямо угодник... Пробираясь к нему, Тарас Семеныч каждый раз крестился. Очень уж хорошо было место — лучше, кажется, не придумать.

Иногда Тарас Семеныч прикидывал в уме, сколько он добыл зверя, и только качал головой. Он проживал на своей сайме около двадцати лет, а каждый год худо-худо убивал штук двадцать диких коз, штук пять оленей и в счастливые года столько же сохатых. Эту дорогую добычу он домой выносил частями, а пока прятал в лесу, где у него сделаны нарочно для этого глубокие ямы в земле. Весной он набивал их льдом, как погреба. Лучшее время для охоты совпадало с самым большим летним жаром около петровок, когда всякого зверя одолевал овод и загонял на целые дни в воду. Днем олени и козы редко выходили на солонец, а только по ночам. Тарас Семеныч забирался с ружьем на закате солнца и залегал по-волчьи где-нибудь в кустах, чтобы чуткий зверь не услышал его присутствия. Хороши такие ночи в горах... Тихо-тихо кругом, как

в пустой церкви. Каждый шорох слышно, слышно, как бьется собственное сердце. Но эта тишина только казалась тишиной, а в сущности с недалекого озера все-таки тянуло теплым воздухом, и Тарас Семеныч ложился на подветренную сторону, чтобы зверь не учуял присутствия своего злейшего врага — человека. Как-то так он лежал всю ночь и под утро заснул. Но его разбудило осторожное фырканье. Когда Тарас Семеныч открыл глаза, ему показалось, что по озерку плавает какой-то куст. Это была громадная голова сохатого с его громадными рогами. Даже было жаль стрелять такого красавца. А потом Тарас Семеныч едва вытащил из воды громадную тушу. Сохатый весил пудов тридцать. Да, бывали счастливые дни, о которых старый охотник вспоминал потом с каким-то благоговением. Это чувство поймут только завзятые охотники, каких в сущности очень немного.

Мясо, добытое на солонце, Тарас Семеныч частью сбывал охотникам, а остатки солил или вялил на солнце. Оленьи и козьи шкуры он тоже продавал — это был ходкий товар. Таким образом, солонец в год давал ему, на ху-

дой конец, рублей пятьдесят, а то и больше.

По зимам Тарас Семеныч добывал разными способами волков. Ловил их в капканы, стрелял и просто травил каким-то составом. Но волк — хитрый зверь, и этот промысел давал мало дохода.

— Он похитрее другого человека, волк-то, — объяснял Тарас Семеныч в свое оправдание. — Ты еще не подумал, а он уже сделал. Сколько они у меня одних собак передавили...

Волки действительно сильно одолевали сайму Тараса Семеныча и по зимам держали ее в осадном положении. Сколько он ни заводил собак — всех их, в конце концов, рвали волки.

— Ну какой ты после этого охотник, коли собаки уберечь не можешь? — смеялся над ним Сохач в веселую минуту. — Вон у меня Чуйка одиннадцатую зиму живет... А раньше Лыско четырнадцать годов жил.

— А ежели ты колдун — вот волки и не берут твоих собак. Значит, слово такое знаешь...

— Слова-то для всех одинаковые, а только Чуйка сама бережет себя. Глупый пес, а тут не

обманешь...

IV

Малиновые горы — один из лучших уголков среднего Урала. Особенной высотой они не отличались, но это не мешало им составлять центр громадного горного узла. Старинное башкирское название этих гор как-то потерялось, а нынешнее они получили благодаря тому, что по увалам и россыпям[32] росла в особенном изобилии малина. И какая малина — сравнить нельзя с лесной. Правда, что она была мельче лесной, но, вызревая на солнце, эта горная малина приобретала особенный вкус. Рассказывают, что в большом количестве она может даже опьянить.

С шихана[33] главной Малиновой горы открывался единственный в своем роде вид. Одних горных озер можно было насчитать до сотни, что придавало картине совершенно особенный характер, точно горами было прикрыто какое-то подземное море. Эти озера уходили далеко в благословенную башкирскую степь, где принимали уже совсем другую форму, — горные озера отличаются своей

глубиной, красиво разорванной береговой линией, массой островов, прозрачной водой и тем, наконец, что почти все соединены между собой протоками, составляя, таким образом, один громадный резервуар, из которого брали воду уходившие в степь реки; степные озера, наоборот, имеют в большинстве случаев овальную форму, мелки, вода в них буроватая, между собой они не соединены и никаких истоков не дают, за очень редкими исключениями. Вообще цепь горных озер составляет главную красоту восточного склона Урала, являясь в то же время неистощимым запасом живой силы.

Никто не знал так Малиновых гор, как старый Сохач. Для него они были чем-то живым. Перед ненастьем горы «задумывались», к ветру по вечерам они окрашивались розовым отблеском, зимой одевались в белую пушистую шубу, а весной покрывались пестрым зеленым нарядом. Сохач верил, что горы разговаривают между собой, и он сам слышал глухой гул от этих разговоров, особенно когда прокатится буйная молодая гроза, вся радостная, сверкающая, полная таинственной силы. А

после такой грозы, когда выглянет солнце, разве горы не улыбались? Все жило кругом удесятеренной жизнью и притягивало к себе жизнь, и все было неразрывно связано между собой. А весна? Разве это не молодость, безумно тратившая избыток сил направо и налево? Разве эта молодость не жила тысячью голосов, веселой суматохой и торопливой погоней за своим молодым счастьем? И вода была живая, и лес, и каждая былинка, и каждая капля дождя, и каждый солнечный луч, и каждое дыхание ветерка... Везде творилась какая-то громадная и чудная тайна, везде вершилась какая-то великая правда жизни и везде было непрерывавшееся чудо, окрыленное облаками, глядевшее тысячами глаз-звезд, переливавшееся мерцанием летних зарниц, напоенное чудным ароматом горных цветов. Разве травы не шептались между собой? Разве вода не разговаривала бесконечной волной? Разве по ночам не засыпало все — и горы, и вода, и лес? Сохач просиживал у своей избушки весенние ночи напролет, слушал, смотрел и плакал от умиления, охваченный восторженным чувством. Если бы другие могли пони-

мать, как все хорошо, как все справедливо и как человек мал и ничтожен пред окружающим его со всех сторон величием жизни. Он мог только чувствовать и не умел рассказать.

«Перелом» зимы на весну всегда вызывал в Сохаче какую-то смутную тревогу, как у человека, который собирается куда-то в далекий путь. Для Сохача весна начиналась с первой проталинкой, появлявшейся где-нибудь на солнечном угреве. Как только выглянула такая проталинка — все и пошло: косачи отделяются от тетерок, рябчики с ольховых зарослей уходят в ельники, куропатка начинает менять белое зимнее перо на красное летнее, по ранним утренним зорям слышится в глухом лесу любовное бормотанье глухаря. Тогда же начинают линять зайцы, волки забиваются в глухую лесную чащу, выходит из берлоги медведь, дикие козы любят поиграть на солногревах — все живет, все хочет жить, все полно радостной весенней тревоги. По озерам тоже идет своя работа: стоит еще лед, а рыба уже поднимается с глубоких зимних мест, ищет прорубей и полой воды, рвется к устьям горных речонок. Налим, щука, окунь,

плотва — все почуяли приближавшуюся весну.

Так было всегда, так будет и так же было сейчас. Возвращаясь от Тараса Семеныча на свою сайму, Сохач говорил Чуйке:

— Глупый ты пес, и больше ничего. Вот и нас всех не будет, а Малиновые горы останутся, и лес, и зверь, и птица... Так-то! Сколько ни жри мяса, а помирать придется... Вот оно какое дело-то! Предел, значит. Мы тут в том роде, как гости, значит, озорничать и не надобно. Тебя в гости позвали, а ты, например-но, зверство свое оказываешь...

Чуйка закусила на сайме у Тараса Семеныча свежей козлятины и только моргала глазами. Что же, пусть хозяин разговаривает и ворчит, а козлятина все-таки вкусная... Чуйка любила хозяина и не могла понять, почему он никогда не корнит ее мясом.

Вместе с весной у Сохача начинались и волнения, особенно по ночам. Выйдет старик из избы ночью и стоит. Тихо-тихо кругом, и вдруг прокатится по горам выстрел.

— Тарас Семеныч глухаря застрелил, — думает вслух старик и качает головой. — Ах,

нехорошо!

Иногда выстрелы повторялись — это значило, что Тарас Семеныч бьет тетеревов на току. Нет жалости у Тараса Семеныча…

— В этакое-то время бить птицу, когда она радуется, — укоряет Сохач приятеля. — Ну, есть у тебя стыд? Ах, Тарас Семеныч…

В период весенней охоты Тарас Семеныч делался сумрачным, не любил спорить, а больше отмалчивался. Да и о чем тут было говорить, ежели человек не понимает… Сохач объяснял это настроение по-своему.

— Ты поглядел бы на себя-то: зверь зверем, — говорил он. — Настоящий волк… Скоро на людей будешь бросаться. Ну, что молчишь как березовый пень?

— А что я буду с тобой разговаривать? Тебе с твоими-то разговорами прямо надо в монастырь идти…

— Монастырь-то ведь не стены, а душа. И ты ведь тоже очувствуешься когда-нибудь.

— Очувствуюсь?..

— Непременно… Иначе нельзя.

— По какой такой причине?

— А по той самой, что так и жить нельзя…

Какую ты птицу теперь бьешь? Она зимовала, натерпелась холоду и стужи, дождалась тепла, а ты ее и слопал... Ты будешь лопать, я буду лопать, все другие прочие будут лопать — что же тогда будет-то? Вот погоди, разорвет тебя когда-нибудь...

Сохач смотрел на все кругом, как на свое собственное хозяйство, и считал себя ответственным за каждую убитую птицу. Божья тварь всякая птица, и за нее придется дать ответ. Старик часто любовался на убитых Тарасом Семенычем глухарей, а особенно на косачей. Уж и красивая птичка... Вся наряженная да изукрашенная, точно на праздник куда собралась. И все в одно перо. Не отличишь одной от другой. А сколько в ней страху было... Всего береглась, всего боялась, соблюдала себя и вдруг ничего не надо. Ах, нехорошо обижать божью тварь! Она вот только сказать не умеет, как боится каждого человека, потому что нет страшнее зверя в лесу. Волк и тот сытый не кинется, а человек будет бить без конца. Убил и счастлив. Больше ничего не нужно.

На и этого было мало. Тарас Семеныч назо-

вет охотников, и те примутся стрелять. Господа оказывали себя еще похуже мужика, потому что и зайцев стреляют, и куликов, и сорок — кто только подвернется под руку. Удивительнее всего для Сохача было то, что некоторые господа и дичи не ели, а только стреляли. И псов таких же наведут: тоже не будет есть никакой лесной птицы, хоть ты его убей. Тарас Семеныч добывал охотой свой хлеб, а господа проливали кровь для собственного удовольствия.

V

Не успела хорошенько устроиться своя зимняя птица, как налетели гости с далекой теплой стороны. Сохач всегда караулил, как покажется первая стая. На озере к этому времени появлялись уже ржавые полыньи, лед от берегов отставал, и горные бойкие речки начинали бунтовать. В среднем Урале весна обыкновенно начинается дружно, и в каких-нибудь недели две вся картина меняется. Когда снег стает, кругом все желто, везде валяется палый осенний лист, сучья и разный сор, вообще полный беспорядок, как в доме

перед большим праздником, когда все чистят, моют и убирают, а потом сразу все покроется яркой весенней зеленью, запестреет цветами и примет праздничный вид. Да, хорошо тогда в горах...

Сохач ждал дорогих гостей дни и ночи. Какая же весна без перелетной птицы? Плохо спится по ночам старику, выйдет из избы, присядет на завалинку и слушает. В одну из таких весенних ночей, на рассвете, он услышал наконец, как в воздухе далеко и протяжно пронеслось печальное курлыканье — это летел журавлиный косяк.

...Журавли прилетели почти раньше всех, как вестовые. За ними уже быстро двинулись все остальные. Малиновые горы с испокон веков служили для перелетной птицы становищем. Она здесь отдыхала и кормилась. За журавлями прилетели лебеди, потом гуси, потом утки, закричали жадные чайки, и все озеро точно сразу ожило. Не было уголка, где бы не копошилась птица. Полыньи были покрыты точно живым серебром.

— Ну, теперь птица лед разобьет, — решил Сохач, веривший, что последний лед на озере

разбивается именно птицей. — Не выстоять ему перед такой силой-мочью. Крылом птица разобьет лед.

В этот весенний перелет горные озера под Малиновыми горами представляли единственное зрелище, потому что служили сборным пунктом для десятков тысяч всевозможной водоплавающей птицы, которая здесь и отдыхала после далекого пути, и кормилась, чтобы лететь дальше на север. На лето здесь оставалась только ничтожная часть. По ночам на озере, когда птица кормилась, поднимался такой шум, что не слышно было человеческого голоса. Сохач просиживал на берегу своего озера целые ночи и не мог налюбоваться. То-то хлопочут, кричат, наговаривают каждая по-своему, и все понимают друг друга. Большая птица, как лебеди и гуси, держалась подальше от берегов и не мешалась с остальной мелюзгой, как утки, гагары и чайки.

— У большой птицы и ума больше, — соображал Сохач. — Вон как гуси-то сторожатся... Точно солдаты на карауле. А утки как будто и подешевле будут... Куда, мол, нам за дорогой птицей.

И места выбирали себе разные: гусь не иначе возьмет, как крепкое место, куда приступу нет. Лебеди тоже, а остальная мелочь выбирала места для гнезд чуть не под самым берегом. Только бы где-нибудь приткнуться, а там уже все равно.

— И как это они все разделятся промеж себя, — удивлялся Сохач, — которой лететь дальше, которой оставаться, которой каким местом владеть?.. Нет, чтобы драка была или беспорядок, а все на совесть, по чести.

Последней прилетала болотная птица, начиная с крошечных куличков-песочников, ходивших на проволочных ножках, и кончая неуклюжими цаплями. После озера ожили и все болота, где теперь жила каждая кочка. Писк, стрекотанье, призывающие голоса... Как торопливо вились гнезда, чтобы не потерять ни одного дня. Северное лето такое короткое, и приходилось торопиться.

— Кто ее учит, божью птичку? — удивлялся Сохач.

Много лет он прожил в лесу и каждую весну не мог надивиться. Все устроено так премудро, только вот сказать никто не умеет, да

и он тоже.

Вместе с перелетной птицей появились коршуны и ястреба. Они провожали птичьи косяки и вырывали живую добычу. Много наносили беды лисицы, горностаи и ласки, которые любили полакомиться птичьими яйцами и самой птицей. То там, то сям попадались растрепанные перья и пух. Сохач обходил свои владения и только качал головой, когда находил эти следы хищничества. Птичка летела тысячи верст, хлопотала, вила гнездо и несла яйца точно только для того, чтобы попасть в зубы лисе или в когти ястребу. Это уже совсем обидно, а главное, несправедливо. Мысль о правде неотступно преследовала Сохача, и он никак не мог понять, для чего существуют такие разбойники, как волки, лисицы, ястреба, щуки и во главе их всех Тарас Семеныч. Если бы их не было совсем — другая бы жизнь пошла. А с другой стороны, раз они существуют — значит, и они для чего-то нужны. Ведь ни одна травка не вырастет напрасно. Все предусмотрено, все рассчитано, все устроено по закону — в последнем Сохач был глубоко убежден.

Весенняя суматоха скоро закончилась. Караваны перелетной птицы улетели дальше, и только ничтожная часть осталась в Малиновых горах и на горных озерах. Да и эту оставшуюся птицу нельзя было видеть, потому что самки сидели на яйцах, а самцы забрались в крепкие лесные места, заросли и гущи, где происходила линька — весеннее перо менялось на обыкновенное. Исключение представляли одни селезни, которые беззаботно плавали по озерам. Сохач целые дни бродил теперь по лесу ж горным лугам, собирая целебные горные травы. Много было таких трав, и много в них было пользы... С ними бродила Чуйка. Бедная собака страшно мучилась, потому что везде слышала притаившуюся по гнездам дичь. Идет-идет и остановится как вкопанная. Глаза горят, вся дрожит, а Сохач только погрозит пальцем.

— Ты у меня смотри, озорник... Нельзя птичку трогать. Слышишь, глупый пес? Теперь птичка деток высиживает!.. Понимаешь?

Чуйка грустно виляла хвостом и делала вид, что понимает и соглашается.

Раз поздно вечером они бродили по болоту, в котором Сохач отыскивал траву петров-крест. Чуйка вдруг радостно взвизгнула. Сохач оглянулся и увидел Тараса Семеныча, который тоже бродил по болоту с кошелем в руках.

— Тарас Семеныч, ты это зачем в болото забрел?

— Я-то? Гм...

Тарас Семеныч смутился и бросил кошель в траву. Сохач подошел, поднял кошель и только покачал головой — в кошеле были утиные яйца. Старик любил поесть яичницу из свежих утиных яиц.

— Это у тебя что, Тарас Семеныч?

— А ты погляди... — грубо ответил Тарас Семеныч — он всегда грубил, когда чувствовал себя виноватым. — Известно, яйца...

— Так, так... Хорошее ремесло: воровать утиные яйца!

— Чего мне их воровать-то? Просто набрал по гнездам...

— Конечно, наворовал... Не твои ведь яйца, ну, значит, украл.

— Разговаривай... Сам небось тоже лю-

бишь яичко съесть.

— Я куриные яйца ем. Курицу хозяин кормит, ну, значит, и берет уж свои яйца.

— Все одно, что куриное, что утиное — все яйцо.

— Кабы все одно, так ты бы не бросал мешок-то...

— А ты хоть кого напугаешь, колдун... Я думал, медведь забрался в болото...

— Нечего сказать, похож на медведя... Я-то травку собираю на пользу людям, а ты воровством промышляешь.

— Отвяжись, сера горючая!..

Старики поругались и разошлись.

Тарас Семеныч шел и ворчал: вот навязался чертушко!.. Носит нелегкая по болоту ночью колдуна. Наверно, и траву собирает какую-нибудь вредную...

Весной Тарас Семеныч избегал встречаться с Сохачом, потому что занят был своим делом. Сначала охота на токах, а потом рыбная ловля. Последняя была запрещена в это время, когда рыба из озер рвалась в горные речонки метать икру. Но Тарас Семеныч обходил закон. Ведь запрещено ловить рыбу сна-

стью, а он ловил без всякой снасти. Снимет рубаху, завяжет рукава бечевкой и наставит против течения. Надуется рубаха пузырем, набьется в нее рыбы столько, что едва вытащишь. Ну, кому от этого обида, а рыбы в озере не убавится. Сделай милость, сколько угодно ее нарастет за лето!

VI

Летние месяцы — самое тихое время в горах. Вся птица занята своими выводками и усиленно прячется в крепких, неприступных местах. Много нужно птичьего ума, чтобы сохранить выводок целым. А тут и ястреба ждут, и лисицы, и мелкие хищники, как ласки, и человек. Водяная птица терпела главным образом от ястребов, а лесная от всех. Ах, трудно жить на свете беззащитной птице, которая всего и всех боится!..

В период, когда поспевала всякая лесная ягода, Малиновые горы служили сборным пунктом для зерноядной птицы. Сюда сходились выводки с разных сторон, чтобы покормиться и земляникой, и брусникой, и черникой, а особенно сладкой горной малиной. Те-

теревиные выводки, рябчики, куропатки, глухари — все торопились отпраздновать лето. Старый Сохач особенно любил эту мирную пору и по целым дням бродил в лесу. Его удивляло больше всего то, как и птица и зверь боялись человека. Зайдешь в лес — и ни звука, точно все вымерло. Старик выбирал где-нибудь местечко на лесной опушке и прятался. Он по целым часам лежал, не шевелясь, и все наблюдал, что делалось кругом. А посмотреть было что. Стоило только притаиться, и все помаленьку начинало оживать. Начинали перекликаться птички в кустах, из травы показывались спрятавшиеся выводки, осторожно выкатывался молодой зайчик, точно клубок серой шерсти, выходили козы с козлятами — все жило своей жизнью, стоило только уйти человеку, этому самому страшному врагу всего живого. Значит, хорош этот человек, который нагонял такую панику...

Особенно любовался старый Сохач выводками. И красива эта лесная птица! С домашней не сравнить. Гуляет выводок, и все птенчики в одно перо. Не отличить одного от другого, хоть целую неделю смотри. А вот мать —

так всех знает и свой счет у ней: чуть отбился какой малыш, сейчас спохватится; чуть где хрустнет сучок — все и попрятались. Смешно смотреть на них... Тут же шмыгали зайцы. Они часто смешили Сохача, когда принимались играть — кувыркаются, прыгают, гоняются друг за другом. Ни дать ни взять — малые ребята.

— Ах, прокураты! — любовался ими старик. — Ишь радуются... Ишь балуют, косые! Ужо вас волк пугнет...

Раз Сохач был невольным свидетелем, как подкрадывалась к заячьему гнезду лиса. Он лежал в траве и услышал какой-то подозрительный шорох. Оглянулся, да так и замер — в пяти шагах от него в кустах ползла лиса. Так и ползет по траве, а сама глаз не спускает с зайчат. Видимо, она до того увлеклась своей охотой, что позабыла о всякой опасности и не замечала Сохача. Старик не шевелился и ждал, что будет дальше. Разыгравшиеся зайчата тоже не предчувствовали опасности. Лиса ползла к ним с подветренной стороны. Оставалось всего несколько шагов. Сохач видел, как она готовилась уже сделать послед-

ний роковый прыжок — собрала все тело, присела на задние лапки...

— Куда ты, бесстыдница?.. — крикнул он, выскакивая из-за своего куста.

Лисица мелькнула, как молния, зайчата тоже точно провалились сквозь землю. Сохач стоял и хохотал.

— Ах, глупые!.. Что, испугались?.. Ах, несообразная тварь!.. Меня испугались, а лису подпустили. Эй вы, глупыши, выходите!..

В другой раз Сохач сам испугался. Это случилось, когда уже поспела горная малина. Он осторожно поднимался по краю каменной россыпи, где раскинулись большие кусты малины, усыпанные зрелой ягодой. Сохач шел с кузовком и собирал ягоды. Хороша эта ягода, особенно тем, что можно ее насушить и есть зимой. И от болезней помогает — заварил сушеной малины, напился горячего отвару, и сейчас такое тепло прошибет. Прямо на пользу человеку эта ягода... Подобрался Сохач к большому малиновому кусту со своим кузовком и принялся за работу. Только вдруг слышит он, что по другую сторону куста кто-то ходит и тоже собирает малину. Сохач поду-

мал, что это какая-нибудь баба-ягодница. Он только захотел раздвинуть малиновый куст, да так и застыл — по другую сторону на задних лапах стоял громадный медведь и сосал усыпанные ягодами ветки. Он тоже заметил человека и несколько времени смотрел на него в упор.

— Ну, чего ты уставился?.. — крикнул наконец Сохач, не помня себя от страха.

Медведь начал пятиться, опустился на передние лапы и сконфуженно начал спускаться под гору. Раза два он оглянулся и сердито фыркнул.

— Вот я тебя!.. — погрозил ему кулаком Сохач. — Тоже нашел ремесло...

Медведь остановился, посмотрел на него еще раз и медленно исчез в густой горной траве. Сохач испугался по-настоящему, только вернувшись к себе на сайму. Смерть была на носу... Стоило медведю один раз ударить его своей могучей лапой, и сейчас дух вон. Пожалуй, и не дохнул бы ни разу...

Тарас Семеныч очень смеялся над приятелем и объяснил, в чем дело.

— Кабы он, медведь, значит, увидел у тебя

ружье в руках, ну, и конец бы тебе... Зверь умный, видит, что человек зря бродит по россыпи — вот и не тронул. Так-то он меня однажды версты с две провожал... Я иду по тропке, а он сторонкой за мной.

Тарас Семеныч летом тоже отдыхал, потому что и охоты не было и рыба плохо ловилась. Да и вообще он сделался какой-то угрюмый. Придет на сайму к Сохачу, посидит у огонька и уйдет. Сохачу казалось, что Тарас Семеныч хочет что-то сказать и не решается.

— Ну, как поживаешь, Тарас Семеныч?

— А ничего... Вот и лето скоро пройдет. Не успеешь оглянуться...

У Тараса Семеныча в последнее время явилась странная привычка всему удивляться, точно он видел все в первый раз. Стаял снег — он удивлялся, пронеслась первая гроза в горах — тоже, упало сухое дерево, пролетел ястреб, ухнул ночью филин — тоже.

— Сохач, птица скоро будет грудиться... — сообщал он.

— Где же еще скоро? До осени далеко...

— Как далеко?.. Не успеешь оглянуться, и осень подкатит. Удивительное это дело!..

— Ничего Даже удивительного нет...

— А зима? Ух, как завернет мороз... А потом опять весна...

— Да ты что мелешь-то, Тарас Семеныч? Как будто и не Совсем ладно говоришь...

— Разве неладно?..

— Совсем неладно... Чему ты удивляешься-то?

Раз Тарас Семеныч пришел на сайму к Сохачу ночью, в проливной дождь. Он весь был мокрый.

— Эк тебя носит, Тарас Семеныч... Хороший хозяин собаки не выгонит из дому, а ты бредешь.

— Небось пойдешь, когда дома-то...

Что было дома — Тарас Семеныч так и не сказал. Он посидел с час и собрался назад.

— Да ты куда? Переночуй у меня...

— Нет, уж я домой...

— Ну, дождь бы хоть переждал...

— Дождь-то ничего... Ну, прощай.

Уходя, Тарас Семеныч проговорил:

— Ужо заходи ко мне как-нибудь.

— Ладно...

— Я тебе одну диковину покажу.

Когда Сохач пришел к Тарасу Семенычу, то действительно пришлось удивляться. Около избы паслась живая коза.

— Это у тебя откуда коза, Тарас Семеныч?

— А сама пришла… Как-то выхожу утром, а она спит вон тут, перед самой избушкой. Я сейчас за ружье схватился… нацелил, спустил курок — осечка… А она вскочила и смотрит на меня. Глаза-то совсем ребячьи… Ах ты, тварь, думаю! Опять это нацелился… Нет, не могу выпалить. Понимаешь, точно кто меня за руку держит… Вот какое дело вышло, Сохач. Теперь вторую неделю живет коза…

— Это к счастью, Тарас Семеныч, когда зверь приживется…

Тарас Семеныч только вздохнул и покачал головой, а потом проговорил:

— Не велико счастье… Это смерть моя пришла.

— Ну, уж и смерть… Болит что-нибудь?

— Болеть ничего не болит, а только скоро помру…

— Раньше смерти никто не помирает…

— Нет, уж так… Ну, не стоит об этом разговаривать.

Коза паслась около саймы, как у себя дома. Она даже не испугалась Чуйки, которая сначала залаяла на нее, а потом хотела поиграть. Сохач долго любовался красивым животным и хохотал над Чуйкой. Вот глупый пес...

VII

С Тарасом Семенычем действительно было нехорошо. Он скрывал свою болезнь, да, собственно, и назвать ее не умел. Вообще неможется, как говорят простые люди, и от еды отбился, и сна нет, и разная дрянь в голову лезет. Ну, взять хоть ту же козу — чего, кажется, проще, а она измучила Тараса Семеныча. Нейдет эта самая коза с ума, и конец делу. К чему? зачем? в каком смысле? Только раз старик почти догадался — смотрел, смотрел на козу, и показалось ему, что он точно где-то видел ее раньше. Вон и отметинка есть на правой задней ножке, и одно ухо как будто поменьше, а главное — глаза. Ну, вот видел ее раньше, именно эту самую козу видел, и конец. А потом старик испугался: ведь это та самая коза, которую он тогда по насту загнал. Она самая...

— Да ведь ты съел ее тогда? — удивлялся Сохач.

— Известно, съел… Сам знаю. А все-таки та самая…

— Ну, это тал, блазнит[34] тебе, Тарас Семеныч… Мало ли ты таким манером по насту коз загонял на своем веку!

— Был грех, Сохач… Ох, большой грех!

— Говорил я тебе…

— Тогда другое было, и я был другой, а вот теперь мне ее и даром не надо, значит, козу… Я и простой-то говядины видеть не моху. Както пришла проведать меня из деревни племянница и принесла гостинцы, а я и глядеть не могу. С души воротит, как только подумаю… Я эту племянницу ужо возьму к себе на осень. Скучно одному-то…

— Тоже и придумает человек: скучно! Нет, Тарас Семеныч, ты повредился… Ужо я тебе травку такую дам, пользительную.

Попробовал Тарас Семеныч пить пользительную травку, но и это не помогло, а точно сделалось даже хуже. Главное, делалось ему хуже по ночам: мается, мается, а заснуть не может. Лежит и все слушает… Вот легкий ко-

зий топот, вот ударил копытом матерый сохатый, вот пискнул смертельно раненный заяц, а там со свистом проносится утиная стая, перекликаются рябчики, жалобно курлыкают журавли и где-то безостановочно бежит по камням бойкая горная речонка — вода так и бурлит. Тарасу Семенычу стоило закрыть глаза, как все эти звуки поднимались разом, и он чувствовал, как со страху его охватывает холодная дрожь. Он просиживал целые ночи у окна — это было легче. За какой-нибудь месяц старик страшно исхудал.

— Скоро помру... — говорил он Сохачу, когда тот приходил его проведать. — Вот только птица отлетит в теплую сторону, и я за ней...

— Пожалуй, и то помрешь, — соглашался Сохач. — Все мы так-то: живем долго, а помрем в один день.

К осени на сайме у Тараса Семеныча поселилась его племянница, совсем маленькая девчонка. Толку от нее было мало, а все-таки веселее, когда живой человек. Очень уж спать любила девчонка, и ночью ее не добудишься. Спит, как зарезанная. А все-таки лучше... Не так страшно, когда живой человек ря-

дом.

— Эй, Матрена Ивановна, будет спать-то, — будил ее старик. — Спишь, как барыня городская...

Старик был убежден, что городские барыни только и делают, что едят и спят. Что им делать, барыням... Вот и Матрена Ивановна тоже дрыхнет, хоть из пушки в нее стреляй.

Было уже несколько холодных ночей с еще более холодными осенними утренниками, когда трава серебрилась от инея. Небо все чаще и чаще покрывалось тучами. Дул холодный северный ветер, точно гасивший последние летние краски. Птица уже грудилась в стаи. Старые учили молодых летать, и над озерами носились громадные стаи уток.

«Теперь уж шабаш: ничего мне больше не нужно, — думал Тарас Семеныч. — Пусть все летят... да».

А по ночам его все сильнее и сильнее преследовали разные видения. Раз было так, что избушку окружили все убитые им звери и птицы... Старик дрожал от страха. Их было целое полчище, и все рвались в избушку. Он слышал, как в дверь царапались птичьи ког-

ти, как торопливо стучали козьи копытца, как рыл землю сохатый... Если бы все разом бросились на него — задавили бы в один миг.

— Господи, что же это такое? — стонал Тарас Семеныч.

И все это он убил, и все съел...

Когда приходил проведать Сохач, Тарас Семеныч ничего не рассказывал о своих ночных муках. Старый колдун еще посмеется и скажет, что так тебе и надо.

— Вот журавли полетят, и я с ними, — говорил Тарас Семеныч совершенно спокойно. — Что же? Будет, пожил!

Сохач молчал. Он не боялся думать о смерти.

Раз Сохач не был на займе у Тараса Семеныча дня три и вспомнил о нем, когда услышал жалобное курлыканье первой журавлиной вереницы. Старику сделалось даже совестно, и он торопливо сейчас же отправился навестить приятеля. Когда он уже подходил к займе, Чуйка жалобно взвыла.

«Ох, неладно...» — подумал старик.

Тарас Семеныч лежал мертвый. Коза убежала из своей загородки накануне, и это так

его поразило, что старик уже не поднимался больше со своей лавки.

На пути (Из рассказов старого охотника)

I

Мне пришлось заночевать почти на самом горном перевале, на правом берегу бойкой горной речонки. Ночлег был выбран проводником с расчетом именно, чтобы иметь защиту от холодного северного ветра. Охотник Артемий провел меня лишнюю версту, пока мы добрались до заветного уголка.

— Уютное место, — повторял он, утешая меня, так как я сильно устал и едва передвигал ноги. — Там, значит, промысловая избуш-

ка стояла. По осени или зимой охотники ночевали... Ну, теперь-то избушки нет, а место все-таки осталось.

Подъем по горному ущелью труден вообще, а уставшему человеку кажется бесконечным. Неизвестно кем протоптанная тропинка постоянно теряется в камнях. Ноги ступают неверно, дышать трудно, в висках стучит кровь. А тут еще почти над самой головой несутся низкие осенние облака; кругом серо, и быстро надвигается длинная осенняя ночь. Безымянная горная речка пробила себе дорогу по каменистому дну ущелья и несется вниз с глухим ропотом, точно сердится на те камни, которые загораживают ей путь. Растительности на этой высоте уже совсем мало. По скалам лепится только гарная ель, искривленная, низкая, точно сгорбившийся человек, который с трудом карабкается на эти каменистые кручи. Самые камни покрыты разноцветными лишайниками; между камнями кой-где желтеет мох, и только изредка попадаются небольшие полянки, покрытые травой. Настоящий лес остался далеко внизу — и густая трава, и цветы. Между камнями топор-

щатся только мохнатые каменки да изредка покажется фиолетовый колокольчик; трава же сухая и жесткая, как в некоторых болотах.

— Ну, вот мы и дома! — проговорил Артемий, когда мы вышли на небольшую поляну.

Ночевать в горах под открытым небом не особенно приятно, но делать нечего, приходилось мириться. Хорошо и то, что хоть не будет донимать холодный горный ветер. Я присел на большой камень и смотрел, как Артемий разводил огонь. Что может быть лучше огня, когда он горит в таком ущелье? Это сама жизнь! Сидя у себя дома, не оценишь в достаточной мере всех благодеяний, которые дает человеку огонь. Недаром сложилась греческая легенда, что огонь был похищен с неба. В данном случае костер не только согревал нас, но и освещал. Я любовался всполохами красного пламени, расходившимися полосами света, то исчезавшими, то появлявшимися очертаниями ближайших скал, камней и деревьев. Картина принимала фантастический характер, точно в какой-нибудь сказке.

— Вот мы и самовар на палочке поставим, — говорил Артемий, устраивая поход-

ный медный чайник над огнем. — Хорошо теперь чайку горяченького напиться... нет этого лучше: усталость как рукой снимет.

Я до того устал, что не мог даже отвечать Артемию. Кажется, взял бы лег, протянул натруженные ноги да так больше и не вставал бы. Даже горячий чай не соблазнял... Артемий был привычный человек и по целым неделям мог ходить по горам. Устроивши над огнем чайник, он сейчас же принялся устраивать походную постель: срубил две елки, очистил хвою и разложил мягкие зеленые ветки по земле. Потом куда-то скрылся и вернулся с целой охапкой травы.

— Откуда это ты набрал травы? — удивился я. — Здесь такой травы не растет...

— А вот растет, барин. Избушка-то стояла; ну, от нее и пошла всякая трава... Это уж завсегда так бывает: где жилье, там и сорная трава растет. В горах-то сама она не растет, а за человеком придет... Сейчас видно, где стоянка была... Тоже и трава разная бывает, как все равно и люди... Одна трава сама идет и в гору, и под гору, а другая за человеком ползет.

Он выдернул из охапки несколько розовых

цветов и показал мне.

— Вот этой травы здесь не было в третьем году, а теперь пришла, — объяснял он. — По ту сторону Урала ее много растет по степи, — татарским мылом называется. Ну, там-то она у себя дома и другой вид имеет: высокая, цветы больше, а здесь она какая-то захирелая. Трудно ей...

— Почему трудно?

— А как же? Вот ты устал в гору подниматься, и травка тоже устает... Она ведь тоже идет; ну, а тут ее и холодным ветром обдувает, и морозит, и водой горной смывает. По ту сторону перевала этой травы совсем нет. Немножко уж ей осталось идти... Лет через десять переберется, а там, как спустится с горы, опять укрепится.

— И много таких трав, которые идут через перевал?

— Есть достаточно... Только вот я не умею сказать, как они называются. Бродишь по горам, ну, и примечаешь: тут одна трава, там другая, третья... Степная трава сама по себе, горная трава сама по себе. У каждой свой предел... По ту сторону Урала ковыли, полынь, а

здесь их нет.

— Как же трава через горы идет?

— Мудреное это дело, барин... Может быть, другая травка не одну сотню лет перевалива-ет через горы. Где ветром семечко перенесет, где птичка поможет, где скотина, али чело-век... В гору-то ей, ох, как трудно поднимать-ся! Ну, а под гору — живой рукой, потому во-да сносит семечко. Точно человек, эта самая травка: под гору-то куда легче спускаться.

Охота поневоле способствовала развитию наблюдательности Артемия, хотя он и не мог назвать многих растений или называл их местными именами, как «татарское мыло». Меня этот разговор очень заинтересовал, и я внимательно рассматривал траву, принесен-ную Артемием.

Артемий приготовил чай, и мы долго сиде-ли около огня. Кругом было уже темно. Гор-ные ночи холодны. Время от времени Арте-мий подбрасывал в костер хворост и сухие су-чья, и пламя вырывалось красными языками. Я улегся на приготовленную постель, при-крылся сверху охотничьим пальто и мечтал с открытыми глазами.

— Как речонка сегодня шумит, Артемий!..

— А это она от осенних дождей разыгралась, барин. Летом то пересыхает совсем, а теперь вот бурлит, точно настоящая река. Много таких речушек сбегает с перевала... Дальше-то вместе соберутся в озеро, а из озера уж настоящая река выбегает. Много таких горных озер и глубокие...

Где-то прокуковала кукушка. Артемий вслух считал кукованье и остановился на двенадцати.

— Еще осталось мне двенадцать годов жить, — заметил он. — Бабья примета...

— Ты веришь этой примете?

— Верить не верю, а бабы болтают... Ну, барин, пора и на боковую. И ты, поди, притомился за день-то. Утро вечера мудренее... Вот я тут на всю ночь топлива натаскал. Около огонька-то как-нибудь перебьемся, только бы дождь грешным делом не пошел.

Расположившись около огня, Артемий сейчас же заснул. Слышно было, как он ровно дышал. Я же лежал с открытыми глазами и мог только завидовать ему, потому что от сильного утомления, как говорится, сон был

переломлен: хотелось спать, и что-то мешало. В голове целыми вереницами тянулись самые разнообразные мысли. Я смотрел на горевший огонь и прислушивался к шуму бурлившей в двух шагах речонки. Куда она бежит, эта горная светлая вода? С перевала она спустится в озеро, из озера выльется большой рекой, а там дальше попадет в Тобол, в Обь, в Северный Ледовитый океан. На этом пути вода много поработает: будет сносить песок и камни, будет подмывать берега, будет вертеть мельничные колеса, понесет на себе лодки и барки, будет поить людей и животных и кончит тем, что там, на севере, превратится в ледяные горы. Работа воды вообще громадная. В течение тысяч лет она превращает целые скалы в песок и глину, делает громадные наносы и вообще изменяет видимую поверхность земли.

II

Мне вообще что-то не спалось. Да и холодная эта осенняя ночь в горах. Около огня грелся один бок, а другой мерз. Нужно большую привычку, чтобы спать в такую ночь под открытым небом, и я долго поворачивался с боку на бок...

А безымянная речка все говорила и говорила... Я вслушиваюсь в ее шепот, и вот мне кажется, что я начинаю разбирать отдельные слова.

— Скорее, скорее... — казалось, шептала вода, журча по камням. — Ах, как далеко мне бежать! Нужно торопиться... Скоро наступит зима, и можно замерзнуть где-нибудь на дороге. Скорее, скорее... Я уже не в первый раз делаю этот путь. Добегу до моря, потом поднимусь кверху туманом, соберусь в тучи и вернусь опять сюда дождем или снегом. Ведь я везде нужна: без меня все бы умерло. Ах, скорее, скорее!..

— А я здесь полежу, пока ты путешествуешь, — лениво ответил большой камень, обросший лишайником. — Мне и здесь хоро-

шо...

— Ах ты, лежебок, лежебок!.. Вот погоди, как-нибудь весной я тебя скачу под гору! — бормотала вода. — Я уже много таких камней стащила вниз... Смешно даже смотреть, как тяжелые увальни кубарем летят под гору. Пока до свидания!.. Скорее, скорее!..

— Мне эта вода много неприятностей наделала, — проговорило усталым голосом татарское мыло.

— И мне тоже... — тоненькими голосами ответили какие-то зеленые травки.

— Я давно иду оттуда, из степи... — рассказывало татарское мыло. — Там у меня был хороший друг — ветер. Он разносил мое семя во все стороны. Да... А как я добрался до гор, и пошли неприятности. Вот уже больше пятидесяти лет взбираюсь на перевал и не могу дойти. По нескольку лет иногда торчу на одном месте, а то и назад приходится спускаться. А все вода: то корни у меня подмоет, то все семя унесет под гору... Вообще очень трудно, господа!

— Трудно, трудно, — ответила зеленая травка. — У тебя и вид такой усталый. Впро-

чем, когда переберешься туда, через горы, там отдохнешь.

— Когда-то еще переберусь, братцы!.. — ворчало татарское мыло. — А вы куда?

— Мы тоже на ту сторону перебираемся помаленьку... Ах, как трудно!.. Только бы перебраться... Там, говорят, очень хорошо.

— Где это хорошо? — спросил худенький желтый цветочек, спрятавшийся меж камнями.

— А по ту сторону гор...

— Ну, я оттуда иду и могу сказать, что не особенно-то... Я едва перелез через горы.

— А далеко еще до вершины?

— Порядочно... Я не один шел, да другие отстали на полдороге.

Тут все заговорили разом, так что я не мог разобрать, в чем дело. Больше всех волновалось татарское мыло.

— Не верьте ему! — повторяло оно с особенным азартом. — Я знаю, там хорошо... Иначе не стоило идти так далеко.

— Вот увидим... Да, увидим! — шептала скромная зеленая травка. — Недаром говорится, что там хорошо, где нас нет. Уж пошли,

так нужно идти... Мы не какая-нибудь сорная трава, которой все равно, где ни расти. У нас своя дорога... да! А там увидим, что будет...

— А как у вас там, в степи? — спрашивал в свою очередь желтый цветочек.

— Ничего... Как кому, — кто что ищет...

— Мне бы где-нибудь около болота поселиться, — мечтал вслух желтый цветочек. — Я люблю сырые места...

— Ну, в степи тебе, пожалуй, трудно придется, потому что там мало воды. Там больше солонцы, а на них растут только ковыль да полынь... Впрочем, эти желтые цветы везде проберутся. Довольно нахальный народ...

Последнее замечание вызвало горячий спор, так, что я даже проснулся. Да, все это был сон, но сон очень правдивый. Уже светало. Вершина горы была закутана густой мглой. Огонь погас, и я чувствовал, что продрог до костей.

— Артемий, вставай!..

Опять весело загорелся огонь. Артемий вскипятил воду в чайнике. Мы на скорую руку выпили по стакану чаю и отправились на перевал — оставалась всего какая-нибудь вер-

ста. Правда, приходилось карабкаться порядочно, обходить большие камни и вообще преодолевать большие препятствия.

— Ну и дорожка!.. — ворчал Артемий, зевая спросонья.

Наконец мы поднялись на самый перевал. Небо несколько прояснилось, и можно было видеть далеко по ту и по эту сторону Урала. Мы стояли на самой границе, отделявшей Европу от Азии. Урал являлся громадным каменным порогом, через который с таким трудом азиатские растения переходили в Европу, а европейские в Азию.

На реке Чусовой

I

По западному склону Уральских гор сбегает много горных рек и речонок, которые составляют главные питательные ветки бассейна многоводной реки Камы. Между ними, без сомнения, по оригинальности и красоте первое место принадлежит реке Чусовой, которая прорыла свое каменистое ложе сквозь скалы и горы на расстоянии нескольких сотен верст. Эта горная красавица представляет для судоходства почти непреодолимые препятствия, и поэтому нам особенно интересно

познакомиться с тем, как преодолевает это препятствие простой русский мужик, даже не знающий грамоты. Свое начало Чусовая берет немного южнее Екатеринбурга, сначала течет на север, а потом медленно поворачивает к северо-западу, пока не впадет в реку Каму выше города Перми верст на двадцать.

Сплавная часть Чусовой, то есть та, по которой возможно судоходство, тянется на 600 верст. Средняя часть этого течения, занимающая верст 400, составляет самую живописную полосу Чусовой и кончается как раз в том месте, где проходит через реку Уральская железная дорога. Здесь Чусовая выбегает окончательно из «камней», как бурлаки называют горы, и дальше уже течет по низменной равнине, где берега только иногда поднимаются высокими буграми, и на них, как исключение, попадаются те страшные прибрежные скалы, которые бурлаки называют бойцами. Самая красивая часть Чусовой вместе и самая опасная для плывущих барок: у бойцов «бьются» не только барки, но и люди гибнут десятками.

На всем своей протяжении Чусовая пред-

ставляет совершенно пустынную реку, где прибрежные селения являются каким-то исключением. Правда, на Чусовой стоят несколько больших заводов, которые, конечно, оживляют реку, но их слишком мало; затем остаются пристани, откуда отправляются барки; но пристани оживляются едва на один месяц в году, на время весеннего сплава, а на все остальное время точно засыпают...

А между тем Чусовая имела и имеет громадное значение для Урала, потому что по ней ежегодно сплавляется больше шести миллионов пудов разных грузов, одних бурлаков на чусовских пристанях каждую весну собирается до двадцати пяти тысяч человек.

Несколько лет тому назад мне случилось проплыть без малого всю Чусовую с весенним караваном, о чем я и хочу вам рассказать.

В последних числах апреля месяца, когда на открытых местах снег уже стаял и показалась первая бледная зелень, я подъезжал по самой ужасной дороге к одной из верхних чусовских пристаней. На Чусовой стоял еще лед, рыхлый я ржавый; в лесу лежал почерневший снег, но в воздухе уже чувствовалась вес-

на, и с неба лились волны теплого весеннего света, заставлявшего высыпать из-под прошлогодних листьев зеленые усики молодой травки и набухать ветви берез, рябин и черемухи. Весна на Урале, как и в других северных или гористых местах, наступает быстро, разом, так, что, собственно, пожалуй, и нет той весны, какая бывает на юге: переход от зимы к лету слишком резок, как и переход от лета к зиме.

В первую минуту я не узнал знакомой пристани, на которой бывал несколько раз летом и зимой. Обыкновенно тихая деревушка, с полсотней изб, облепивших крутой берег, теперь походила на живой муравейник, где копошились тысячи черных точек. В воздухе там и сям слышалась «Дубинушка»:

Ой, дубинушна, ухнем!
Раззеленая, подернем...

Улицы были запружены бурлаками, так что экипаж мог пробраться только шагом. Сейчас за деревней, на низком мысу, стояло десятка полтора почти совсем готовых барок, оставалось только кое-где проконопатить па-

зы (отверстия между досками) и залить их варом. Эта работа была не трудная, и совсем готовые барки только ждали момента, когда на реке тронется лед, чтобы всплыть на вольную вешнюю воду.

— К Ермолаю Антипычу, — сказал я своему кучеру.

— Ладно...

Моя повозка остановилась у низенького, одноэтажного дома с большими окнами, выходившими прямо на реку. Я всегда любил этот низенький бревенчатый домик, в котором было так тепло и уютно, а между фуксиями и геранями, которые стояли на окнах, каждый раз мелькало розовое, улыбающееся личико маленькой девочки, Любеньки. Нужно сказать, что мы были большими приятелями, и Любенька звонко встречала меня каждый раз одной фразой: «Папа, папа! Городской человек приехал!» Любеньке было шесть лет с небольшим, и она нигде не бывала, кроме своей пристани, потому я и получил у нее название «городского человека».

— А то как же? Вы даже в Москве бывали и в Петербурге, — говорила девочка, недоверчи-

во поглядывая на меня светлыми глазками. — Конечно, городской, а вот я — деревенская...

В первый раз, когда Любенька услыхала, что я бывал в Москве и Петербурге, она долго не хотела верить такому чуду: никто из пристанских не заезжал в такую даль. Москву и Петербург можно видеть только в книжках с картинками. Только когда Ермолай Антипыч убедил маленькую дочурку, что я действительно был так далеко, Любенька наконец поверила и назвала меня городским человеком. Впрочем, по выражению ее глаз я иногда замечал, что она сомневается в своем городском человеке и производит ему маленький экзамен.

— Папы нет дома, — заявила Любенька на этот раз. — Он на берегу, где строятся барки...

— Городской человек устал, Любенька, и хочет чаю.

— Сейчас я скажу Марфе.

У Любеньки не было матери, которая умерла года три тому назад, и всем хозяйством в доме заправляла ворчливая, старая Марфа. Домик Ермолая Антипыча разделялся на четыре небольших, уютных комнатки, из кото-

рых одна была занята кабинетом Ермолая Антипыча, в другой жила Любенька, а две последних носили громкое название гостиной и столовой, хотя могли быть названы и иначе, потому что в столовой, например, стояла кровать хозяина, а в гостиной — его длинный письменный стол.

— Вы кстати приехали, — говорила Любенька, пока я в гостиной разминал разбитые дорогой ноги.

— А что...

— Да так... Река скоро тронется, будет очень весело. Барки мимо нас побегут. Потом свой караван будем отправлять... Как же!.. Из пушки будут стрелять на берегу... Я боюсь, когда из пушки стреляют...

— А когда, Любенька, Чусовая тронется?

— С часу на час ждут... Сплавщик Илья у нас вчера чай пил и говорил, что скоро уж. Барки готовы, бурлаки собрались... Да...

Маленькая хозяйка рассказала мне последние пристанские новости, которые, главным образом, вертелись все около того же сплава.

— Снега нынче глубоки, — серьезно рассказывала Любенька, — Илья боится, как бы

дружная весна не ударила... По высокой воде много барок убьется.

Девочка передавала только то, что сама слышала от других, и говорила тем языком, каким говорят только на Чусовой: «барка убьется», а не разобьется, потому что для сплавщика Ильи барка — не мертвая посудина, а живое существо: «ударит дружная весна», «снега выпали глубоки», «река тронется» и т. д.

II

Едва Марфа успела подать кипевший самовар, как в передней послышались голоса Ермолая Антипыча и сплавщика Ильи.

— У нас городской человек, папа, — докладывала Любенька, выскочив навстречу отцу.

— Мы гостям рады, — отвечал Ермолай Антипыч, появляясь в дверях.

— Здравствуйте, Ермолай Антипыч, — здоровался я, пожимая руку хозяина. — Как поживаете?

— Чего нам делается: живем с Любенькой, как чирки в болоте. А вы к нам на сплав?

— Да, хотелось бы сплыть на караване до

Перми...

— Что же, доброе дело: место найдется. Вот я Сейчас же и передам вас с рук на руки Илье... Где ты, Илья?

— Я сейчас, Ермолай Антипыч, — отозвался из передней Илья, — грязищи натащил на сапогах с улицы-то, надо обтереть, а то всю горницу вашу изведу...

— Да иди, ничего: грязь не сало, — высохло, отстало...

— Нет, это уже не порядок! Как же можно... Да барышня-то меня в другой раз и не пустит в горницу.

Сплавщик Илья наконец вошел в горницу, помолился в передний угол на образ и, тряхнув подстриженными в скобку волосами, поклонился на все три стороны, хотя в горнице, кроме нас троих, никого не было. Это был небольшой, сухонький старик с козлиной, темной бородкой, вылезавшей поверх синего, сермяжного кафтана клинушком: худое, желтоватое лицо Ильи не отличалось ничем особенным, за исключением глубоко ввалившихся, необыкновенно живых серых глаз, которые смотрели на все режущим, прищурен-

ным взглядом. Короткие, кривые ноги Ильи ступали медленно и крепко, точно шагал какой богатырь; сгорбленная спина и вытянутые, длинные руки делали его фигуру очень некрасивой на первый взгляд, но такие спины и руки бывают только у тех тружеников, которые работают, не жалея себя.

— Ну, здорово живете, — проговорил Илья, расставляя широко ноги и засовывая одну руку за красную шерстяную опояску, которою был перехвачен его синий кафтан.

— Здравствуй, Илья... Садись, так гость будешь.

Мы просидели за чаем незаметно целый час; разговор шел все время о Чусовой: когда она тронется, да как высока будет вода нынче, да не ударила бы дружная весна и т. д. — по пословице: у кого что болит, тот о том и говорит. Такие разговоры в квартире Ермолая Антипыча, вероятно, происходили последнее время изо дня в день, но они никому не надоедали, как не надоедает музыканту говорить о музыке, охотнику — об охоте, актеру — о театре. Даже Любенька не находила эти разговоры скучными и вставляла в них тоненьким

голоском свое детское словечко. Илья любил «испить чайку» и пил стакан за стаканом, пока оставалась вода в самоваре, причем, как мышь, отгрызал свой кусочек сахару и постоянно стряхивал крошки с него себе в блюдечко; старая Марфа всегда сердилась на старика за его «аппекит» к чаю, потому что после господ любила сама побаловаться около самовара, а тут изволь-ка ставить для себя другой.

— В чего он только пьет, этот ваш Илья? — ворчала Марфа, сердито убирая пустой самовар со стола. — Дорвался до господского чая, рад ведро выпить.

— Теперь мы на берег сходим, — предлагал Ермолай Антипыч, обращаясь ко мне. — Вы, поди, не знаете, как и барки-то строятся?

— Нет.

— Вот Илья вам все, как по пальцам, расскажет...

Мы вышли. Весь берег Чусовой был запружен бурлаками; на мыске, где стояли магазины и совсем готовые барки, люди шевелились, как живая муравьиная куча. От домика Ермолая Антипыча до мыска было с полверсты, и мы все время шли между живыми сте-

нами. На время сплава на чусовские пристани народ набирается со всех сторон: из ближайших уездов Пермской губернии, из Вятской, Уфимской и даже Казанской. Некоторые бурлаки приходят на сплав за целую тысячу верст. Такой дальний путь в весеннюю распутицу требует недель пять и крайне тяжело отзывается на бурлаках: испеченные на солнце лица с растрескавшейся кожей, вместо одежды — какие-то лохмотья, на ногах лапти, за плечами — рваная грязная котомка, в руках — длинная палка, — по этим признакам вы сразу отличите бурлаков из дальних мест от рабочих с пристани и ближайших заводов.

— Здорово набралось бурлачков, — говорил Илья, когда мы начали спускаться под кручу берега. — Скворцы прилетят сперва, а за ними бурлачки...

Мы спустились по глинистой дорожке на самый мысок, где по берегу разместилось десятка два совсем готовых барок.

— Вот и наши посудинки, — любовно заметил Илья, постукивая кулаком в борт одной барки, которую еще конопатили. — Так носиками и глядят в реку...

Сплавщик Илья и вообще бурлаки относятся к барке, как к живому существу, которое имеет свои достоинства и недостатки, желания и даже капризы. Одна барка «любит сваливать нос направо», другая «вертится на ходу и прижимает корму к берегу», третья «лихо разводит речную струю», но «шалит под бойцами», и т. д. Опытный сплавщик, вроде Ильи, с первого взгляда видит достоинства и недостатки каждой барки, тогда как мне они казались совершенно одинаковыми...

III

На другой день я ходил около барок, когда по всему берегу пронесся общий крик: «Вода на прибыль пошла...» Толпы народа бросились к реке. Где-то вдали слышался неясный, глухой шум.

— Это вода идет, — объяснил Илья. — Пришло, видно, времечко нашей кормилице Чусовой вскрываться... Вон как лед-то надулся! Сейчас тронется...

Вода быстро прибывала; лед отстал от берегов и дал несколько трещин. Шум усиливался, точно по реке ползло громадное жи-

вотное, с подавленным шипеньем и свистом. Скоро весь лед зашевелился и образовалось несколько свежих полыней, точно льдины были разорваны какой-то сильной рукой.

— Воду из Ревдинского пруда спустили, — объяснял Ермолай Антипыч. — Чусовая иногда стоит долго, и вешняя вода может сбежать подо льдом. Чтобы взломать лед, спускают воду из Ревдинского пруда.

Ревдинский завод стоит в верховьях Чусовой, и его громадный пруд служит главным запасом воды для сплава по реке. Обыкновенно выпускается громадный вал, который растягивается по реке верст на двести; это и есть тот паводок, по которому сплавляются весенние караваны.

Через час картина пристани изменилась совершенно, точно все разом ожило кругом с громким говором и веселым весенним шумом. По реке длинной вереницей плыли льдины всевозможных форм: одни — желтые от весенней наледи, другие точно были источены червями. На заворотах они сталкивались и лезли одна на другую, образуя ледяные заторы; особенно сильно напирал лед на мы-

сок, где стояли барки; льдины, как живые, вылезали на песок и рассыпались здесь сверкающими ледяными кристаллами и белым снежным порошком. В воздухе потянула струя холода, а стоявший на Чусовой лес глухо зашумел. Откуда-то взялись вороны, которые, с беспокойным карканьем, перелетали с льдины на льдину.

— Ну, теперь нам самая горячая работа, только успевай поправляться, — говорил Ермолай Антипыч. — Нужно завтра спустить все барки в воду и в три дня нагрузить. Каждый час дорог! Ведь на каждую барку нужно положить грузу тысяч пятнадцать пудов... На некоторых пристанях есть свои гавани, ну, там успевают нагрузиться заблаговременно, а нам приходится грузить прямо в реке.

Вся пристань приняла совершенно праздничный вид. Все разоделись в лучшее платье, какое у кого было. Пристанские мужики вырядились в ситцевые новые рубахи и новые кафтаны, на бабах запестрели яркие сарафаны и кумачные платки. Только не во что было разодеться бурлакам, которые пришли на пристань издалека. Им, вероятно, сделалось

еще тяжелей от этого чужого праздника.

— Ох, скорее бы сплав, — говорил седой старик, глядя на реку.

— А что, дедушка, больно торопишься?

— Да как не торопиться-то, родимый... Время-то теперь какое стоит? День прошел даром, — зимой неделя голодная... Как же? Пашня не ждет нашего брата, пока мы валандаемся по пристаням-то... Вон скоро и Еремей-запрягальник... Только ленивая соха в поле не выезжает к Еремею-то...

Еремей-запрягальник, то есть 1 мая, в жизни пахаря — великий день; им открывается летняя крестьянская страда, от которой зависит заработок целого года. Поэтому-то пришлые бурлаки-крестьяне и торопятся поскорее вернуться по домам.

На другой день происходила «спишка» барок. До двух тысяч бурлаков собралось на мысу. От барок к воде проведены были «склизни», то есть толстые бревна, смазанные дегтем; по этим склизням барку и спихивали в воду. Крику и суеты при таком важном событии было много. Барку с одной стороны сталкивали «чегенями», то есть деревянными

кольями, а с другой — удерживали толстыми канатами, снастью. В воздухе висела стоголосая «Дубинушка», все лица были оживлены, громкое эхо катилось далеко вниз по реке и гулко отдавалось на противоположном берегу. Ермолай Антипыч с раннего утра был здесь, потому что необходимо было поспеть везде, все предусмотреть, везде отдать необходимые приказания. Крик рабочих и дружная бурлацкая песня на спишке — все это на первый раз производило оглушающее впечатление, как на громадном пожаре, где люди совсем потеряли голову и напрасно надрываются себя в бесцельной суете.

— Барку заело!.. — слышится крик десятка голосов около спихиваемой барки. — Право плечо подчегенивай... Евмен, трави снасть-то!.. Навались ужо, родимые!..

Сильнее других кричал сплавщик Илья, в одной рубахе бегая по барке, которую «заело», то есть остановило при спуске по склизням. Десятки голосов спорят и кричат во все горло; всякий лезет с своим советом, и никто не хочет слушать. «Левое плечо заело!» — «Нет, льяло заело!» — «Ворот надо подставить,

Илья!» Барка сдвинута с платформы, на которой строилась, на склизни, но дальше не идет.

— За самое днище держит! — слышатся голоса.

— Склизни смазать надо, робя...

Дело кончилось тем, что Илья обругал всех непрошеных советчиков, сам слазал под барку и осмотрел, где ее заело. Подвели несколько клиньев, и барка медленно сползла по склизням, вспенив воду широким валом. По реке плыли редкие льдины, которые точно торопились поскорее уплыть от общей сумятохи.

Спущенную в воду барку сейчас же на канате подвели к магазинам с металлами. С берега на борт было перекинуто несколько сходней; несколько сот бурлаков уже ждали очереди начать нагрузку. Я забрался на носовую палубу, чтобы посмотреть, как пойдет бурлацкая работа. Здоровый мужик с рыжей бородой распоряжался все время, пока устраивали сходни; старик Илья подошел ко мне и, вытирая вспотевший лоб платком, присел на какое-то бревно.

— Это сплавщик? — спросил я, указывая на рыжего мужика.

— Нет, сплавщик-то я, а рыжий мужик — водолив... Вавилом звать. Как барку на воду спустили, тут уж водолив должен ее на себя принять, — вся барка его. Течь где покажется, пакля вылезет из пазов, вода накопилась на барке — все это наблюдает водолив...

— Значит, настоящий хозяин на барке водолив, а не сплавщик?

— Водолив, барин... Без его спросу никто не может войти на барку или сойти, потому как он за все в ответе. А сплавщик — другое: вот теперь я должен смотреть за нагрузкой, штобы правильно грузили, а то как раз барку убьешь; потом я должен в целости представить барку до самого места... Это уж мое дело...

Как только сходни были готовы, на барку бесконечной вереницей двинулись бурлаки с тяжелыми ношами в руках. Барка Ильи, как лучшего сплавщика, грузилась сортовым железом, то есть самым ценным материалом, который может много потерять, если попадет в воду. Бурлаки, как муравьи, тащили на бар-

ку связки всевозможной формы; среди топота сотен бурлацких ног и резкого лязга нагружаемого железа трудно было расслышать человеческий голос. Илья едва успевал распоряжаться, куда и как класть принесенное железо; скоро около бортов и по средине барки образовались правильные кладки листового железа... Барка медленно садилась все глубже: Илья постоянно справлялся с мерой осадки и прикидывал опустившуюся часть бортов в воду при помощи деревянной наметки, разделенной на вершки.

Вообще работа кипела. Красные, вспотевшие лица бурлаков, кряхтенье и усталые движенья свидетельствовали о тяжелой работе, какая выпала на их долю. Для непривычного человека два часа такой работы тяжелее целого рабочего дня где-нибудь на пашне; тащить железную полосу весом в 3–4 пуда — нужно силу, а потом и сноровку. Привычные к такой нагрузке пристанские бурлаки только посмеивались, а крестьяне, которые были на сплаву в первый раз, просто выбивались из сил. Почти целая наука существует о том, как легче поднять такой-то сорт железа, как

его легче тащить до барки и как класть на место. Неопытный рабочий сначала напрасно обдерет себе до крови руки о железо, а потом уж научится, как и что следует делать.

— Теперь у нас заварилась каша на целых три дня, — говорил Ермолай Антипыч, когда пришел посмотреть, как грузится барка Ильи. — Днем и ночью будем работать.

— А спать когда?

— Бурлаки будут работать сменами; пока одна смена работает, другая отдыхает. А мы, видно, уж так... Если вздремнешь часик-другой в сутки, — твое счастье, а то и так на ногах сон износишь. Нельзя, каждая минута дорога. Вот караван отправим, тогда успеем отдохнуть. Да чего спать: поесть некогда... Марфа мне обед принесла в магазин; так я уж на ходу кое-чего Поел: на все стороны тебя рвут.

IV

Нагрузка продолжалась в течение трех дней, причем работа кипела и по ночам, при свете громадных костров на берегу. Картина пристани в такую ночь была поразительная, точно это был разбойничий притон, где ночью старались захватить то, чего нельзя было взять днем.

Лично для меня эти три дня тянулись очень медленно, как для человека совершенно лишнего в этой трудовой суете. Даже ходить и смотреть, как грузятся барки, надоело порядочно, потому что повторялись одни и те же картины, сцены и разговоры. Но зато на самой пристани, где кишмя кишели бурлаки, было что посмотреть и послушать, и я целые дни проводил среди оборванного и голодного люда. Кого-кого только не было в этой разношерстной, вечно галдевшей толпе! Народ набрался с четырех губерний, и всякий принес с собой свой говор, покрой платья, свои особенности в привычках и характере. Но было и общее в этой разноплеменной толпе: всех собрала здесь одна сила, имя которой — нужда.

Загорелые лица, лохмотья и рубища вместо одежды, и — заплаты, заплаты, заплаты... Нужно заметить, что на весенний чусовской сплав идут только самые последние бедняки, из самых бедных деревень и деревушек: случайные несчастия — вроде неурожая, засухи, пожара, скотского падежа и разной другой крестьянской беды — заставляли самых сильных рабочих в семье оставлять деревню и брести иногда за тысячу верст.

...Когда Ермолай Антипыч сказал, что ему и пообедать будет некогда в эти дни, я сначала не поверил, — мало ли что говорится для красного словца, — но потом пришлось поверить, потому что он приходил домой всего часа на два в день, а все остальное время проводил около магазинов. Таким образом, мы с Любенькой оставались вдвоем и подолгу разговаривали от нечего делать, особенно по вечерам. В комнате так тепло и уютно, самовар ворчит так дружелюбно на столе, разные булочки и сухари выглядывают из хлебной корзинки так аппетитно, — право не хотелось даже верить, что вот тут, сейчас за стеной, широкой волной разливается самая горькая бед-

ность, которая рада всякой заплесневелой корочке. Те маленькие удобства, которых не замечаешь обыкновенно, теперь мне казались необыкновенной роскошью, за которую было просто совестно: сидеть в теплой уютной комнате, иметь отличный обед, чай, газету, теплое платье, когда сотни людей голодают и мерзнут, когда есть, может быть, больные, которым не на что даже купить простого ржаного хлеба; нет, быть тепло одетым, иметь теплое помещение, хороший стол, — это действительно величайшее счастье, которого люди, в большинстве случаев, не умеют ценить, как не умеют здоровые ценить своего здоровья...

— А знаете что, — говорила однажды Любенька, когда мы сидели за вечерним чаем. — Я иногда думаю про себя, неужели наши пристанские барки доплывут до Петербурга?..

— Вероятно, половина доплывет и до Петербурга.

— А мне так не верится: какая-нибудь пристанская барка и вдруг будет в Петербурге!

— Да, и пойдет, по всей вероятности, на дрова и заборы. Честь не особенно большая.

Любенька, никогда не выезжавшая со своей пристани, составила себе о столице самое фантастическое понятие, как о каком-то волшебном городе, где улицы состоят сплошь из пятиэтажных домов, ночью от газовых фонарей светло, как днем, на каждом шагу — блестящие магазины, по мостовой вихрем несутся богатые экипажи с нарядными дамами и мужчинами, и нигде даже малейшей тени нет ничего похожего на бедность или нищету.

По вечерам, когда Любенька давно уже спала со своими мечтами о Петербурге, я открывал окно и долго любовался великолепной картиной, катившейся с глухим рокотом Чусовой, сплошным лесом, который зеленой зубчатой стеной поднимался сейчас же на том берегу, далекими горами, чуть повитыми туманной дымкой. Вся пристань ночью засыпала мертвым глубоким сном, какой нарушался только редким лаем цепных собак да глухим шумом, который доносился со стороны грузившихся барок. Оттуда, вместе с холодной и сырой струей воздуха, поднимавшегося с реки, тянуло смолистым дымом горев-

ших костров. Река совсем очистилась ото льда, и только изредка на ней показывались белыми пятнами запоздавшие льдины; вероятно, они плыли из какого-нибудь бойкого горного притока. Однажды, когда я таким образом сидел у окна и любовался спавшей пристанью, в воздухе с шумом и свистом пронеслась стая кряковых уток. Слышно было, как она опустилась в воду у противоположного берега, и черные точки долго бороздили темную речную струю, оставляя позади себя длинный, двоившийся след. Река вскрылась, и теперь по всему течению кипела не менее хлопотливая работа, чем на пристанях: кряквы, шилохвостки, гоголи, чирки и другие представители утиной породы торопливо вили гнезда по разным укромным местечкам, чтобы через несколько недель выплыть на Чусовую с целым выводком крошечных желтеньких утят. В поднимавшейся осоке уже скрипел коростель, а по песчаным отмелям можно было видеть целый день бегавших куликов и бекасов.

Начинались те белые ночи, какие обыкновенно бывают на Урале; небо совершенно

прозрачно, и с бездонной голубой выси льется трепетный, дрожащий свет, который покрывает матовым серебром все — и лес, и горы, и воду.

V

Пока шла нагрузка, вода на Чусовой спала почти до прежнего уровня, — вал, выпущенный из Ревдинского пруда, прошел. Весенние чусовские караваны отправляются вниз по этому валу, который растягивается по реке верст на двести; для этого второго, самого главного паводка вода из Ревдинского пруда выпускается иногда в течение двух суток. Вода в реке поднимается на несколько аршин; но караваны могут плыть вниз только по определенной высоте такого паводка: он должен стоять выше летнего уровня воды на Чусовой от 2 1/4 до 3 аршин. Если вода стоит ниже, тогда караванам грозит опасность обмелеть; если выше, — барки рискуют разбиться около бойцов. Понятно поэтому, с каким нетерпением на пристанях ждут второго вала: от него зависит весь успех сплава...

— Вода идет... Вода!.. — пронеслось по ули-

це рано утром, когда я еще спал.

Вся пристань собралась на берегу. Выползли самые древние, полуслепые старики и старухи, чтобы хоть одним глазом посмотреть, как будет «отваливать» караван с пристани. Ледоход и отвал каравана — два великих праздника на пристани для старого и малого. Все, что есть живого и имеющего хоть малейшую возможность двигаться, все до последнего человека выползает на берег; откуда-то появляются калеки и увечные: у одного ногу раздавило при нагрузке тяжелой железной крицей, другому «на хватке» руку перерезало снастью, третий не владеет ни руками, ни ногами от ревматизма, полученного на съемке обмелевших барок. Для этих несчастных инвалидов чусовского сплава каждый ледоход и отвал только лишний раз напоминает об их несчастье, но они все-таки толкутся на берегу: «Хошь часок погалдеть с бурлаками, и то на душе легче». Лето да зима долги, успеют еще насидеться и належаться по избам.

— Ноне вода самая мерная, — говорил Илья, осматривая свою совсем готовую барку. — Авось сплывем помаленьку.

— Не загадывай вперед, Илья, — останавливал рыжий водолив, отличавшийся вообще очень «сумнительным» характером и недоверчивостью.

Барка Ильи называлась «казенкой», потому что на ней плыл караванный приказчик, и по этому случаю на палубе была устроена небольшая каюта, около которой поднимался «глаз», то есть высокая мачта с разноцветным пером наверху, что-то вроде павлиньего хвоста. На всех пристанях устраиваются такие же казенки; при них существует особый разряд бурлаков, известных под именем «косных». Косные выбираются из самых лучших бурлаков и щеголяют во все время каравана в кумачных рубахах и в шляпах с разноцветными лентами: по этим лентам и различаются косные разных пристаней. Свое название косные получили от косной лодки, на которой они разъезжают от барки к барке с разными приказаниями приказчика…

Мне тоже предложили поместиться на казенке, в каюте приказчика, и, как только вода пошла на прибыль, все мои пожитки из квартиры Ермолая Антипыча перешли в каюту.

— А вы не трусите? — спрашивал меня на прощанье Ермолай Антипыч.

— Пока ничего, а вперед не ручаюсь...

— Помните только одно, — советовал добрый старик, — не нужно торопиться... Народ глуп: чуть барка задела о боец, — все в лодку; а где же в одну поместиться шестидесяти человекам? Друг друга топят... А вы смотрите на сплавщика: что он будет делать, то и вы делайте.

Мне оставалось только поблагодарить за хороший совет.

Ермолай Антипыч с Любенькой проводили меня до самой казенки, где хлопотал Илья с бурлаками и косными. Все барки были готовы тронуться в путь и вытянулись вдоль берега в одну линию. Вода с шумом все прибывала и прибывала; по реке неслись доски, бревна и свежие щепы, захваченные водой по верхним пристаням. Бурлаки давно разместились по баркам и тащили под палубы свои котомки; плыть по реке придется дня четыре, нужно было запасти на все время хлеба, сухарей и кой-какого приварка на всякий случай. Работа впереди предстояла тяжелая, и похле-

бать чего-нибудь горяченького усталому бурлаку было особенно необходимо, чтобы окончательно не выбиться из сил...

— Ну, Илья, пора отваливать, — решил Ермолай Антипыч, поглядывая на часы. — Как бы сверху караван не набежал... Сколько воды стоит?

— Одиннадцать четвертей, Ермолай Антипыч...

— Отваливай, Илья, отваливай!..

Ермолай Антипыч с Любенькой последними оставили нашу барку. Бурлаки встали к поносным,[35] водолив сбросил сходни. День был солнечный, светлый, весь берег покрылся первой бледной зеленью, в лесу заливались прилетевшие птицы...

Илья глубоко надвинул на голову свою войлочную шляпу, оглянулся на усыпанный народом берег и скомандовал:

— Отдай снасть!..

На берегу засуетились, и в воду тяжело шлепнулся толстый канат; барка точно вздрогнула и начала отделяться от берега.

— Нос налево, молодцы! — крикнул Илья, и носовые потеси тяжело бултыхнули в воду,

распахнув ее на две широкие вспенившиеся волны.

На берегу сверкнул огонь, и по реке гулко прокатился первый пушечный выстрел, за ним — другой, третий... Белый дымок взмыл кверху, точно в воздух бросили охапку пуха. Весь берег с домами, сотнями народа, с магазинами и стрелявшими пушками точно поплыл от нас назад, вверх по реке. Одна барка отваливала за другой, начиная тяжело загребать воду потесями. Я стоял на корме и долго смотрел на уплывающий берег, где в воздухе мелькала белая точка: это Любенька махала городскому человеку своим платком.

Река скоро сделала крутой поворот, и пристань скрылась совсем из виду. Барка плыла в крутых зеленых берегах точно между двумя стенами; вода пенилась и журчала под носом барки и била в берег пенившейся волной... Чусовая была неузнаваема... Река именно «играла», как говорят бурлаки про весенний паводок; более удачного названия трудно и подобрать. Даже на плесах, то есть на таких местах, где летом вода стоит тихо-тихо, как зеркало, теперь широким током катилась могу-

чая волна, которая на крутых поворотах превращалась в бешеного зверя. Около вогнутой части берега образовались майданы, то есть ряды сильных волн, которые с шумом разбивались около бортов барки и с диким ревом лезли на берег, жадно обсасывая береговые камни.

— Поддоржи корму, молодцы!.. — кричал Илья, взмахивая рукой. — Корму поддоржи... Корму...

Потеси с глухим шумом падали в воду, и барка вздрагивала от топота бурлацких ног. Теперь она была действительно живая, одно громадное целое, слепо повиновавшееся одной воле. Отдельные лица бурлаков слились в одну сплошную массу, точно по палубе ходила серая волна, а потеси буравили, пенили воду, как громадные деревянные руки.

Я долго любовался сплавщиком Ильей, который стоял теперь на своей скамеечке в своем синем кафтане и красной опояске, как настоящий полководец: по одному движению его руки, как перышки, летали в бурлацких руках потеси, и барка медленно поворачивала носом туда, куда ей следовало поворотить-

ся. Прежнего Ильи, который пил с нами чай у Ермолая Антипыча, точно совсем не стало, а был совсем другой человек, от которого зависела участь не только барки, но и всех бурлаков. Спокойное выражение лица, уверенный взгляд прищуренных серых глаз, твердый голос, — одним словом, Илья сразу переродился.

— Ну, что, барин, хорошо наша Чусовая играет? — спрашивал меня Илья, когда барка выплыла на широкое плесо.

— Да, ничего...

— А вот камушки подойдут, там она ужо утешит нас, голубушка... Небо с овчинку покажется с непривычки!

VI

С каждым шагом вперед перед глазами развертывалась бесконечной лентой величественная горная панорама. Горы сменялись, выступая в реку громадными скалами в несколько десятков сажен высоты. Обыкновенно такие скалы стояли на крутых поворотах реки, на ее вогнутом берегу, так что водяная струя прямо несла барку на такую скалу, на боец. Здесь, на этих обнаженных утесах, можно было видеть результаты разрушительного действия воды. В течение тысячелетий река шаг за шагом размывала каменные горы, обнажая громадные, каменные стены, точно созданные руками каких-то гигантов, а не слепой стихийной силой. Таких боевых мест слишком много на Чусовой, чтобы описывать каждое в отдельности; самые опасные бойцы имеют собственные названия, а менее опасные просто называются боевыми местами...

Как теперь вижу одно такое боевое место. Река катилась в сравнительно низких берегах, горы остались назади; барка плыла по

вольной струе легко и свободно. На берегу зеленел густой ельник; отдельные деревья подходили к самой реке и протягивали лапистые, мохнатые ветви далеко над водой...

Я долго всматривался вперед, — река катилась в таких же зеленых берегах, как раньше, только впереди слышался глухой шум. «Это, вероятно, „зайчики“ играют», — подумал я, стараясь разглядеть опасное место. Через минуту все дело объяснилось; дорогу реке перегородила невысокая каменистая гора, и река образовала под ней крутое колено, чуть не под прямым углом. Вода здесь страшно бурлилась и пенилась, и вверх по реке далеко поднималась пенистая грядка больших волн. Скоро барка попала на «зайчики», ее подхватило сильной струей и быстро понесло вперед, прямо на каменистую горку. Поворот был так крут, что я на минуту считал опасность неотвратимой, тем более что барка стрелой летела по «зайчикам» прямо на камни. Задача заключалась в том, чтобы пройти у противоположного берега; корма мутила воду, задевая за берег, нос был повернут к струе, которой его отбивало тоже к берегу. Одно мгнове-

ние, и барка птицей пролетела под камнем, оставив игравшие «зайчики» назади.

— В третьем годе здесь три барки убилось, — говорил Илья, когда барка опять спокойно плыла по широкому и гладкому плесу.

Нужно было видеть, как работали бурлаки около «зайчиков». На барке — ни звука, все замерло, и едва успевала сорваться команда Ильи, как потеси начинали уже неистово грести воду, разгоняя по всей реке пенистую широкую волну.

— Славно работают бурлаки, — заметил я Илье.

— Ничего... Вон погляди на наших пристанских... любо-дорого. В них — вся сила, а пришлые — те только так мешаются. Погляди, как пристанские подбрасывают поносное-то... Игрушка, а не работа!

VII

— Скоро Межевая Утка, — говорил Илья. — А там уж вплоть до Кына все в камнях побежим...

Межевая Утка, как пристань, очень красивое селение, дворов в полтораста; на берегу стоит старая часовня, на стрелке между Уткой и Чусовой — красивая караванная контора и очень хорошая гавань, где строятся и грузятся барки. Крепкие избы, расположенные по плану, несколько домов в два этажа, лавки — все это придает Межевой Утке зажиточный и довольный вид...

— Вон они, камешки-то, — говорил Илья, закидывая голову назад. — Вверх поглядеть, так и шляпу потеряешь...

На самом верху этих каменных дворцов чернеют покосившиеся деревянные кресты. Это единственный памятник, который оставляют бурлаки над погибшими товарищами, зарытыми где-нибудь на противоположном берегу, где топорщится своими опущенными ветвями верба.

— А много бурлаков погибает на сплаву? —

спрашиваю я Илью.

— Всяко случается, барин... Другой сплав господь пронесет все караваны милостиво; только это редко бывает. Человек пяток — десяток все-таки погибнет с барок... Бывали и такие весны, что и все сто человек тонули. Много нашего брата, бурлаков, по Чусовой закопано на берегу.

Скоро мы увидели на самом деле то, о чем говорили кресты на скалах. Пониже деревни Пермяковой, когда наша барка начала огибать крутой мыс, раздался общий крик:

— Убитая барка!.. Барка убилась!..

Илья, заслонив глаза от солнца рукой, пристально смотрел вдаль. В полуверсте от нас из-под бойца плыла какая-то бесформенная масса, которую трудно было принять за барку. Видно было, что по реке плыло что-то большое, с торчавшими досками и бегавшими людьми.

— Ох! левым плечом черпнула воды, сердечная, — проговорил Илья, продолжая наблюдать убитую барку. — Вон люди-то как копошатся в воде, точно тараканы!

Ближе обозначалась корма тонувшей бар-

ки с бессильно висевшим в воздухе поносным; разбитая барка опускалась в воду все ниже и ниже, тихо заворачиваясь по течению, кормой вперед. В воде мелькали черные точки: это были бурлаки с разбитой барки. Косная лодка плыла по роке без людей, до краев налитая водой. Вероятно, в суматохе рабочие побросались в нее, и лодка перевернулась от непосильной тяжести.

— Ох, дрянь дело... Как бы она нам реку не загородила, — хлопотал Илья. — Ишь как ловко пришлось: так дохлой коровой и плывет по реке... Ударь, братцы, нос-то налево! Сильно, гораздо ударь, молодцы!.. Ударь, голубчики!.. Нос налево!.. Нос налево!..

Боец приближался к нам и быстро вырастал в большую известковую скалу, упиравшуюся в реку острым гребнем. Об этот гребень, вероятно, несчастная барка и ударилась. На берегу бестолково бегали выплывшие рабочие, некоторые сидели и безучастно смотрели на плывшую мимо разбитую барку. Какой-то седой старик в красной рубахе бежал по берегу к нам навстречу, размахивал руками и что-то громко кричал. За шумом волн и

скрипом потесей ничего нельзя было расслышать.

— Ударь корму-на-конь!! — неистово закричал Илья, когда наша барка стрелой полетела к бойцу. — Родимые, не выдавай!

Трудно передать наступившую торжественную минуту: на барке царило гробовое молчание, бурлаки дружно подхватывали команду, и потеси летали, как перышки. Вот уж несколько сажен осталось до бойца, можно отчетливо рассмотреть каждую зазубрину на нем; вода, как бешеная, мечется и рокочет у его подножия... Нас отделяло от бойца каких-нибудь пол-аршина, когда барка медленно повернула от него нос и опасность миновала. Вода клокотала кругом, точно в котле, волны лезли на борта, как голодная стая волков.

— Шабаш-нос-от! — скомандовал Илья, снимая шляпу, чтобы перекреститься.

Барка была на вольной воде и тихо плыла дальше, мимо столпившихся людей на берегу. Все были мокрые, многие без шапок; что-то кричали вдогонку нам, но их крики трудно было расслышать. Тут же кого-то откачивали на растянутом кафтане. Видно было только,

как болталась бессильно голова и дрыгали босые побелевшие ноги.

— Двое захлебнулись, — коротко заметил Илья.

На берегу, под таловыми кустиками, виднелись две неподвижно лежавшие фигуры, прикрытые дырявым зипуном. Мелькнуло посинелое лицо с мокрыми волосами, судорожно сжатая рука — и только. Кто эти жертвы сплава? В какой деревне две семьи будут оплакивать дорогих покойников, может быть, единственных кормильцев? Какие дети осиротели в каких-нибудь четверть часа?.. Грустно и тяжело было смотреть на эту слишком обыкновенную картину для Чусовой... Река так же весело катилась вниз, лес так же зеленел на берегу, и над людским горем чирикала свою беззаботную песенку какая-то безыменная лесная птичка.

...Мы скоро нагнали «убитую» барку, она тихо плыла возле самого берега; палуба была сорвана, и из-под нее выглядывали рогожные кули. Весь груз был подмочен.

— Вишь, как исковеркана, — говорил Илья. — Не знаешь, к чему и применить... Ле-

вым плечом ударил о боец, вон и поносное носовое сорвало. Ох-хо-хо!..

Немного дальше в воде мелькнуло человеческое тело. Косные бросились к лодке его вытаскивать, но утопленник скрылся под водой.

— Еще упокойничек, — заметил Илья.

Косные ни с чем вернулись на барку. Производить дальнейшие поиски они не могли, потому что своя барка не ждет, да и мертвый человек не нуждался ни в чьей помощи. Все равно шальной волной где-нибудь выкинет на берег, на песчаную отмель, а там добрые люди подберут и похоронят.

VIII

Немного повыше Кыновской пристани в Чусовую впадает небольшая горная речка Серебрянка, а верстах в двадцати пониже реки Серебрянки на Чусовой стоит Кыновский завод, или, как его называют бурлаки, просто — Кын. Это не русское слово, а перешло к нам из пермяцкого языка: по-пермяцки «кыну» значит «холодный». И действительно, трудно себе представить что-нибудь беспри-ютнее и глуше Кына. Представьте себе глубокое ущелье, точно нарочно вырезанное из камня; по дну этого ущелья катится небольшая речонка, а по ее берегам расположились заводские домики, заводская фабрика, магазины для металлов. В глубине синеет полоса заводского пруда, и дымятся несколько доменных печей; ближе — белая каменная церковь, заводская контора и еще несколько домов с железными крышами.

— Нам этот Кын вот где сидит, — объяснил Илья, показывая себе на затылок.

— А что так?

— Да так... Видишь, как Чусовая-то выгиба-

ется здесь, пристань кыновская-то в самой излучине и стоит, ну, струей-то и сносит наши барки прямо на пристань, на кыновские барки. А пониже-то — перебор: либо о кыновские барки убьешься, либо на переборе... Выбирай любое да лучшее. Тут досыта бурлаки напарят лбы-то! Ну, милые, похаживай, нос направо!..

Мы прошли под Кыном благополучно, хотя бурлакам и досталось порядочно. Можно было удивляться их выносливости, а между тем впереди представлялось еще два дня пути, — это в счастливом случае, конечно.

— В сутки-то все часов восемнадцать у поносного выстоят, — говорил Илья про бурлаков.

— Да ведь это лошадиная работа!..

— Что будешь делать! Река-то нас не будет ждать...

— А отдыхать когда?

— А вот скоро и отдых будет: схватимся под Ослянкой. Пристань есть такая, пониже Кына, ну, за ней и хватка будет... Часов шесть простоим у берега, пусть вода догоняет нас, Да и людям тоже отдохнуть надо...

Я с нетерпением ждал хватки. Еще раньше

мне много приходилось слышать разных рассказов о таких хватках на весеннем сплаву: как вырвало ухват, за который наматывают снасть, как перегорает этот ухват или огниво, как убивало и калечило людей лопнувшей снастью и т. д. Остановить барку с пятнадцатью тысяч пудов груза на такой быстрой реке, как Чусовая, — задача нелегкая.

— Вавило, снасть надо готовить, — проговорил Илья, когда мы проплыли Ослянку, последнюю пристань, где грузятся барки. — Засветло хвататься следовает.

Действительно, солнце уже начинало закатываться, и по реке от скал и леса потянулись длинные тени. Ночь здесь наступает с поразительной быстротой, а вместе с ночным сумраком надвигается пронизывающий весенний холод, который ползет на реку из глубоких логов, где еще лежит нерастаявший снег.

Водолив Вавило, неразговорчивый, суровый мужик, молча отправился за заднюю палубу и молча начал приводить в порядок снасть, то есть толстый канат, свернутый правильными кольцами. Последнее очень важно, чтобы при хватке снасть не путалась, а

развертывалась свободно.

— Готово, — отозвался Вавило, становясь около огнива.

— Косные, садись в лодку! — скомандовал Илья.

Человек шесть отборных косных отправились в лодку и захватили с собой половину размотанной снасти.

— Тут, молодцы, как барка выбежит за мысок, есть излучина, — объяснил косным Илья, — а в излучине, на левом берегу, стоит матерый пень... Вот за него и крепи снасть!

Барка обогнула мысок, и впереди мелькнуло широкое плесо, с той излучиной, о которой говорил Илья. Вода здесь неслась не так бешено, как раньше, и барка пошла заметно тише. Чтобы еще задержать ее, Илья скомандовал «поддоржать корму», и барка пошла кормой почти около самого берега. Вон и два кедрика на берегу, и матерый пень, о котором говорил Илья. Лодка с косными отделилась от барки и стрелой понеслась к берегу. Кое-как приткнувшись к берегу, косные разом выскочили из лодки и потащили волочившуюся по земле снасть к кедрам. Барка в это время уже

проплыла мимо них, и Вавило быстро спускал в воду размотанную снасть, чтобы ее не выдернуло из рук у косных.

— Готово! — донеслось с берега.

— Крепи снасть! — скомандовал Илья.

Водолив накинул на огниво приготовленную петлю и натянул канат его на свободный конец. Барка вздрогнула, точно ее кто-нибудь схватил могучей рукой за дно. Снасть несколько раз тяжело шлепнула по воде, а потом быстро потянулась и задрожала, как струна. Барка почти совсем остановилась.

— Трави снасть! — кричал Илья.

Вавило спустил несколько оборотов, снасть опять тяжело шлепнулась в воду, и огниво задымилось. Барка точно сделала попытку освободиться от державшей ее узды и опять пошла вперед.

— Снасть трави!.. Снасть трави! — кричал Илья.

От огнива белыми клубами повалил густой дым, но его сейчас же залили водой. Снасть опять натянулась, но теперь барка уже потеряла половину приобретенной от движения по реке скорости и точно сама по-

дошла к берегу.

— Крепи снасть намертво, — скомандовал Илья.

Снасть была завернута вокруг огнива мертвой петлей, и барка стала.

Илья поблагодарил бурлаков за дружную работу и поздравил с счастливой хваткой.

— Тебе спасибо, Илья Максимыч! — ответили десятки голосов. — Твоей головой держимся...

Была брошена на берег сходня, и бурлаки гуськом потянулись с барки.

Скоро на берегу запылали яркие костры. Около них толпились десятки бурлаков, точно китайские тени на экране волшебного фонаря. Кто варил кашу в чугунном котелке, кто грел у огонька застывшие руки, кто жевал сухую черную корочку, подставляя спину к огню, кто просто толкался между другими людьми, чтобы размять отекшие от стоянья ноги. Некоторые сидели, другие укладывались спать. Тут же, около огонька, свернется калачиком, положит кулак под голову, да и спит таким сладким сном, каким, вероятно, никогда не спят богачи на своих пуховиках и

пружинных матрацах.

...А над Чусовой уже нависала короткая весенняя ночь с ее мягкими сумраком, холодом и лихорадочно горевшими звездами. Опять слышалась возня уток, и где-то в болоте без конца скрипел коростель...

IX

Ранним утром, когда я еще спал, барка отвалила и «побежала» вперед. Сквозь сон до меня доносилась команда Ильи: «нос направо», «поддоржи корму», но я спал, как убитый. Топот бурлацких ног на палубе, шум воды около бортов и бултыханье поносных как-то совсем слились с беспорядочными ночными грезами: то казалось, что барка летит прямо на боец, то слышался отчаянный крик утопающих, то наступала зловещая, мертвая тишина...

На воде, как, вероятно, случалось наблюдать многим, особенно развивается аппетит, а затем одолевает самый крепкий сон. Я продолжал лежать на своей лавочке, закутавшись в плед, когда по дну барки точно что черкнуло. Но это были пустяки: вероятно,

барка задела за край подводного камня, а потом опять спокойно поплыла вперед. Я спал, когда сильный толчок заставил меня вскочить. Слышался глухой шорох, точно барка катилась по сухому гороху.

— Ничего, за огрудок немножко задели, — объяснил мой спутник, раскуривая папиросу. — Теперь не опасно... Барка почти совсем выбежала из камней; если попадем куда-нибудь на мель, так это не велика беда. Вот пониже Камасина, там будет работа...

— А что?

— Да пониже Кумыша... Слыхали про боец Молоков?

— Слыхал.

— Ну, там стоит посмотреть.

Когда мы так разговаривали, шорох повторился несколько раз, а затем барка разом врезалась во что-то мягкое и остановилась. Только вода глухо бурлила около бортов, да поносные продолжали напрасно бить направо и налево. Я вышел на палубу. Барка села на мель.

— Дрянь дело, — проговорил Илья, спускаясь со скамейки.

Бурлаки безучастно стояли на палубе и ждали, что скажет сплавщик.

— Что теперь будем делать? — спрашивал я.

— А вот надо, как-никак, с огрудка сыматься.

Очевидно, мы выбежали из гор. Впереди и по бокам расстилалась широкая равнина, где среди леса мелькали правильными квадратами поля, зеленели озими, и где-то далеко-далеко, на крутом берегу, виднелась деревня. По реке медленно плыли почерневшие, рыхлые льдины; на противоположном берегу стояла, покосившись, обмелевшая барка.

— Это откуда лед-то идет? — спрашивал я Илью.

— Да из Койвы, барин, — нехотя отвечал старик, которому было теперь не до меня. — Речка такая есть, Койвой называется, ну, лед из нее и идет... Того гляди, еще барку подрежет.

— Это как?

— А так: начнет льдина за льдиной по барке резать, ну, и прорежут борт... Ах ты, грех какой вышел! Никогда на этом самом месте

огрудка не бывало, а тут вдруг огрудок.

— А деревня впереди какая?

— Да это Камасино... Ах ты, грех какой вышел!.. а!..

Деревня Камасино служит резкой гранью для Чусовой: здесь она окончательно выбегает из гор, впереди стелется волнистая равнина, покрытая лесом, пашнями и заливными лугами. Вдали можно было рассмотреть железнодорожный мост, перекинутый через Чусовую на высоких каменных устоях. Здесь Чусовую пересекает недавно построенная Уральская горнозаводская железная дорога. Около Камасина существует целый ряд опасных мелей, потому что река здесь разливается в низких берегах очень широко.

— Ну, братцы, как мы будем сымать барку? — спрашивал Илья, обращаясь к бурлакам.

Бурлаки переминались и ничего не отвечали. Илья нетерпеливо крякнул, бросил на палубу свои кожаные рукавицы и обратился к косным.

— Спущайте неволю... Попробуем сперва неволей сняться, авось и слезем с огрудка.

Неволей называется громадное бревно, затесанное с обеих сторон; оно походит на громадную доску, в несколько вершков толщины. Таких неволь при каждой барке обыкновенно две, и они плывут около бортов, несколько предохраняя борты от ударов о бойцы.

Через пять минут косные были готовы, то есть сняли кафтаны, сапоги и остались в одних рубахах. Один из них, здоровый мужик с русой бородкой, засучил штаны и, держась за борт барки, встал на неволю.

— Ах, студяно, — проговорил он, пробуя голой ногой холодную воду, — жгется вода-то…

— Ну, ну, не разговаривай! — кричал Илья. — Вавило, отвязывай неволю, а ты, Сергей, иди на конец.

Молодой парень в красной рубахе тряхнул волосами, перекрестился и разом перескочил через борт на неволю.

— Приготовь чегень, Прошь!

— Готово, — отозвался мужик, с русой бородкой, меряя дно коротким колом, который называется у бурлаков «чегенем». — Четвертей пять будет, — проговорил он…

— Видно, нечего делать, придется идти в воду, — решил Илья. — Не берет неволя... Ну, кто из молодчиков воды не боится? Ну, ребятки, которые помоложе, раздевайтесь да за работу!

Косные и человек десять молодых бурлаков сняли лапти, зипуны и остались в одних рубахах. Нужно было спускаться в воду под левое плечо, чтобы сдвигать его чегенями. Работа в холодной весенней воде тяжелая и крайне опасная. Бурлаки ее не любят, но приходится лезть в воду, потому что время не ждет. Мимо нас проплыло уже несколько барок. Завидно было смотреть на них, когда своя барка лежит на песке, как черепаха.

— Ну, братцы, чегени левое плечо! — скомандовал Илья, бегая по передней палубе. — А вы, как ударят поносные, — кричал он косным на неволе, — поворачивай неволю... Да разом, братцы! Все разом...

Человек пятнадцать бурлаков выстроились под левым плечом барки и подхватили его своими чегенями.

Некоторым вода доходила по грудь. Лица посинели, у многих стучали зубы от холода.

Положение было самое некрасивое... Чего стоило простудиться в этой ледяной воде и потерять не только здоровье, но и жизнь. От таких съемок много бурлаков уходят в могилу или на всю жизнь остаются калеками.

Когда неволя была приготовлена, и бурлаки стояли у поносных, Илья сам затянул «Дубинушку».

Што, ребята, присмирели,
Али выпить захотели...

Бурлаки подхватили.

Ой, дуби-инушка ухнем!
Раззеленая сама пойдет,
Сама пойдет... Подернем!..

— Идет барка! — кричал Илья, меряя воду длинным шестом. — Еще маненечко!.. Нос налево, молодцы!.. — кричал Илья. — Корму поддоржи... корму! корму!

Барка, как черепаха, поворачивала корму, крайне тяжело буравя носом песок, который под левым плечом образовал целую гору.

— Подчегенивай левое плечо!! — кричал Илья. — Молодцы, подчегенивай!.. Ай да молодцы!.. Еще разик!..

— Барка пошла... Барка пошла!! — закричали десятки голосов, и бурлаки с чегенями, как кошки, принялись карабкаться по бортам.

Барка была уже на вольной воде и тихо поплыла кормой вперед, «отурилась», как говорят бурлаки.

— Ну, слава богу, — проговорил Илья, — спасибо, ребятушки!.. По стакану водки на брата!..

После такой ледяной ванны водка была необходимостью, чтобы хоть немножко согреться. У некоторых бурлаков нечем было переменить мокрые рубахи, и они прямо на них надевали свои сермяги.

— У поносного-то согреются поманеньку, — объяснил Илья. — Этакий грех вышел... Поди ты!

— Отчего у вас огня нет на барке, Илья? — говорил я. — Вот бы бурлаки и погрелись...

— Ну, нет, барин, ежели из ледяной воды да к огню, — тут тебе и конец... Уж это мы даже оченно хорошо знаем! Который бурлак, ежели не обтерпится так, да сунется к огню, — сейчас пропал. Верно!.. Это уж завсегда так. У кого руки отнимутся, у кого ноги, а кто

и совсем помрет.

— Да это хорошо говорить, когда на тебе все сухое, а каково вон им, которые в мокром стоят на палубе...

— Что же делать, потерпят... Ведь не впервой... Вот у Молокова да у Разбойника все согреются, пот прошибет. Ах, ты, подумаешь, грех какой вышел!.. А?!

X

Мы проплыли мимо деревни Камасино, под железнодорожным мостом, а затем показалась скоро и небольшая деревенька Кумыш. Эта последняя деревня замечательна тем, что пониже ее стоят самые опасные бойцы на всей Чусовой, — Молоков и Разбойник. Много барок бьется о них, особенно в высокую воду. Чусовая идет здесь в низких берегах, широким разливом, далеко заливая поемные луга; Молоков и Разбойник являются как бы последним и самым страшным препятствием, которым старик Урал загораживает еще раз путь горной красавице Чусовой.

Под Молоковым Чусовая делает поворот, и в привале этого поворота, куда сносит стру-

ей барку, стоит страшный боец. Самый камень издали не представляет собой ничего особенно страшного: это большая скала, которая повернулась навстречу воде своим отлогим краем. Вот по этой-то отлогости вода взбегает высоко на самый боец, а затем с страшным ревом и стоном бежит назад, в реку, образуя под бойцом настоящий ад из пенящихся волн. Еще издали слышно, как ревет река под Молоковым, а ближе вы видите только, что вся вода здесь превращается в сплошной поток белой пены, точно под бойцом кипит молоко. Отсюда и название самого бойца — Молоков.

— Шапки долой! — командовал Илья, когда наша барка с гробовым молчанием начала подходить к бойцу. — Постарайтесь, родимые!..

Конечно, бурлаков нечего просить о работе, они сами сознают всю важность наступающего момента и не пожалеют силы, чтобы барка птицей пролетела под самым страшным бойцом.

Нашу барку подхватило струей и со страшной быстротой понесло прямо на боец.

Река суживается к бойцу, и чувствуешь, как барку подхватывает могучая стихийная сила и с увеличивающейся быстротой мчит к страшному каменному выступу.

Вот уж мы в полосе пенящейся воды, которая, как бешеная, лезет седыми гребнями на борты нашей барки... Вот и сам грозный Молоков... Он точно растет с каждой секундой и быстро приближается к нам. Сознание собственного движения как-то теряется в этом хаосе звуков, голова кружится, и кажется, что мимо барки бегут берега, а впереди ждет неумолимая, кипящая бездна. Но вот несколько сажен до Молокова... в воздухе стоит водяная пыль... Еще одна секунда, и нас измелет в страшном водовороте... В самый критический момент, когда общая погибель кажется неизбежной, раздается команда Ильи, поносные разом упали в воду, и барка быстро прошла под бойцом, в каких-нибудь двух аршинах от рокового выступа.

Мы спасены. Не верится, что опасность миновала так быстро. А впереди ждет Разбойник, но теперь он уже не страшен нам, потому что барка плывет по суводи.

— Похаживай, молодцы! — весело покрикивает Илья, похлопывая своими кожаными рукавицами.

Под Разбойником барка прошла благополучно. У всех отлегло от сердца. Слышатся смех и веселый говор. Кто-то мурлычет себе под нос песенку. Вон на берегу лес, дальше поля, изгороди, а там крошечная безыменная деревенька приткнулась на высоком берегу, на самом юру и весело смотрит под гору, где под кручей вереницей бегут коломенки.

— А есть на Чусовой еще такие места, как Молоков с Разбойником? — спрашивал я у Ильи.

— Таких-то нет, а около того попадаются... Сплавщик с Дружным, Печка с Высоким: одна у них музыка-то, пожалуй. Ничего, хорошие, веселые бойцы!..

Если в горной части Чусовой можно встретить разбитые барки, то ниже Камасина начали попадаться барки обмелевшие. Кое-где они снимались с огрудков, как и мы у Камасина, другие совсем обсохли и стояли наполовину в воде без всяких признаков жизни. Рабочие ушли, а груз караулили одни водоливы.

Остальной наш путь, кроме исторических воспоминаний, не представлял ничего особенного. Попало несколько сел, которые красовались на высоком берегу, а там — или луга, или лес. На всем пути от Камасина до Перми, чуть не на трехсотверстном расстоянии, стоит всего одно селенье, это — Верхние и Нижние Чусовские Городки, которые имеют для настоящего времени только исторический интерес, как одно из первых русских поселений на Чусовой.

...На четвертый день мы благополучно привалили в Пермь. Здесь, на пароходе, сидя в общей каюте второго класса, я долго перебирал впечатление тревожного пути по Чусовой. Только испытавши все опасности сплава на барке, настоящим образом оценишь все удобства путешествия даже на самом скверном пароходе.

Около нодьи

I

Погода крепчала. По ровной поверхности снегового уровня реки тонкими струйками пробегал мелкий снег, заметавший узкую проселочную дорогу. Небольшие сани, нагруженные до верха кожаными мешками «с почтой», едва тащились по этому сыпучему снегу, точно ехали по толченому стеклу. Небольшая мохнатая лошаденка останавливалась уже несколько раз, фыркала и оглядывалась. Ямщик Евстрат передвигал свою меховую шапку с одного уха на другое и ворчал:

— Эх, не в хороший мы час выехали с тобой, Лука Иваныч... Не пришлось бы заноче-

вать в лесу.

— Ничего не поделаешь: служба...

Лука Иваныч, земский почтальон, представлял из себя что-то вроде ледяной сосульки. Из-под надвинутой на лицо меховой оленьей шапки с наушниками выглядывали одни глаза, а ниже глаз кончался воротник старой волчьей шубы, присвоенной по штату всем русским почтальонам. Свободного места в санях, занятых почтой, не оставалось, и он, как акробат, приткнулся как-то в уголке, рискуя вылететь из саней каждую минуту. Волчья шуба давно вылезла и плохо грела, и Лука Иваныч, наученный горьким опытом, старался занять как можно меньше места, то есть корчился, поджимая под себя руки и ноги, чтобы не терять живой теплоты. Он на практике выполнял закон физики, который гласит, что чем меньше поверхность нагретого тела, тем оно меньше выделяет собственной теплоты.

— Ничего, Евстрат, как-нибудь доедем, — говорил Лука Иваныч, стараясь не шевелиться, — каждое движение вызывало у него острую боль. — До Каменки всего верст пять

осталось...

Евстрат ничего не ответил, а только передвинул шапку с уха на ухо. Он был одет очень плохо и давно начал коченеть на морозе. Положим, для него мерзнуть было делом привычным; но сегодня мороз делался нестерпимым, — было около сорока градусов, когда замерзла ртуть в термометре и мерзла птица на лету.

Терпение мохноногой лошадки, тащившей земскую почту, кончилось. Она остановилась и, несмотря на удары хлыста, не желала двигаться дальше.

— Ишь тварь! — обругался Евстрат.

Он, не торопясь, слез с облучка, обошел кругом сани, отоптал сгрудившийся под передком снег, навалился плечом на оглоблю, дернул вожжами, — лошадка сделала судорожное усилие, но сани точно замерзли в снегу.

— Ишь ты, какая штука вышла... — проворчал Евстрат, передвигая шапку.

Он обошел лошадь, вытер рукавицей снежок, залепивший ей глаза и ноздри, и еще раз передвинул шапку.

— Шабаш, Лука Иваныч... Нету нам дальше с тобой ходу.

Лука Иваныч рассердился.

— Как нет ходу? Всего пять верст осталось... Не замерзать же в снегу?!.

— Зачем замерзать, Лука Иваныч... А только лошаденка из последних силов выбилась. Придется в лесу отдохнуть.

Лука Иваныч обругал ямщика. Он мечтал провести ночь в теплой избе, обогреться, закусить чего-нибудь горяченького, напиться чаю из котелка, а тут предстояла ночевка в лесу. Другими словами, приходилось замерзать. В голове Луки Иваныча промелькнул целый ряд самых обидных мыслей, а прежде всего то, что сегодня рождественский сочельник, когда добрые люди сидят у себя по домам и ждут наступления великого дня.

— Какой у нас сегодня день-то? — кричал он на ямщика. — А?.. Ну, какой?..

— Известно какой!.. — спокойно ответил Евстрат. — Сочельник... Добрые люди до вечерней звезды не едят.

Лука Иваныч с тоской посмотрел кругом. Дело уже шло к вечеру. Солнца не было вид-

но, по отражению заката можно было определить его заход. Извилистая горная речка огибала крутой каменистый мыс, за которым виднелась зубчатая стена хвойного леса. Напротив шла по берегу утесистая гряда, покрытая редким леском.

«Где же тут ночевать?» — с тоской подумал Лука Иваныч, вылезая из саней.

— А ничего, мы нодью устроим, — ответил на его тайную мысль Евстрат. — В лучшем виде переночуем… Еще вот какое тепло разведем. Ты не сумлевайся, Лука Иваныч…

Лука Иваныч молчал. Он чувствовал только одно, что замерзает.

— Нодью устроим, — повторил Евстрат, передвигая свою шапку.

II

Лука Иваныч больше ничего не говорил. Он слишком устал и продрог, чтобы спорить с ямщиком. Пусть его делает что хочет... Евстрат побрел но снегу на правый берег, где гребнем каменным врезался в реку крутой мыс. Начинало темнеть. Погода все крепчала. По реке тянул холодный ветер, как по коридору. Откуда-то издали донесся голос Евстрата: «А-у!..» Было уже совсем темно, когда он вернулся.

— Насилу нашел, — объяснил он, едва переводя дух. — Во какую сухарину[36] обыскал... Настоящая еловая. На всю ночь хватит, и от нас еще останется.

Лука Иваныч ничего не ответил. Евстрат взял лошадь под уздцы и повел к берегу, шагая по колено в снегу. Несколько раз лошадь останавливалась, и Евстрат помогал ей тащить сани.

— Ну! Ну! богова скотинка!.. Не бойся...

У самого берега лошадь остановилась. Она окончательно обессилела и стояла понурив голову.

— Ведь всего-то осталось сажень пятьдесят, — думал Евстрат вслух. — Ну, Лука Иваныч, вылезай... Дальше-то уже, видно, на своих на двоих пойдем. Эх, грех-то какой вышел... Так ты того, Лука Иваныч, значит, выходи...

— А как же, например, почта? — говорил Лука Иваныч, с трудом вылезая из саней.

— Не беспокойся, Лука Иваныч, рукой подать... Вот тут и есть. Вон сухарина-то стоит... А твою пошту я на спине переволоку...

Дорожная истома, холод и безнадежность вообще привели Луку Иваныча в такое состояние, что он отдался беспрекословно в полное распоряжение Евстрата. Все равно, хоть в медвежью берлогу веди... Подъем в гору Луке Иванычу показался вечностью, пока Евстрат не остановился под «завесистой» елью.

— Вот какое логово устроим, — говорил он, точно попал домой. — Из пушки нас не вышибешь...

По каким-то никому не ведомым законам снег никогда не заносит корней деревьев. Евстрат усадил Луку Иваныча к самому дереву и в несколько минут развел костер из сухой

хвои. Это был настоящий лесной человек, никогда не бывавший в городе, и в лесу он был, как у себя дома. Один вид огня произвел на Луку Иваныча оживляющее впечатление. Есть тепло, значит, можно еще жить...

— Ты тут сиди, а я сейчас пошту переволоку, — объяснял Евстрат. — Наше дело привышное... В лесу родились, в лесу и помрем... Местечко-то хорошее, за ветром, — значит, в тепле будем.

Обессилевший вконец Лука Иваныч мог только удивляться выносливости Евстрата, который по мешку перетаскал всю почту под елку, а потом распряг и привел к огню лошадь.

— Тоже вот продрогла богова скотинка, — ласково говорил Евстрат, смахивая с лошади снег. — Пусть погреется малым делом... А я сейчас, Лука Иваныч, сухарину разрублю для нодьи.

— Хорошо, хорошо...

— А ты того, костер-то подкармливай, штобы не потух.

Скоро в лесу раздались звонкие удары топора, рубившего твердое, сухое дерево. Луке

Иванычу сделалось даже немного совестно, что он сидит у огня барином, а Евстрат работает со всего плеча. Потом послышался треск рухнувшего на землю дерева. А через полчаса к костру Евстрат притащил два обрубка сухарины — один аршина четыре длиной, а другой немного короче. Он так согрелся за работой, что от него валил пар. Лука Иваныч еще в первый раз видел, как устраивают нодью, а Евстрат удивлялся, что существуют на белом свете такие люди, которые не знают такой простой вещи.

— Не замерзать же в лесу, Лука Иваныч... Костер-то пыхнул, — и нет его, а нодья погорит до самого утра, и тепло от нее, как от хорошей печи. Прежде-то ясачил,[37] за Печерой, когда помоложе был. Ну, из дому уходили по первопутку месяца на два... Разный харч...[38] везешь с собой в нарте[39] Тяжеленько доставалось, особливо когда со студеного моря закрутит сиверко. Спать-то приходилось все время в снегу, ну, только и спасались, что нодьей. Мать родная она для нас... И по осеням около нодьи ночевали тоже. Ночи в горах студеные, сам-то весь промокнешь на

дожде, а спать приходилось на сырой земле… Ох, всячины напринимался, когда ясачил.

Евстрат потушил костер и на его месте положил обрубок покороче, укрепив его по краям четырьмя кольями.

— Ну, а теперь уж ты мне помоги, Лука Иваныч, — говорил он, поднимая за конец второй обрубок. — Мы его сверху навалим…

Отогревшийся Лука Иваныч с удовольствием принялся помогать. Когда второй обрубок был положен, Евстрат объяснил:

— Ежели плотно их положить, бревешки, друг к другу, так не будут гореть… Нужно забить между ними клинушки так, чтобы руку можно было просунуть. А в паз-то моху набьем да головешку от костра сунем, да угольков подсыплем.

Нодья затлелась. Евстрат, припав на колени, долго раздувал огонь.

— Тоже ей не полагается настоящим огнем горсть, — объяснял он. — Пусть потихоньку тлеет… Ежели положить сосновые или березовые бревешки, так никакого толку не будет: сразу вспыхнут и сгорят. Тоже и пихта не годится… А вот сухая елка самое разлюбезное

дело. Ну, теперь готова вся музыка. До утра протлеет.

Устроив нодью, Евстрат принялся готовить «перину», то есть надрал из-под снега мху и обсыпал его мягкими пихтовыми ветками.

— Прямо на зеленом пуху будем спать, Лука Иваныч. Мы из снегу стенки сделаем, чтобы не поддувало с боков. От снегу тоже тепло идет, ежели за ветром. Мы-то к этому делу привычные люди...

Луке Иванычу сделалось окончательно совестно, когда он растянулся на устроенной Евстратом «перине». Действительно, было и тепло и сухо, и даже уютно. От нодьи тянуло ровным теплом, так что даже было жарко лежать. Евстрат устроил себе такую же перину по другую сторону нодьи.

— А теперь животную обрядим, чтобы не дрогла на морозе, — думал вслух Евстрат.

Он наломал мягких пихтовых веток, сплел из них что-то вроде коврика и накрыл ими дрожавшую от холода лошадь, а потом сходил к оставленным саням и принес небольшую охапку сена.

— Это животной будет заместо чаю... —

шутил Евстрат, устанавливая лошадь так, чтобы и на нее тянуло от нодьи теплом.

Когда было все устроено, Евстрат присел около нодьи на корточки, раскурил деревянную трубочку и проговорил:

— Ну, Лука Иваныч, поздравляю с новосельем... Вот только одна ошибочка вышла у нас с тобой... да. Закусить бы нам с тобой теперь в самый раз, а закусить-то и нечего.

— Забыл взять хлеба?

Евстрат повернул свое загорелое лицо, обросшее, точно болотным мхом, жиденькой бороденкой песочного цвета, и ответил с какой-то больной улыбкой:

— А нету его, хлебушка-то!

— Как нету? — удивился Лука Иваныч.

— А так: нету — и шабаш. Голодуха у нас прошла по всему чердынскому краю... Земля студеная, неродимая... Едва-едва сенцом сколотились для скотинки, да и то в обрез. А уж сами-то кое-как...

— И у меня тоже нет с собой ничего, — признался Лука Иваныч. — Эх, и жизнь только наша почтовая, настоящая каторжная... Хуже ее и не найти, Евстрат. Летом на солнце

жаришься, зимой на холоде мерзнешь, осенью дождем тебя мочит, ветром продувает... А в распутицу весной всю душу вымотает по гатям да болотам. В прошлом году у нас один почтальон так-то весной утонул на одной переправе через реку. И речонка-то не велика, а тут весной вот как разыгралась.

Разговорившись о своей почтовой службе, Лука Иваныч почувствовал себя самым несчастным человеком в свете. Да, добрые люди сидят теперь в тепле да ждут праздника, а вот он должен корчиться около нодьи. И ничего не поделаешь: почта не ждет...

— У тебя в городе-то жена есть, Лука Иваныч?

— Есть жена...

— И детками господь наградил?

— Есть и детки... Старшей девчонке уже восьмой год пошел, а Ваньке четыре года исполнилось. У них сегодня елка. Жена-то моя швеей жила у господ и выучилась разным господским порядкам. Одним словом, баловство...

Евстрат не слыхал никогда, как устраивается господским детям рождественская елка,

и Лука Иваныч объяснил ему.

— Так, так... — соглашался Евстрат. — Экое житье, подумаешь, вашим городским ребятам... У наших, вон, и хлебушка нет для праздника. Моя старуха испечет ковригу хлеба, так и разделить ее не знает как. Ну, ребятам в первую голову нарежет, а, глядишь, самой-то ничего и не осталось... Вот тебе и весь праздник.

Выкурив свою трубочку, Евстрат отправился спать по другую сторону нодьи и долго что-то бормотал себе под нос. Лука Иваныч начал сладко дремать. Скверно было только то, что приходилось переворачиваться с боку на бок, когда от нодьи слишком уж нагревалась одна половина тела. Он долго смотрел на усыпанное яркими звездами небо и думал о том, что теперь делается дома. Елка уже кончилась, и ребята полегли спать. Жена что-нибудь работает и, наверное, думает о нем. Добрая она, заботливая...

— Лука Иваныч, ты спишь?

— Нет, а что?

— Да так... Лежу я и думаю, какое тебе житье-то издалось. Помирать не надо... Ей-богу!

И сам сыт, и ребятки, и жена... Поди, и шти каждый день?

— Да.

— Вот, вот... С говядиной шти-то? Да еще каша, да каша-то с маслицем?.. Хоть бы денек так-то пожить, Лука Иваныч. Жалованья-то сколько получаешь?

— Пятнадцать рублей...

— Пятна-адцать? Масленица, а не житье тебе, Лука Иваныч...

Лука Иваныч проснулся только утром, когда кругом уже было светло. Нодья догорала. Лука Иваныч сел на своей «перине» и улыбнулся. Ложился он спать самым несчастным человеком, а проснулся самым счастливым... После вчерашнего разговора с Евстратом у него был праздник на душе.

Под домной

Фабрика[40] закрывалась в рождественский сочельник. Все фабричные корпуса пустели, точно рабочих выметали метлой. Печи переставали дымить; работала одна доменная печь, которую нельзя было остановить.

— Другим праздник, а нам работа, Ванька, — говорил доменный мастер Ипатыч своему племяннику Ваньке, мальчику лет одиннадцати, который служил под домной на побегушках. — Моя старуха не любит сидеть и в праздник без дела, как другие печи.

«Старухой» Ипатыч называл свою доменную печь. Он говорил о ней, как о живом человеке, причем его заросшее бородой лицо

всегда улыбалось.

Ванька, красивый черноволосый мальчик, очень любил дядю, главным образом потому, что другого такого дяди Ипатыча не могло и быть.

Старик всегда был весел и всегда говорил шуточками и прибауточками.

Рабочие тоже любили своего доменного мастера, который и дело знал и зря никого не обижал. «Сказано — сделано» — было его любимой поговоркой.

Собственно, последние пятнадцать лет Ипатыч безвыходно провел около своей доменной печи. Домой он приходил только в субботу, чтобы отмыть в бане заводскую сажу да пообедать в воскресенье или праздник.

— Как я оставлю старуху, — объяснял он. — А, вдруг она закашляет. Тоже у ней свой карахтер... Зазевайся только... это ведь не «мартын», который только и знает, что дымит.

«Мартыном» заводские рабочие называли печи Мартена, в которых прямо из чугуна приготовлялась сталь. От этих печей получается особенно много дыма.

— Или взять Сименса, этот жрет что угод-

но: корье, щепу, сырые дрова, а моя старуха свой карахтер уважает: подавай ей все чистый уголек.

Печи Сименса, благодаря разным усовершенствованиям, отапливаются сырыми дровами; а для других печей дрова предварительно высушиваются в особых камерах. Ипатыч признавал только свою «старуху», а к остальным печам Относился презрительно.

— Моя старуха всех их кормит, барин, — объяснял он, — а не даст чугуна старуха, и сидите все голодом. Вот я ее и прикармливаю угольками... Любит моя старуха их, только ими и питается, как барыня сахаром.

Почему-то Ипатыч был глубоко убежден, что все «барыни» питаются одним сахаром, хотя ни одной «барыни» и в глаза не видал, а говорил понаслышке.

Ванька с семи лет тоже почти все время жил на фабрике. Сначала он приносил отцу обед и страшно всего боялся, особенно когда пускали в движение маховое колесо. Мальчику казалось, что вот-вот разлетится вдребезги вся фабрика. А как стучал обжимочный молот, под которым проковывали раскаленные

добела железные крицы, как гремели прокатные станы, на которых прокатывалось сортовое железо, как визжала круглая пила, срезывающая концы железных полос!..

Везде ярко горел огонь, дождь раскаленных искр сыпался из каждого горна, лязг железа, громкий крик рабочих, старавшихся перекричать грохот работавших машин, — одним словом, настоящий ад из огня и железа.

Отец Ваньки работал у прокатного стана, его лицо было точно запечено от страшного жара раскаленных добела болванок и красных полос пропускавшегося через машины железа.

Когда он в смену выходил подышать на двор свежим воздухом, вся рубаха бывала мокрая от пота.

Раз отец Ваньки вышел на воздух прохладиться, простудился и умер от горячки через две недели. Ваньке было тогда девять лет, и дядя Ипатыч взял его к себе под домну.

— В тепле будешь сидеть, по крайней мере, — объяснил он. — «Сирота растет — миру работник», — так старики говорят. Теперь ты просто Ванька, потом будешь Иваном, а ум

будет — целый Иван Андроныч будешь. Одним словом, старайся.

Дядя Ипатыч выхлопотал Ваньке поденщину по десяти копеек в день.

Так Ванька и остался под домной, где скоро обжился и привык, точно у себя дома. Работа была нетрудная в дневную смену, а когда приходилось работать по ночам, Ванька спал на ходу. Правда, Ипатыч берег малыша и не томил непосильной работой, но не спать ночь было похуже всякой работы.

— Ничего, привыкнешь, — утешал его Ипатыч. — Уж мы с тобой природные мастеровые, — значит, только старайся. А будешь болтать, очень просто — за вихры.

И Ванька старался.

Доменная печь казалась Ваньке, как и дяде Ипатычу, чем-то живым: мальчик часто прислушивался к шуму доменных фурм, которыми нагнетался в поддувало воздух, и ему представлялось, что это дышит сама домна.

Устройство печи и ее работа были хорошо известны Ваньке еще раньше. Он видел, как на пожоге обжигают руду; потом, как мальчики его возраста разбивают ее на мелкие кус-

ки, а потом эту измельченную руду свозят на верх доменной печи и засыпают вперемежку с углем.

Наверху работа шла без перерыва день и ночь, как и под домной. Выпуск чугуна производился два раза в день, и перед каждым выпуском дядя Ипатыч делал пробу, то есть в особую форму отливал взятый из печи расплавленный чугун, а когда он остывал — разламывал... Если получался мягкий серый чугун, Ипатыч хвалил «старуху», а если жесткий, белый, с лучистым изломом, старик начинал ругаться.

Впрочем, он никогда не ругал самой печи, а ругался так, в пространство, чтобы сорвать сердце.

Всех рабочих под домной «обращалось», как пишут в заводских отчетах, около двадцати человек. Сами рабочие не говорят: «работать под домной», а «ходить под домной». Тут были и литухи, то есть рабочие, которые отливали чугун в постоянные изложницы и в специальные формы; и формовщики, приготовлявшие в особом помещении формы для чугунных отливов; и простые рабочие; и

мальчики, как Ванька, подметавшие сор и летавшие по разным поручениям по всей фабрике.

Работа под домной была не тяжелая, и Ванька чувствовал себя на фабрике совсем хорошо, но нет худа без добра и добра без худа.

Было одно обстоятельство, к которому Ванька не мог привыкнуть: именно — когда являлся заводской управитель, которого рабочие прозвали «Карла».

«Карла» появлялся всегда неожиданно, точно вырастал из земли, и появлялся именно в то самое время, когда его меньше всего ожидали. Это был среднего роста белокурый человек с длинными рыжими усами и козлиной бородкой. Зиму и лето он ходил в коротенькой охотничьей курточке, заложив руки в карманы. Он служил в Полуденском заводе больше десяти лет, но рабочие как-то не могли к нему привыкнуть.

Главным недостатком «Карлы» была дикая вспыльчивость, в порыве которой он даже начинал прыгать, как индейский петух, и ругаться на трех языках. Впрочем, он был отходчив, то есть скоро успокаивался и делался

другим человеком. Дядя Ипатыч уважал «Карлу», потому что по всякому фабричному делу «он собаку съел», особенно по доменному производству.

— Точно носом чует, — удивлялся Ипатыч, — ты еще не подумал, а он уж учуял.

Что «Карла» был строг и ругался, это еще ничего; но рабочие не любили его главным образом за то, что он всегда держал свое слово: скажет, как топором отрубит. Его нельзя было ни упросить, ни умолить.

— Мой сказал — конец, — отвечал «Карла» на все вопросы.

Особенно не любил «Карла» прогульных и послепраздничных дней, когда рабочие не выходили на работу.

— Ти кушаешь каждый день, я кушаю каждый день, — коротко объяснял он, посасывая коротенькую трубочку. — Ти должен работать каждый день, я должен работать каждый день, всякая скотина должна работать каждый день, если она хочет кушать... Ти будешь пьян, я будешь пьян, весь завод будешь пьян... Завод знает свою работу, — ему не нужен твой праздник...

Дядя Ипатыч по праздникам, когда уходил домой обедать, возвращался под домну слегка навеселе, и «Карла» грозил ему пальцем, приговаривая:

— О, я тебе дам праздник на голова. Ти мне козла садил будешь.

Впрочем, доменного мастера «Карла» любил и часто делал вид, что не замечает его нетвердой походки, красных глаз и заговаривающегося языка.

— Уж лучше бы обругался, — бормотал дядя Ипатыч, когда управитель уходил. — Душеньку выматывает, проклятый немчура...

«Карла» был совсем не немец, а чистокровный француз, и звали его не Карлом, а Густавом. А свою кличку он получил по наследству: в соседнем Кловском заводе служил когда-то управитель, немец Карл Мейер.

Ванька и боялся немца «Карла» и еще больше ненавидел его. Немец казался ему таким злым. Недаром все рабочие боялись его, как огня. На его глазах «Карла» отказал Пимке Мятлеву, работавшему у обжимочного молота подмастерьем, прогнал из-под домны литуха Спирьку, трех слесарей, — вообще,

сколько народу из-за «Карлы» осталось без работы! Кроме фабрики, какая у них работа?.. Раньше-то все как хорошо жили, а как прогнал их «Карла», так все и захудали. Уволенные рабочие под пьяную руку грозились даже убить проклятого «Карлу», и Ванька понимал их. Он сам иногда думал, что хорошо было бы запустить в «Карлу» хорошим камнем.

«У, немец проклятый...» — думал про себя Ванька.

Когда «Карла» ходил по фабрике, Ванька всячески старался не попадаться ему на глаза; а когда он приходил под домну, Ванька прятался куда-нибудь подальше. А вдруг «Карла» возьмет и откажет ему от работы? Дядя Ипатыч заметил, что Ванька боится управителя, и любил пошутить над ним.

— Ужо он тебе задаст, Ванька... Он и под домну к нам ходит из-за тебя. «А что Ванька делает? А как Ванька работу исполняет?» То-то! И на тебя нашлась управа.

Ванька больше всего любил свою домну зимой. Все кругом занесено саженным снегом. Зимние дни короткие. Ветер, холод, снег. А под домной всегда и тепло, и светло, и уют-

но — лучше, чем у себя дома, в избе. Везде горят огни, везде кипит работа, и все такие веселые. В холод работается легче.

* * *

Раз зимой Ванька устроился спать на деревянной лавочке, недалеко от гудевших фурм. Было тепло, ему страшно хотелось спать. Дядя Ипатыч сердился целый день, потому что «старуха» что-то не ладилась. Старик много раз подходил к фурмам и долго прислушивался к их гуденью, как пасечник прислушивается к гуденью пчел в улье.

— Не тово... — бормотал он, встряхивая головой. — Старушонка сердится.

Проба вышла плохая — белый чугун.

Ночной выпуск чугуна производится ровно в двенадцать часов. Ипатыч хватился Ваньки.

— Эй ты, лежебок, вставай! — будил дядя Ипатыч спавшего легким сном Ваньку.

Детский сон крепкий, и Ванька спросонья долго не мог проснуться, пока Ипатыч не сунул ему в руки пук лучины.

— Иди, свети... Сейчас пущаем чугун.

Это было знакомое дело, и Ванька маши-

нально отправился к «глазу», как называли рабочие отверстие в домне, из которого выпускался чугун. Этот «глаз» после выпуска чугуна заделывался кирпичами и глиной, и только по сочившемуся из него шлаку можно было определить его. Ванька обыкновенно зажигал лучину, сунув ее в доменный «глаз».

Так он сделал и сейчас. Пук лучины вспыхнул ярким огнем и осветил весь доменный корпус. Литухи притащили большой железный лом и принялись им долбить доменный «глаз».

После нескольких ударов показалась красная струйка расплавленного чугуна и поплыла в приготовленные формы, рассыпая кругом яркие искры.

Для обыкновенной чугунной болванки приготовлены были постоянные формы, тоже из чугуна, где расплавленный чугун и застывал.

Получалось что-то вроде чугунных поленьев. Для мелких отливок расплавленный чугун уносили в особых железных котлах в формовочную.

— Ничего, — проговорил дядя Ипатыч, ко-

гда все формы наполнились жидким чугуном, шипевшим и рассыпавшим искры. — Старуха напрасно посердилась.

Ванька погасил свою лучину и дремал, прислонившись к теплой стене домны. Он сотни раз видел картину выпуска чугуна и не мог уже любоваться великолепной картиной.

Дядя Ипатыч при каждом выпуске впадал в какое-то ожесточенное настроение и кричал на рабочих без всякого толка. Все к этому привыкли и не обращали на него внимания, а меньше всех, конечно, Ванька.

Но вдруг все стихло. Ванька открыл глаза и онемел: перед ним стоял сам «Карла» и, грозя пальцем, говорил:

— Ти спишь... а? Ти падешь в чугунка... а? Ти сваришься, как маленькая рибка... а?

Вместо ответа Ванька стрелой бросился к выходу и исчез в дверях, как испуганная летучая мышь. «Карла» обернулся к Ипатычу и спросил:

— Что с ним?

— А значит, мал... дурашлив... испугался, значит...

Ванька, выскочив на мороз, сразу очнулся

и, как белка, взобрался по лестнице на самый верх домны.

— Эк тебя носит, востроногого! — удивились рабочие.

Ваньке сделалось совестно за собственное малодушие, и он не сказал, что «Карла» под его домной. Он погрелся около огня и прилег на лавочку. В тепле его опять начал одолевать мертвый сон. Но ему не удалось заснуть и на этот раз, потому что послышались быстрые шаги и вошел «Карла» в сопровождении дяди Ипатыча.

— А, ти здесь?.. — проговорил «Карла», когда Ванька соскочил со своей лавочки. — Ти меня боишься? Хорошо, я тебе задам... О, я самый сердитый человек!

«Карла» присел на лавочку и заставил Ваньку сесть рядом с собой.

— Так боишься меня? — спрашивал он, выколачивая трубочку о каблук сапога.

— Боюсь... — по-детски произнес Ванька.

Это признание заставило «Карлу» улыбнуться. Набивая свою трубочку, он спросил уже другим тоном:

— У тебя есть мать?

— Как же, есть... — ответил за Ваньку дядя Ипатыч. — Значит, родная сестра мне приходится.

«Карла» смотрел на перебегавшие в пепле доменной печи синие огоньки и точно думал вслух:

— У меня тоже есть мать... там... далеко... Она постоянно думает обо мне и ждет, когда я вернусь... да. Когда я уезжал в Россию, она так горько плакала... Да, мать... Она говорила мне быть честным, справедливым, добрым.

Он говорил ломаным русским языком, но все его отлично понимали.

— Да, там далеко прекрасная страна... — продолжал «Карла». — Там умеют работать... Все работают... Мой отец был таким же доменным мастером, как Ипатыч. Я с детства вырос под домной, как Ванька... И так же хотел постоянно спать, как Ванька... Наша семья была большая, и отцу было очень трудно. Все должны были работать... О, там все много работают, постоянно работают...

Оглядев рабочих, «Карла» спросил:

— Кто у вас грамотный?

Ни одного грамотного не оказалось, и

«Карла» покачал головой. Бедная, несчастная страна, где простая грамотность составляет недоступную роскошь.

— А слышал кто-нибудь о Франции? — спросил «Карла».

Все только переглянулись, но выручил Ипатыч:

— Француз приходил в двенадцатом году в Россию...

«Карла» только улыбнулся и, погладив Ваньку по голове, спросил:

— Сколько тебе лет?

— А одиннадцать...

По лицу «Карлы» точно пробежала тень. Да, его сыну тоже было бы одиннадцать лет... Бедный маленький французик не мог перенести жестокого русского климата, переболел всеми болезнями и похоронен под русским снегом.

— Да, и ему было бы одиннадцать лет, моему маленькому Адольфу... — думал он вслух.

Ванька с удивлением видел, как немец заморгал глазами.

— У нас тоже ребята мрут, страсть... — заметил дядя Ипатыч, слышавший, что у жены

«Карла» был ребенок и помер на третьем году, и понял, что «Карла» говорит именно про него.

Ванька смотрел на «Карлу» и думал:

«А ведь он наш, рабочий человек, и он добрый… Да, совсем добрый»…

Под землей

I

Наступил короткий зимний вечер. Падал мягкий, пушистый снежок. Целые Две недели страшный бушевал буран, сменившийся оттепелью. Но в избушке Рукобитова было и сыро, и холодно. По вечерам долго сидели без огня, сумерничали, чтобы напрасно не изводить свет, который давала дешевенькая сальная свеча. Дарья, жена Рукобитова, в потемках перемывала горшки да плошки, а бабушка Денисиха вечно сидела на своей лавке с прялкой и без конца вытягивала нитку из кудели. Веретено мерно и ровно жужжало

в ее старческих руках, точно громадная муха. Это веретено занимало тощего, вечно голодного котенка, который напрасно старался поймать его лапой, и внучка Михалку, который от нечего делать валялся в сумерки на полатях. Бабушка Денисиха любила поворчать, вернее сказать, — от старости начала думать вслух. Так и теперь под жужжанье своего веретена она говорила:

— Вот и слава богу и до рождественского сочельника дожили... Добрые люди сегодня-то до вечерней звезды не едят...

— А нам и завтра разговеться будет нечем... — сердито отозвалась от своей печки Дарья. — Одна картошка осталась, да и той в обрез хватит на всех.

В руках Дарьи горшки уныло звенели, стукаясь друг о друга, точно и они жаловались на голод. А тут еще Михалко с своих полатей жалобным голосом несколько раз повторял:

— Мамынька, звезда-то уж взошла... Дай хлебца...

— Отстань, смола! — ворчала Дарья, глотая слезы. — Вот ужо отец придет...

Рукобитовы вообще жили бедно, а нынеш-

ний праздник застал их совсем голодными. Случилось это благодаря бушевавшему целые две недели бурану, когда нельзя было работать на промыслах. Праздник являлся горькой обидой, освещая огнем тяжелую домашнюю нищету.

— У штегеря[41] Манькина третьего дня барана закололи, — рассказывал Михалко с полатей. — Лавочник привез с ярманки целый стяг говядины[42] да десять свиных туш… Ей-богу! Своими глазами видел. Свиньи-то жирные-прежирные, кожа лопается от жиру… Уж лучше этого нет, как шти со свининой… Одного жиру в горшке целый вершок накипит.

— Не мы одни бедуем, — думала вслух бабушка Денисиха. — У других-то и картошки нет, а у тебя свинина на уме… Глупый ты, Михалко.

— И то глупый, — ворчала Дарья. — Без того тошно, а он еще выдумки выдумывает… Вот отец придет, может, што и раздобудет к празднику в лавочке.

«Задолжали мы в лавочке-то по горло… — думала бабушка Денисиха, вздыхая. — А ла-

вочники ноне немилостивые...»

— Мамынька, запали свечку... — просил Михалко.

— Отвяжись, сера горючая!

Темно. Жужжит веретено у бабушки, точно и оно жалуется на плохие времена. Избушка в буран совсем выстыла, а затоплять пустую печь совестно. Михалко кутается в рваную шубенку и чутко прислушивается к каждому шороху на улице. Вот придет отец и что-нибудь принесет. Уж отец добудет! С тем пошел, чтобы не вернуться с пустыми руками.

— Идет!.. — крикнул Михалко, заслышав скрип снега на улице.

Дарья тоже услышала и различила, что муж идет не один.

«Кого еще нелегкая несет об этакую пору?» — сердито подумала она, зажигая сальный огарок.

Шаги приближались. Вот они уже во дворе, вот заскрипели ступеньки на крыльце, вот распахнулась дверь... Вошли два мужика. Один, отец Михалки, молча положил на стол ковригу ржаного хлеба, а другой остался у двери.

— Ну, вот вам и розговенье, — проговорил отец Михалки. — Яков, проходи да садись. Гость будешь...

Дарья не могла удержаться и тихо заплакала.

Рукобитов и его гость походили друг на друга, как все промысловые рабочие. Среднего роста, худощавые, с жиденькими бородками мочального цвета, в рваных полушубках, запачканных желтой приисковой глиной, в разношенных валенках. Заслышав всхлипывания жены, Рукобитов рассердился.

— О чем хнычешь-то? — крикнул он. — А того не знаешь, что утро вечера мудренее...

— Я ничего не говорю, Иван Герасимович, — оправдывалась Дарья, сдерживая слезы. — Только обидно, што на дворе праздник, а у нас...

— Перестань, жена, — уже ласково проговорил Рукобитов, — не радуйся — нашел, не тужи — потерял... А розговенье мы себе добудем. Верно говорю, Яков?

— Добудем и розговенье... — мрачно ответил Яков, почесывая затылок.

— Ну-ко, хозяйка, свари нам картошки, —

командовал Рукобитов. — Закусим — и того... да... пойдем, значит, свое розговенье добывать. — Помолчав немного, он продолжал: — Вся причина, значит, в штегере Ермишке... Все от него вышло... Привязался он к нам, пьяница... И сегодня пьяный по улицам ходил. К нам приставал, просил, просил рубль на водку, а то, говорит, вы меня попомните.

— Ох, господи, господи... — стонала бабушка Денисиха. — Вот в глазах стыда-то нет. Рупь-целковый... а? А где его взять!

— Ничего, бабушка, мы и без него обойдемся, — говорил Яков. — Мы и без него обойдемся. Пужает нас новым начальством, грит, новый управитель анжинер на промысла назначен, и все будет строго. Ему это на руку, пьянице... Подлаживается к начальству. А кто ему даст на водку, он ничего не видит и не слышит, а нас гонит с работы.

— Змей он, и больше ничего, — сердился Рукобитов.

Дарья затопила печь и приставила к огню горшок с картошкой. Она поняла, о каком розговенье говорит муж, и вперед жалела Михалку, которому придется поработать в шах-

те, может быть, всю ночь. Велик ли еще мальчонко, всего-то десятый год пошел. Ах, бедность, бедность!

Рукобитов с Яковом делали необходимые приготовления. Внимательно осмотрели плетенную из черемухи корзину, в которой поднимали золотоносную руду из шахты, еще более тщательно осмотрели десятисаженный канат, на котором эту корзину спускать и поднимать. Все было в порядке.

Михалко тоже понимал, в чем дело, но молчал.

Горячая картошка была съедена живо. Дарья почти всю свою порцию отдала Михалке.

О том, куда все шли, никто не говорил. Это уж такая примета, что нехорошо болтать вперед о таком деле, которое еще неизвестно чем кончится. Рукобитов даже пожалел, что вперед похвастался будущим розговеньем. Вон Михалко, кажется, — не велик, а небось молчит, точно его дело и не касается.

Когда уходили мужики, Дарья сунула за пазуху Михалке большую краюшку хлеба.

II

Выйдя из избы, компания разделилась: Яков взвалил на себя всю «снасть», то есть канат, корзину, лопаты, кайло, небольшой ломик, топор, и пошел направо, чтобы пробраться к шахте задворками, где никто не увидит, а Рукобитов с Михалкой отправились прямо селеньем.

— Убродисто теперь задворками-то, — заметил Рукобитов. — Вон сколько снегу намело.

Они прошли улицу, спустились к заводской плотине, ниже которой горбились крыши длинных корпусов золотопромышленной фабрики, и пересекли небольшую площадку, на которую выходил господский дом, где жил инженер, управляющий промыслами. Вся фабрика тонула в темноте, не дымила высокая железная труба, а господский дом был ярко освещен.

— Светленько живет новый наш анжинер... — заметил Рукобитов. — Вон сколько огня запалил.

Михалко молчал. Он с трудом шагал за от-

цом в своих разношенных валенках, болтавшихся на ногах. После сытой еды его клонило ко сну. Отец это заметил и старался его развлечь разговором.

— Ночку сегодня поработаем, Михалко, бог даст, добудем пудиков двадцать руды... Потапыч обещал вперед дать деньжонок. Ну, завтра и купим свинины... Любишь свинину? Тото... Такие шти мать нам запузырит, что жиру и не продуешь.

— Я люблю куском макать в жир... Скусно.

— Вот-вот... Уж на што скуснее. Дух какой по всей избе пойдет от горячих-то штец.

Глухоозерские золотые промысла занимали в Среднем Урале громадную площадь почти в шестьдесят квадратных верст. Они существовали уже больше ста лет и славились как одно из богатейших месторождений золота. Земля принадлежала казне, а прежде золото разрабатывалось казной, но в последние сорок лет этот способ добычи золота нашли невыгодным, и промысла были отданы в долгосрочную аренду одной компании. На промыслах были добыты сотни пудов золота, а селенье, раскиданное по берегу Глухого озера

и по течению вытекавшей из него речонки, отличалось большой бедностью. Добытые богатства не оставались на месте, а уходили куда-то в Питер, где жили члены компании.

Население было все промысловое и жило только той работой, которую давала компания. Но, к сожалению, население увеличилось, а работы не прибавлялось. Особенно тяжело приходилось по зимам, когда открытые работы, где золото вымывалось из золотоносных песков, прекращались, и продолжали действовать одни шахты, где разрабатывалось жильное золото, то есть золото, заключенное в кварцевых прослойках.

Между прочим, компания отдавала от себя в аренду небольшие участки частным предпринимателям, то есть своим же рабочим. Но получить такой участок бедному рабочему, как Рукобитов или Яков, было очень трудно. Нужда заставляла по зимам прибегать к тайной добыче золота, то есть золотоносного кварца, который сбывался состоятельным арендаторам, а уж те выдавали его за свой и промывали на компанейской фабрике. Именно таким арендатором был Пота-

пыч, у которого уже несколько лет работала арендованная у компании шахта «Рублиха» и которому продавали тайно добытый золотоносный кварц.

Рукобитов и Михалко вышли на берег Глухого озера, а потом свернули на лесную дорожку, по которой зимой возили дрова. Михалке сегодня казалось, что уж очень далеко идти до их тайной шахты, точно кто ее отодвинул. Снег продолжал падать, и ночная темнота точно сгущалась. Рукобитов несколько раз останавливался и прислушивался. На грех мастера нет, и можно было встретиться с кем-нибудь из штейгеров, преследовавших тайную разработку золотоносных жил.

— Здесь... — шепотом проговорил Рукобитов останавливаясь.

В стороне от дороги рос тощий еловый лесок, жидкий березняк и кусты рябины. Приходилось дальше брести прямо по снегу без всякой дороги. Рукобитов заравнивал за собой следы сломанной еловой веткой.

Они пришли к шахте не прямо, а сделали, на всякий случай, обход, путая оставшиеся в снегу следы.

— Здесь... — опять шепотом сказал Рукобитов, рассматривая свежие следы по снегу. — Э-э, Яков-то нас обогнал. Он прямиком прошел...

Действительно, Яков уже сидел у шахты, поджидая компаньонов. Он страшно устал и встретил их молча.

— Садись, Михалко, надо малость передохнуть, — предлагал шепотом Рукобитов.

Место для тайной шахты выбрано было очень искусно, среди мелкой лесной поросли, так что можно было пройти в двух шагах и ничего не заметить. А сейчас, кроме того, все было завалено кругом глубоким снегом.

— Эх, кабы не буран... — жалел Яков, почесывая в затылке. — Сидели бы сейчас в тепле да в сухе.

Рукобитов молчал. Что уж тут говорить. Он поднялся и начал расчищать снег, которым было занесено отверстие шахты. Это была так называемая шахта-дудка, то есть круглая, без деревянных крепей. Такие шахты устраиваются только зимой, когда смерзшаяся земля не грозит обвалом. Обыкновенная шахта напоминает колодец, стенки которого

от обвала защищены деревянным срубом; но где же бедному рабочему добыть такую роскошь. Не хватит силы. Конечно, работа дудками представляет собой большие опасности и преследуется горными законами; но бедные люди не писали этих законов.

Работа шла в темноте. Снег был срыт. Яков разыскал спрятанный в леске деревянный ворот, то есть деревянный валик с железной ручкой, «ходивший» на двух деревянных подставках, как в деревенских колодцах. Круглое отверстие шахты-дудки было прикрыто хвоей, чтобы не замело снегом.

Работали молча. Скоро над шахтой был поставлен ворот, а к нему прикреплен канат.

— Ну-ка, сперва я спущусь, — говорил Рукобитов. — Нет ли где обвалу... Михалко, ты озяб? Ничего, брат, под землей завсегда вот как тепло...

Еще раз осмотрели канат: как бы не оборвался, грешным делом.

— Ничего, хоть толстого купца спущай, — решил Яков.

К концу каната была прикреплена корзина. Когда канат был намотан на ворот, Руко-

битов встал одной ногой в корзину и скомандовал:

— Ну, Яков, действуй!..

Канат начал медленно развиваться, и корзинка пошла книзу. Шахта-дудка была настолько узка, что Рукобитов время от времени придерживался руками за ее стенки. Кругом было совершенно темно, а приходилось спускаться в глубину на десятки сажен.

— Стоп, машина! — крикнул Рукобитов, когда корзина стукнулась о дно.

Он зажег сальный огарок и осмотрелся. Все оставалось в том же положении, как и две недели тому назад. Стенки дудки держались крепко. Рукобитов в двух местах прикладывался ухом к этим стенкам и прислушивался, не течет ли где почвенная рудниковая вода, которая затопляет и настоящие, дорогие шахты.

На дне шахты оставалась еще не поднятая наверх кварцевая руда. Значит, не успели убрать. А в правом боку дудки шло маленькое отверстие, в которое «собаке пролезть». Это был так называемый «забой», или, по ученой терминологии, штрек. Золотоносные кварце-

вые пласты не падают вертикально, а всегда под углом, и разработка их производится при помощи таких штреков.

В дудке Рукобитова, конечно, не могло быть и речи о правильно устроенном штреке, то есть с деревянным потолком на подпорках из бревен и с деревянной обкладкой стенок, чтобы земля не осыпалась. Дудки делаются круглыми, чтобы не обкладывать деревом, а забои устраиваются самые узкие с той же целью. Взрослому мужику в такую нору, конечно, не пролезть, а поэтому посылают туда мальчиков-подростков. Конечно, горными законами все это предусмотрено и строго запрещено, как угрожающее жизни, но горькая нужда поневоле обходит всякие законы. В свое время Рукобитов сам работал в таких забоях, а теперь посылал своего сына Михалку.

— Ничего, бог не без милости, — утешал он себя, поднимаясь наверх в корзинке.

Вернувшись наверх, Рукобитов проговорил:

— Тепло тебе будет в забое, Михалко... Под землей-то, брат, не мокнешь, не сохнешь, не куржавеешь. А жила разрушистая, только

тронь ломом — сама крошится.

Когда Михалко уже поместился в корзине, отец дал ему еще одно наставление:

— Вот что, Михалко: будешь работать, а сам слушай, не зажурчит ли вода. Понял? На рудную воду можешь наткнуться, и всю шахту затопит. Потом опять же смотри в оба, штобы не попасть на песок-плывун. Он еще похуже воды будет... Воду можно откачать, а песок все засыплет.

— Без тебя знаем... — довольно грубо ответил Михалко, потому что страшно хотел спать.

III

На работе Михалко принимал грубый тон, подражая настоящим большим мужикам. Так и сейчас, влезая в корзину, чтобы спуститься в дудку, он что-то ворчал себе под нос, а потом проговорил:

— Вы у меня тут смотрите, не оборвите веревку-то...

— Уж дела не подгадим, Михалко, — успокаивал Яков, крепко придерживая железную ручку ворота. — А вот ты нам к празднику жилки наковыряй, штобы золота побольше было...

Михалко сердито посмотрел на него и даже плюнул в сторону:

— Ума у тебя нету, Яков...

— Н-но-о!

— Верно тебе говорю... Што ты сказал-то, ежовая голова? Когда охотники на охоту едут, так им што говорят добрые люди? «Штобы вам не видать ни шерсти, ни пера...» А ты: давай больше золота!

— Правильно, Михалко! — похвалил Рукобитов. — А ты, Яков, немножко не того. На-

прасное слово, значит, сказал.

Необходимая для работы «снасть», то есть небольшой железный лом, кайло и железная лопата с короткой ручкой, была уложена в корзинку, и Михалко начал спускаться в темную пасть дудки. Налегая всей грудью на ворот, чтобы не тряхнуть корзины, Яков проговорил:

— Пуда с полтора мальчонка вытянет...

Когда корзина была в половине дудки, Рукобитов наклонился над ее отверстием и крикнул:

— Михалко, а ты гляди, грешным делом, не засни в забое-то... Тепло там, как раз сон подморит.

Из глубины дудки детский голос ответил:

— Вы там не засните наверху-то... Да огоньку разложите. Когда вылезу, так погреться надо.

— Ладно, ладно... И свечку береги, Михалко. Другой-то нет...

— Без тебя знаю...

— С богом, со Христом, Михалко.

Спуск продолжался недолго. Когда корзина опустилась на дно, канат сразу ослабел. Руко-

битов все время смотрел на дудку и успокоился только тогда, когда глубоко под землей затеплился слабый огонек.

— Надо огонек разложить, как Михалко наказывал, — решил Яков. — Вылезет из дудки, обогреться захочет...

— А кабы кто не увидал огня-то...

— Ну, кому его видеть... Праздник на дворе, все по своим углам сидят. Да и нам погреться бы надо, а то вот как студено... Одежонка-то дыра на дыре.

— И то студено... — согласился Рукобитов, почувствовавший холод только теперь.

Чтобы со стороны не было видно огня, мужики выкопали в снегу глубокую яму и на самом дне устроили небольшой костер. Из снега же была устроена стенка — защитка от ветра. Кроме того, Яков кругом ямы натыкал хворосту.

— Оно куда способнее за ветром-то посидеть, — говорил он, протягивая над огнем окоченевшие руки. — А который человек захолодает, так ничего он не стоит...

Они разговаривали вполголоса, точно боялись кого разбудить. Время от времени Руко-

битов подбегал к дудке и прислушивался, что там делается. Прошло, по крайней мере, полчаса, пока веревка на вороте не дрогнула, а из дудки донесся детский голос:

— Подымай!..

Первая корзина принесла немного. Кварц был хороший для золотоносной жилы: ноздреватый и ржавый от железных окислов, но видимого золота не оказалось.

— Жила разрушистая, — заметил Яков. — Легко ее Михалке добывать...

— Пуда с три наберется кварцу... — соображал вслух Рукобитов, опоражнивая корзину.

Вторая корзина тоже не принесла ничего особенного, и Яков, сидя около огонька, только почесывал в затылке. Эх, напрасно давеча глупое слово сорвалось насчет золота.

Добытый кварц они уносили в кусты и заваливали снегом. Мало ли что может случиться!.. Тот же штейгер Ермишка, чтобы выслужиться, с пьяных глаз начальство подведет. Ему, оголтелому, все равно...

Мужикам было совестно, что они наверху сидят без дела, а Михалко работает один за всех.

Когда поднимали пятую корзину, Михалко что-то кричал со дна дудки, но разобрать ничего было нельзя. Разбирая корзину, Яков вдруг ахнул. Схватив кусок кварца фунта в два, он подбежал к огню и с жадностью принялся его рассматривать. Рукобитов подошел, посмотрел на кварц и проговорил:

— Вот так штука...

— Да-а... Точно плюнуто золотом-то в кварц. Ах ты, братец ты мой...

Взвесив камень на руке, он прибавил:

— Золотника с два золота будет... Потапыч на худой конец целковых пять отвалит.

— Держи карман шире... Отвалит! Не таковский он человек. Ну, как-никак, а Михалко нам розговенье добыл...

Работа шла уже часа три, и по-настоящему следовало бы идти домой. Но мужиков охватила жадность. В жилах золото часто попадается так называемыми гнездами, и, очевидно, Михалко попал на такое гнездо, и его следует выбрать до конца.

— Михалко, постарайся! — кричал Яков, спуская в дудку пустую корзинку, — Бог счастье послал...

Не успели еще спустить корзину, как Яков вдруг насторожился. Он расслышал, как где-то тявкнула собака.

— Слышал? — шепотом спрашивал он Рукобитова.

Лай повторился.

— Это Ермишка... — решил Яков. — Ах, напасть какая! Это его собачонка Куфта тявкает. Он ее выучил по следу нашего брата — хищников — разыскивать... Да не идол ли!..

Лай приближался. Куфта вела по следу прямо к дудке.

— Руби канат! — командовал Рукобитов, засыпая огонь снегом. Канат был обрублен и упал на дно дудки, Рукобитов наклонился над ее отверстием и крикнул:

— Михалко, начальство накрыло!.. Не подавай голосу... А потом мы тебя вызволим. Погаси огонь.

— Ладно, — ответил детский голос из-под земли.

Попрятав в снегу разную снасть, мужики пустились бежать в разные стороны, чтобы сбить погоню с толку. Рукобитов спрятал кусок кварца с золотом за пазуху и придержи-

вал его обеими руками, как сокровище.

Куфта, лохматая собачонка с завороченным на спину хвостом, вывела погоню прямо к дудке. Впереди шагал по снегу штейгер Ермишка.

— Здесь... здесь... — повторял он, с трудом вытаскивая ноги из глубокого снега. — Молодец, Куфта!..

За ним в высоких охотничьих санях, приспособленных специально для езды по снегу, ехало «начальство», завернутое в енотовую шубу.

Когда сани остановились у самой дудки, Ермишка снял шапку и торжественно заявил:

— Вот она, дудка самая... Ах, ироды!.. А меня не проведут, ваше высокоблагородие... стараюсь для начальства вот как... Эти самые хищники уже давно грозятся меня застрелить, а мне это все равно... Ей-богу! Только бы угодить вашему высокоблагородию.

«Начальство» вылезло из саней и долго осматривало дудку. Из воротника шубы выглядывало молодое лицо с серыми глазами и пушистыми усиками.

— Уж я старался вам как... — повторял Ер-

мишка, продолжая стоять без шапки.

— А может быть, здесь работали не сегодня, а раньше... — проговорил молодой инженер, раскуривая папиросу.

— Раньше?.. — обиделся Ермишка. — А следы свежие откуда? Вон как все утоптано кругом... и земля свежая насыпана на снегу...

Самым убедительным доказательством послужил засыпанный снегом костер. От него еще шел пар. Куфта вертелась около дудки и вызывающе взвизгивала.

— В дудке человек сидит... — решил Ермишка и, наклонившись над дудкой, крикнул: — Эй, жив человек, выходи!.. А то снегом всю дудку засыплю...

Михалко не отвечал, спрятавшись в забое. Он узнал голос Ермишки.

— Что же мы тут будем делать? — спрашивал инженер.

— Веревки не захватили, ваше высокоблагородие, а то я бы спустился и выволок из дудки, кто там спрятался. Ошибочка вышла... А мы вот что сделаем: запечатаем дудку. У меня завсегда с собой печать и сургуч... Не посмеют казенную-то печать ломать.

Шахта была запечатана, то есть ручка ворота.

— Пусть теперь посидит там целую ночь, — торжествовал Ермишка. — А завтра утречком я приеду с канатом и выволоку... Ей-богу!

IV

Рукобитов прямой дорогой направился к скупщику краденого золота Потапычу. Было уже поздно, но к Потапычу днем никто и не ходил. Это был седой, крепкий старик с окладистой бородой и сердитыми маленькими глазами. Он внимательно осмотрел принесенный кусок кварца с золотом, долго что-то высчитывал про себя и потом решительно проговорил:

— Три целковых...

У Рукобитова даже руки затряслись от охватившего его горя. Он рассчитывал получить пять рублей. Ведь надо же поделиться с Яковом. Но как он ни торговался, — ничего не вышло. Потапыч не прибавил ни одной копейки.

— Так больше не дашь? — спрашивал Ру-

кобитов.

— Не дам...

— А хрест на тебе есть?

— Даже весьма...

— Бога ты не боишься, вот что!

— А ты, милый человек, ступай к новому управляющему, он, может быть, и больше тебе даст, — пошутил безжалостно Потапыч, поглаживая свою бороду. — Много вас, таких-то...

Как Рукобитов ни бился, а пришлось помириться и на трех рублях. Все-таки, как-никак, а будет розговенье... Дорогой домой он рассчитал, что он из этих денег отдаст рубль Якову, а два рубля останутся на его долю с Михалкой. Будут и горячие щи со свининой, и ситный белый хлеб, и пирог с кашей, и стаканчик водки за труды праведные...

Проходя к своей избушке, Рукобитов вдруг заробел. Вот он войдет, а Дарья первым словом: «Где Михалко?» Ну, и бабушка Денисиха тоже накинется... Он несколько раз прошелся под окнами. Изба чуть-чуть была освещена самодельной плошкой из дешевого бараньего жира.

Дело было скверное.

«Куда это делся Яков?» — думал Рукобитов, соображая, что двоим все-таки было бы легче держать ответ.

А Яков был легок на помине. Он подошел и молча только почесал затылок.

— Ну, что? — спросил Рукобитов.

— А так... крышка.

— Ну?

— Ермишка, значит, запечатал нашу дудку, змей подколодный...

— Как же мы будем добывать Михалку?

— Ворот, значит, запечатал...

Мужики говорили между собой тихо, но Дарья не спала и слышала, что под окнами кто-то топчется в снегу и шепчется. Она выскочила в одном сарафанишке за ворота и сразу накинулась на мужа:

— А где Михалко?

— Михалко... придет... Отстал немного... — бормотал виновато Рукобитов.

— Ей-богу, сейчас придет, — уверял растерявшийся Яков.

Дарья сразу поняла, что дело неладно, и заголосила. Этого еще недоставало... Рукобитов

едва увел ее в избу.

Бабушка Денисиха лежала на печке. Ей что-то нездоровилось. Она слышала шум во дворе и вся встрепенулась, когда до ее старого уха долетело слово: Михалко. Она, как и Дарья, сразу догадалась, что дело неладно и что случилась какая-то беда.

Мужики вошли в избу с виноватым видом, подталкивая друг друга. Дарья плакала, закрывая лицо рукавом.

— А где Михалко? — спрашивала старуха, слезая с печи. — Куда вы дели мальчонку?

Как мужики ни мялись, но пришлось еще раз повторить, как было дело.

— Да мы его, Михалку, вызволим, только пусть ободняет[43] малость, — говорил Рукобитов, выкладывая три рубля на стол. — Вот вам и розговенье добыли... Один рубль тебе, Яков, один рубль Михалке, а один мне.

Но деньги не утешили плакавшую Дарью.

— Михалко-то под землей будет околевать, а мы будем розговляться? — причитала она. — Тоже придумали...

— Ах, Дарья, Дарья, ничего ты не понимаешь! — объяснял Рукобитов, сбиваясь в сло-

вах. — Сказано: добудем Михалку... А што он полежит в забое, — не велика важность. Тепло там... Главная причина, что дудка-то запечатана. Ежели сломать печать, так наотвечаешься... Потом начальство со свету сживет и без работы замучит. А все идол Ермишка подвел... Чтоб ему ни дна ни покрышки!

— Добудем Михалку, — повторял виновато Яков. — Вот только печать...

Бабушка Денисиха выслушала все и начала одеваться.

— Бабушка, куда ты собралась на ночь глядя? — удивилась Дарья.

— А туда... — сердито ответила старуха, с трудом надевая в рукава старую шубенку. — Михалку добывать.

— Да ты в уме ли, бабушка?

— А, видно, поумнее всех буду... Без Михалки не ворочусь. Такого закону нету, чтобы живого человека под землей печатью запечатывать. Да. А кто Михалку запечатал, тот и добывать будет. Прямо к новому анжинеру пойду... С меня, со старухи, нечего взять. А я ему всю правду скажу...

— У анжинера теперь вот какой бал

идет, — говорил Яков. — Свету, как в церкви в Христовую заутреню.

— Ну, значит, и я на бал пойду, — спокойно говорила бабушка Денисиха, крепко закутывая голову старым платком.

Мужики молчали.

— Ты про нас-то не говори, бабушка, што, значит, мы в дудке работали, — говорил Рукобитов.

— Уж я знаю, што ему сказать, — уверенно ответила старуха. — Кто работал, — руки-ноги не оставил. А закону все-таки нет, чтобы морить людей под землей. Еще передо мной анжинер-то досыта накланяется. Нечего с меня взять.

Одевшись, бабушка помолчала, взяла в руки свою черемуховую палку и сказала:

— Ну, так вы меня ждите. Дарья, ты подтопи печку-то да картошки свари опять. Все-таки горяченького Михалко хватит с устатку.

Когда бабушка Денисиха пошла к дверям, Рукобитов попробовал ее остановить:

— Не ходила бы ты лучше, бабушка. Не женское это дело. Да и дорогой еще замерзнешь, пожалуй!..

Бабушка повернулась к нему, показала свою палку и сказала:

— А вот это знаешь?

Когда дверь за ней затворилась, Яков со вздохом проговорил:

— Правильная старушка. Вот какого она холоду нагонит, а взять не с кого.

— Нет, с работы сгонят.

— Пущай гонят! — решительно заявил Рукобитов. — Как-нибудь перебьемся, коли на то пойдет. Не мы первые, не мы последние...

А старая Денисиха шагала посредине улицы, размахивая своей палкой и думая вслух:

— А вот приду и все скажу... Нету такого закона!.. Суди меня, а я вот пойду и твою печать на мелкие части растерзаю.

В господском доме елка уже догорала. Разодетые по-праздничному дети с нетерпением ожидали того блаженного момента, когда елка со всеми своими сокровищами поступит в их полное распоряжение. В передней на стуле дремал штейгер Ермишка, «отвечавший сегодня за швейцара».

Из столовой доносился веселый говор закусывавших; в кабинете играли в карты; моло-

дая красивая хозяйка бегала из комнаты в комнату, занимая гостей. Когда послышался скрип ступенек на деревянной лестнице, Ермишка вскочил и бросился отворять дверь.

Перед ним стояла бабушка Денисиха со своей палкой... В первую минуту Ермишка совершенно оторопел, а когда узнал старуху Денисиху, загородил ей дорогу и зашипел, как гусь.

— Куды пре-ешь?!

Вместо ответа бабушка Денисиха ударила его палкой прямо по голове.

— Вот тебе, змей подколодный!..

Конечно, старуха не могла ударить больно, но Ермишка закричал благим матом:

— Ой, убила!.. До смерти убила...

В переднюю выскочили все гости, но старуха не смутилась, а только проговорила:

— Который, значит, будет тут хозяин? Мне анжинера...

— Что тебе нужно, старушка? — спросил выступивший вперед хозяин.

— Мне-то? А зачем ты моего Михалку печатью запечатал под землей?

— Какого Михалку?

— Моего внучка Михалку... Ты-то вот радуешься тут со своими детками, а Михалко под землей сидит. Разве есть такой закон?!

— Это она насчет дудки, которую мы даве опечатали... — объяснил Ермишка. — Меня-то вот как палкой благословила, прямо по голове... Этак можно живого человека и до смерти убить. Позвольте, ваше высокоблагородие, я ее в шею вытолкаю за пустые ее слова.

— Нет, оставь... А ты, старушка, говори толком.

— И скажу... все скажу... Ты запечатал Михалку в дудке, ты и добывай!..

Когда все разъяснилось, управляющий велел подать лошадь и отправился с Ермишкой на дудку.

— Ты подожди здесь, бабушка, — ласково говорила его жена, усаживая старуху на стул в передней. — Может быть, ты озябла? Может быть, есть хочешь?

— Нет, ничего мне не нужно, барыня... — шептала Денисиха.

— Мой муж не знал, что в шахте спрятался твой внучек... Это все штейгер виноват.

— Он, он, матушка!..

Дети нетерпеливо выглядывали в переднюю. Кто-то назвал сидевшую в передней старуху ведьмой, и всем это показалось очень смешным. А «ведьма», обласканная доброй барыней, сидела и плакала.

— Вот твои детки, хорошая барыня, с радости скачут, а наши детки с голоду плачут, — говорила бабушка Денисиха, качая своей головой. — Праздник на дворе, а в дому и хлеба не было.

Она сидела и рассказывала про свою бедность, а добрая барыня слушала, глотая слезы.

— Мама, когда мы будет делить елку? — приставали к ней.

— Подождите, когда приедет папа.

— А он куда уехал?

— По одному важному делу и скоро вернется. Имейте маленькое терпение...

Папа действительно скоро вернулся и торжественно ввел в переднюю упиравшегося Михалку.

— Вот тебе, старушка, твой внучек. Едва его вытащили из дудки. Спрятался в забое и молчит.

Когда старая Денисиха вернулась домой с

Михалкой, все только ахнули.

— Ай да бабушка! — хвалил Яков.

— Вот то-то и есть, аники-воины, — ворчала старуха. — Руки у вас есть, а ума-то и не хватило...

Дарья опять плакала, но уже на этот раз от радости.

Постойко

I

Едва только дворник отворил калитку, как Постойко с необыкновенной ловкостью проскользнул мимо него на улицу. Это случилось утром. Постойке необходимо было подраться с пойнтером из соседнего дома, — его выпускали погулять в это время.

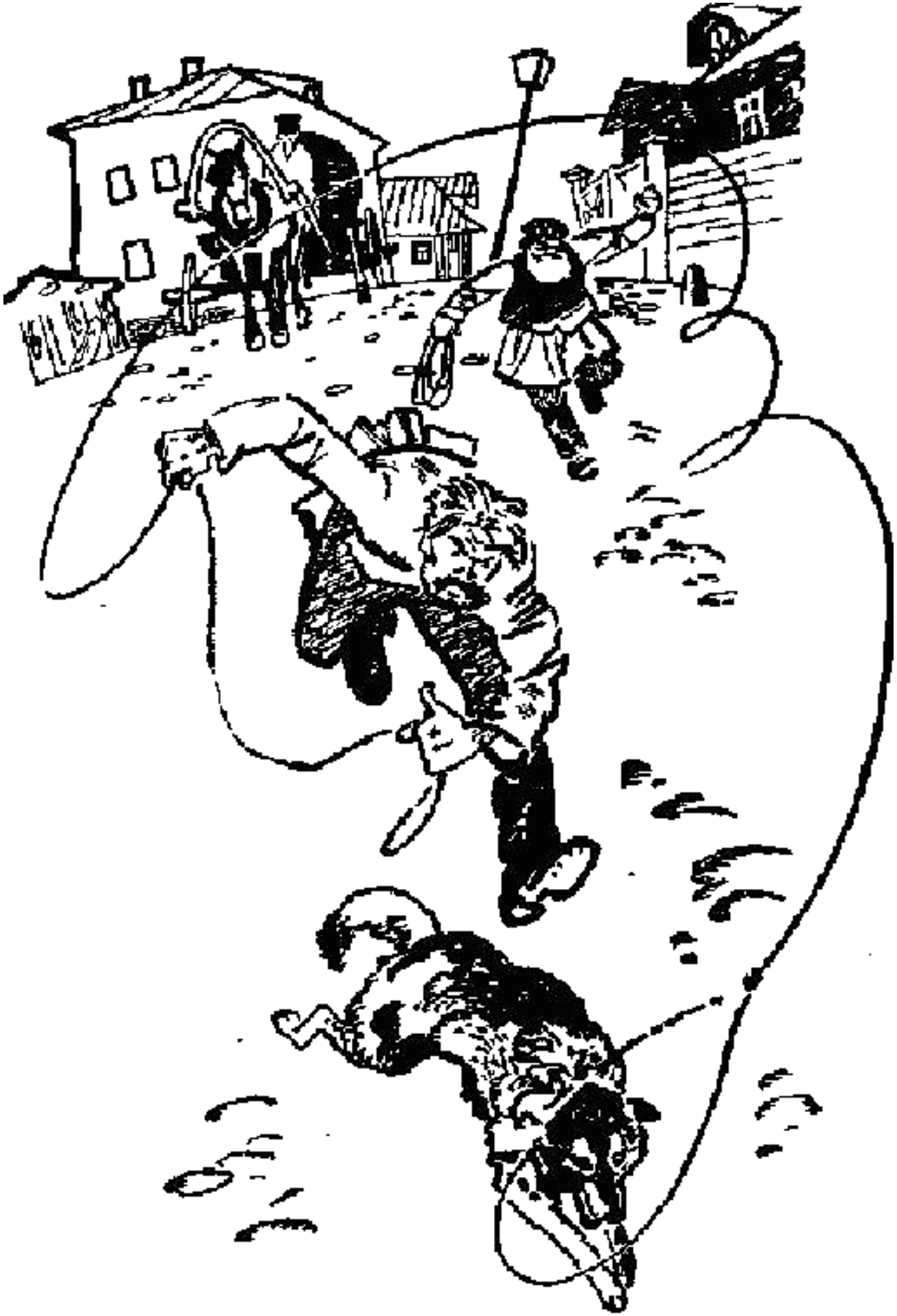
— А, ты опять здесь, мужлан? — проворчал пойнтер, скаля свои белые длинные зубы и вытягивая хвост палкой. — Я тебе задам...

Постойко задрал еще сильнее свой пушистый хвост, свернутый кольцом, ощетинился и смело пошел на врага. Они встречались

каждый день в это время и каждый раз дрались до остервенения. Охотничий пес не мог видеть равнодушно кудластого дворового пса, а тот, в свою очередь, сгорал от нетерпения запустить свои белые зубы в выхоленную кожу важничавшего барина. Пойнтера звали Аргусом, и он даже был раз на собачьей выставке, в самом отборном обществе других породистых и таких же выхоленных собак. Враги медленно подходили друг к другу, поднимали шерсть, скалили зубы и только хотели вцепиться, как вдруг в воздухе свистнула длинная веревка и змеей обвила Аргуса. Он жалобно взвизгнул от боли, присел и даже закрыл глаза. А Постойко летел вдоль улицы стремглав, спасаясь от бежавших за ним людей с веревками. Он хотел улизнуть куда-нибудь в ворота, но везде все было еще заперто. Впереди выбежали дворники и загородили Постойке дорогу. Опять свистнула веревка, и Постойко очутился с арканом на шее.

— А, попался, голубчик! — говорил какой-то верзила, подтаскивая несчастную Собаку к большому фургону.

Постойко сначала отчаянно сопротивлял-



ся, но проклятая веревка ужасно давила шею, так что у него в глазах помутилось. Он даже не помнил, как его втолкнули в фургон. Там уже было до десятка разных собак, скромно жавшихся по углам: два мопса, болонка, сеттер, водолаз и несколько бездомных уличных собачонок, таких тощих и жалких, а в их числе и Аргус, забившийся со страху в самый дальний угол.

— Могли бы и повежливее обращаться с нами, — пропищала болонка, сторонясь от уличных собак. — Моя генеральша узнает, так задаст...

Эта противная собачонка ужасно важничала, и Постойко с удовольствием потрепал бы ее, но сейчас было не до нее. Пойманные собаки чувствовали себя сконфуженными и на время позабыли все свои собачьи расчеты. Спокойнее всех держал себя водолаз. Он не обращал ни на кого внимания, улегся по самой середине и зажмурился с такой важностью, точно какая важная особа.

— Господин водолаз, как вы полагаете? — обратилась к нему болонка, виляя пушистым белым хвостом. — Здесь так грязно, а я не

привыкла... Наконец, какое общество... фи!.. Конечно, меня схватили по ошибке и сейчас же выпустят, но все-таки неприятно. Пахнет здесь отвратительно...

Водолаз полуоткрыл один глаз, презрительно посмотрел на болонку и еще важнее задремал.

— Вы совершенно правы, сударыня, — ответил за него один из мопсов, приятно оскалясь. — Случилось простое недоразумение... Мы всё попали сюда по ошибке.

— Я предполагаю, что нас отправят на выставку, — откликнулся Аргус из своего угла: он немного оправился от страха. — Я уже раз был на выставке и могу сказать, что там совсем недурно. Главное, хорошо кормят...

Одна из уличных собачонок горько засмеялась. Нечего сказать, на хорошую выставку привезут: она уже бывала в фургоне и только по счастливой случайности вырвалась.

— Нас всех привезут в собачий приют и там повесят, — сообщила она приятную новость всей собачьей компании. — Я даже видела, как это делают. Длинный такой сарай, а в нем висят веревки...

— Ах, замолчите, мне дурно... — запищала болонка. — Ах, дурно!..

— Повесят? — удивился водолаз, открывая глаза. — Желал бы я знать, кто смеет подойти ко мне?..

Бедный Постойко весь задрожал, когда услыхал роковое слово. Он даже почувствовал, как будто его шею уже что-то давит. За что же повесят? Неужели за то, что он хотел подраться с Аргусом?.. И Постойко и Аргус старались не смотреть теперь друг на друга, точно никогда и не встречались. Отчасти им было совестно, а отчасти и не до того, чтобы продолжать старую вражду.

«Пусть уж лучше Аргуса повесят, — думал Постойко, — только меня бы выпустили...»

Конечно, так нехорошо было думать, но в скверных обстоятельствах каждый заботится больше всего только о себе одном. Фургон покатился дальше, и дверь с железной решеткой отворялась только для того, чтобы принять новые жертвы. Сегодняшняя охота на бродячих собак была особенно удачна, и верзила, заправлявший всем делом, решил, что на сегодня достаточно.

— Ступай домой, — сказал он кучеру.

Нечего сказать, приятное путешествие «домой»!.. Все собаки чувствовали себя очень скверно, а один маленький мопсик даже взвыл. Помилуйте, что же это такое!.. А фургон все катился медленно и тяжело, точно на край света. Собак было много, и они поневоле толкали друг друга, когда фургон раскачивался в ухабах; а таких ухабов чем дальше, тем было больше. Таким образом, в этой толкотне Постойко и не заметил, как очутился рядом с Аргусом, даже ткнул его своей мордой в бок.

— Извините, вы меня тычете своей мордой… — заметил Аргус с ядовитой любезностью хорошо воспитанной собаки; но, узнав приятеля, прибавил шепотом: — А ведь скверная история, Постойко!.. Я по крайней мере не имею никакого желания болтаться на веревке… Впрочем, меня хозяин выкупит.

Постойко удрученно молчал. У него не было хозяина, а жил он как-то так, без хозяев. В город его привезли из деревни всего месяц назад.

II

Приют для бродячих собак помещался на краю города, где уже не было ни мостовых, ни фонарей, а маленькие избушки вросли совсем в землю, точно гнилые зубы. Помещение приюта состояло из двух старых сараев: в одном держали собак, а в другом их вешали. Когда фургон въехал во двор, из первого сарая послышался такой жалобный вой и лай, что у Постойки сердце сжалось. Пришел, видно, ему конец...

— Сегодня полон фургон, — хвастался верзила, когда вышел смотритель с коротенькой трубочкой в зубах.

— Рассортируйте их по породам... — приказал смотритель, равнодушно заглядывая в фургон.

— Господин смотритель! — пищала болонка. — Выпустите меня, пожалуйста: мне уже надоело сидеть в вашем дурацком фургоне.

Смотритель даже не взглянул на нее.

— Вот невежа!.. — ворчала болонка.

Когда отворили дверь сарая, где содержались собаки, там поднялись такой лай, визг и

вой, что сжалось бы самое жестокое сердце. Верзила вытаскивал за шиворот из фургона одну собаку за другой и сносил в сарай. Появление новичка на время утишало бурю. Последним был выведен водолаз и помещен в особом отделении. С какой радостью встречали новичков сидевшие в заключении собаки — точно дорогих гостей. Они их обнюхивали, лизали и ласкали, как родных. Постойко попал в отделение бездомных уличных собак, которые отнеслись к нему с большим сочувствием.

— Как это тебя угораздило... а? — спрашивал лохматый Барбос.

— Да уж так... Только хотел подраться с одним франтом, нас обоих и забрали. Я было задал тягу вдоль по улице, но тут дворники загородили дорогу. Одним словом, скверная история... Одно, что меня утешает, так это то, что и франт тоже попался. Он к охотничьим собакам посажен... Такой голенастый и хвост палкой.

— С ошейником?

— Да... Эти франты всегда в ошейниках щеголяют.

— Ну, так его хозяин выкупит.

В течение нескольких минут Постойко узнал все порядки этого собачьего приюта. Пойманных собак рассаживали по клеткам и держали пять дней. Если хозяин не приходил выкупать собаку, ее уводили в другой сарай и вздергивали на веревку. Постойко был ужасно огорчен: оставалось жить, может быть, всего пять дней... Это ужасно... И все из-за того только, что выскочил подраться с проклятым франтом. Впрочем, их и повесят вместе, потому что срок одинаковый. Плохое утешение, но все-таки утешение.

— Вот этой желтенькой собачонке осталось жить всего один день, — сообщал Барбос. — А вот той, пестрой, — сегодня...

— А тебе?

— Ну, мне еще долго: целых три дня. С часу на час жду, когда придут за мной. Порядочно-таки надоело здесь сидеть. Кстати, не хочешь ли закусить? Вот в корыте болтушка... Кушанье прескверное, но приходится жрать всякую дрянь...

Огорченный Постойко не мог даже подумать о пище. До еды ли, когда, того гляди, по-

весят! Он с ужасом смотрел на пеструю маленькую собачку, которая была уже на очереди. Бедная вздрагивала и жмурилась, когда слышались шаги и отворялась входная дверь. Может быть, это идут за ней.

— А ты все-таки закуси, — советовал Барбос. — Очень уж скучно здесь сидеть... Вон те франты, охотничьи собаки, не едят дня по три с горя, ну, а мы — простые дворняги, и нам не до церемоний. Голод не тетка... Ты из деревни?

Постойко рассказал свою историю. Родился и вырос он далеко от этого проклятого города, в деревне, где нет ни дворников, ни больших каменных дворов, ни собачьих приютов, ни фургонов, а все так просто: за деревней река, за рекой поля, за полями лес. Нынешним летом в деревню приехали господа на дачу. Вот он, на свою беду, познакомился с ними, вернее сказать, они сами познакомились с ним. Был у них такой кудрявый мальчик Боря, — увидал деревенскую собачку и засмеялся. Какая смешная собака: шерсть торчит клочьями, хвост крючком, а цвет шерсти такой грязный, точно она сейчас из лужи. Да

и кличка тоже смешная: Постойко!.. «Эй, Постойко, иди сюда!» Сначала Постойко отнесся к городскому мальчику очень недоверчиво, а потом соблазнился телячьей косточкой. Именно эта косточка и погубила его... Стал он сам приходить на дачу к господам и выжидал подачек. Боря любил с ним играть, и они вместе пропадали по целым дням в лесу, на полях, на реке. Ах, какое хорошее было время и как быстро оно промелькнуло! Постойко настолько познакомился, что смело приходил в комнаты, валялся по коврам и вообще чувствовал себя как дома. Главное, отличная была еда у господ: до того наешься, что даже дышать трудно. Но наступила осень, и господа начали собираться в город. Маленький Боря непременно захотел взять Постойко с собой, как его ни уговаривали оставить эту затею. Таким образом Постойко и попал в большой город, где Боря скоро совсем забыл его. Приютился Постойко на дворе и жил кое-как со дня на день. Помнила о нем только одна кухарка Андреевна, которая и кормила его и ласкала, — они были из одной деревни. Впрочем, Постойко очень скоро привык к бойкой

городской жизни и любил показать свою деревенскую удаль на городских изнеженных собаках.

— Что же, можно и в городе жить, — согласился Барбос. — Только я одного не понимаю: за что такая честь этим моськам и болонкам? Даже обидно делается, когда на них смотришь... Ну, для чего они? Вот охотничьи собаки или водолазы — те другое дело. Положим, они важничают, но все-таки настоящие собаки. А то какая-нибудь моська!.. тьфу!.. Даже и здесь им честь: их и вешают не в очередь, а ждут лишнюю неделю — не возьмет ли кто-нибудь. И находятся дураки — берут... Это просто несправедливо!.. Только бы мне выбраться отсюда, я бы задал моськам.

Не успел Барбос излить своего негодования, как появился смотритель в сопровождении горничной.

— Ваша собака сегодня пропала? — спрашивал смотритель.

— Да... Такая маленькая, беленькая... зовут «Боби», — объяснила горничная.

— Я здесь, — запищала жалобно болонка.

— Ну, слава богу, — обрадовалась горнич-

ная. — А то генеральша пообещала отказать мне от места, если не разыщу собаки.

Она уплатила деньги, взяла болонку на руки и ушла.

— Вот видишь, — заметил сердито Барбос. — Всегда так: настоящую собаку не ценят, а дрянь берегут и холят.

III

Как ужасно долго тянулись дни для заключенных... Даже ночь не приносила покоя. Собаки бредили во сне, лаяли и взвизгивали. Тревога начиналась вместе с дневным светом, который заглядывал в щели сарая золотистыми лучами и колебавшимися жирными пятнами света. Просыпались раньше других маленькие собачонки и начинали беспокойно прислушиваться к малейшему шуму извне. К ним присоединялись охотничьи. Густой лай водолаза слышался последним, точно кто колотил пудовой гирей по дну пустой бочки. Часто поднималась ложная тревога.

— Идут, идут!..

Вой и визг усиливались, превращаясь в дикий концерт, а потом все смолкало разом, ко-

гда никто не приходил.

Но вот слышались шаги... Все настораживалось. Собачий чуткий слух старался узнать знакомую походку. Начинались взвизгивания. Когда дверь растворялась и в нее врывался яркий дневной свет, все мгновенно стихало. У деревянных решеток виднелись собачьи головы, жадными глазами искавшие хозяев. Вот идет смотритель со своей неизменной трубочкой, за ним вышагивает верзила, ловивший собак арканом, — он же и вешал их. За ними являлись посетители, разыскивавшие своих собак. Чей-то хозяин пришел!.. Кого выпустят на волю?.. Водолаз чуть не разломал решетку, когда увидел своего хозяина. Как запрыгала эта тяжелая машина, оглушая лаем весь сарай!..

— Ну, что, брат, не понравилось? — шутил хозяин. — То-то, вперед будь умней...

Комнатные собачонки с визгом лезли к решетке, отталкивая друг друга. Некоторые становились на задние лапки. Но приходившие брали только своих собак и уходили. Смотритель обходил все отделения и коротко говорил:

— Повесьте очередных...

Верзила готов был, кажется, перевешать всех собак на свете, — с таким удовольствием он выбирал своих жертв. Из отделения, в котором сидел Постойко, уведена была пестрая собачка. Она так истомилась ожиданием, что совершенно покорно шла за своим мучителем; лучше смерть, чем это ужасное томление и неизвестность. Потом увели желтенькую собачку и старого охотничьего сеттера.

Так прошли три длинных, бесконечных дня. Подходила очередь Барбоса, который заметно притих.

— Если сегодня за мной не придут... — говорил он утром. — Нет, этого не может быть!.. За что же меня вешать?.. Кажется, служил верой и правдой?..

— Придут, — успокаивал его Постойко. — Нельзя же оставлять хорошую собаку в таком положении...

Жалко было смотреть на этого Барбоса, когда отворялась дверь и когда он не находил своего хозяина среди входивших. «Мне всего осталось жить несколько часов, — говорили с отчаянием эти добрые собачьи глаза. — Всего

несколько часов...» Как быстро летело время! А тут всего несколько часов...

— Вот он!.. — крикнул однажды Барбос, опрометью бросаясь к решетке.

Но это была жестокая ошибка: пришли не за ним. Приведенный в отчаяние Барбос забился в угол и жалобно завыл. Это было такое горе, о каком знали только здесь, в этих ужасных стенах.

— Возьмите его, — сказал смотритель, указывая на Барбоса.

Барбоса увели, и Постойко почувствовал, как у него мороз пошел по коже: еще два дня и его уведут точно так же. Ведь у него нет настоящего хозяина, как у охотничьих собак или этих противных мосек и болонок. Да, оставалось всего два дня, коротких два дня... Время здесь было и ужасно длинно и ужасно коротко. Он и ночью не мог спать. Грезилась деревня, поля, леса... Ах, зачем он тогда попался на глаза этому кудрявому Боре, который так скоро забыл его.

Постойко сильно похудел и мрачно забился в угол. Э, будь что будет, а от своей судьбы не уйдешь. Да...

Прошел четвертый день.

Наступил пятый. Постойко лежал на соломе и не поднимал даже головы, когда дверь отворялась; он столько раз ошибался, что теперь был не в силах ошибиться еще раз. Да, ему слышались и знакомые шаги и знакомый голос, и все это оказывалось ошибкой. Может ли быть что-нибудь ужаснее!.. Холодное отчаяние овладело Постойком, и он ждал своей участи. Ах, только бы скорее... И в минуту такого отчаяния он вдруг слышит:

— Не у вас ли наша собака?

— А какой она породы?

— Да никакой породы, батюшка... Наша деревенская собака.

— Ну, назовите масть!

— Да масти нет никакой... так, — хвост закорючкой, а сама лохматая. Вы только мне покажите, — уж я узнаю...

— Ее Постойком зовут, — прибавил детский голос.

Постойко не верил сначала собственным ушам... Столько раз он напрасно слышал эти голоса...

— Да вот он сидит, Постойко-то наш!.. — за-

говорила Андреевна, указывая на него. — Ах ты, милаш... Да как же ты похудел!.. Бедный...

Постойко был выпущен и, как сумасшедший, вертелся около Андреевны и Бори.

— Если бы вы сегодня не пришли, конец вашему Постойко, — говорил смотритель. — Вон у нас сколько собак сидит... И жаль другую, а приходится убивать.

Андреевна и Боря обошли все отделения и долго ласкали визжавших собак, просившихся на волю. Добрая Андреевна даже прослезилась: если бы она была богата, откупила бы на волю всех. Постойко в это время разыскал Аргуса.

— Прощай, братец, — проговорил он, виляя хвостом. — Может быть, и за тобой придут...

— Нет, меня позабыли... — уныло ответил Аргус, провожая счастливца своими умными глазами.

С какой бешеной радостью вырвался Постойко на волю, как он прыгал, как визжал; а там, в сарае, раздавались такие жалобные вопли, стоны и отчаянный лай.

— Кабы мы с тобой не земляки были, так

висеть бы тебе на веревочке! — наставительно говорила Андреевна прыгавшему около нее Постойке. — Смотри у меня, пострел.

Приемыш
(Из рассказов старого охотника)

I

Дождливый летний день. Я люблю в такую погоду бродить по лесу, особенно когда впереди есть теплый уголок, где можно обсушиться и обогреться. Да к тому же летний дождь — теплый. В городе в такую погоду —

грязь, а в лесу земля жадно впитывает влагу, и вы идете по чуть отсыревшему ковру из прошлогоднего палого листа и осыпавшихся игл сосны и ели. Деревья покрыты дождевыми каплями, которые сыплются на вас при каждом движении. А когда выглянет солнце после такого дождя, лес так ярко зеленеет и весь горит алмазными искрами. Что-то праздничное и радостное кругом вас, и вы чувствуете себя на этом празднике желанным, дорогим гостем.

Именно в такой дождливый день я подходил к Светлому озеру, к знакомому сторожу на рыбачьей сайме[44] Тарасу. Дождь уже редел. На одной стороне неба показались просветы, еще немножко — и покажется горячее летнее солнце. Лесная тропинка сделала крутой поворот, и я вышел на отлогий мыс, вдававшийся широким языком в озеро. Собственно, здесь было не самое озеро, а широкий проток между двумя озерами, и сайма приткнулась в излучине на низком берегу, где в заливчике ютились рыбачьи лодки. Проток между озерами образовался благодаря большому лесистому острову, разлегшемуся

зеленой шапкой напротив саймы.

Мое появление на мысу вызвало сторожевой оклик собаки Тараса, — на незнакомых людей она всегда лаяла особенным образом, отрывисто и резко, точно сердито спрашивала: «Кто идет?» Я люблю таких простых собачонок за их необыкновенный ум и верную службу...

Рыбачья избушка издали казалась повернутой вверх дном большой лодкой, — это горбилась старая деревянная крыша, проросшая веселой зеленой травой. Кругом избушки поднималась густая поросль из иван-чая, шалфея и «медвежьих дудок», так что у подходившего к избушке человека виднелась одна голова. Такая густая трава росла только по берегам озера, потому что здесь достаточно было влаги и почва была жирная.

Когда я подходил уже совсем к избушке, из травы кубарем вылетела на меня пестрая собачонка и залилась отчаянным лаем.

— Соболько, перестань... Не узнал?

Соболько остановился в раздумье, но, видимо, еще не верил в старое знакомство. Он осторожно подошел, обнюхал мои охотничьи

сапоги и только после этой церемонии виновато завилял хвостом. Дескать, виноват, ошибся, — а все-таки я должен стеречь избушку.

Избушка оказалась пустой. Хозяина не было, то есть он, вероятно, отправился на озеро осматривать какую-нибудь рыболовную снасть. Кругом избушки все говорило о присутствии живого человека: слабо курившийся огонек, охапка только что нарубленных дров, сушившаяся на кольях сеть, топор, воткнутый в обрубок дерева. В приотворенную дверь саймы виднелось все хозяйство Тараса: ружье на стене, несколько горшков на припечке, сундучок под лавкой, развешанные снасти. Избушка была довольно просторная, потому что зимой во время рыбного лова в ней помещалась целая артель рабочих. Летом старик жил один. Несмотря ни на какую погоду, он каждый день жарко на тапливал русскую печь и спал на полатях. Эта любовь к теплу объяснялась почтенным возрастом Тараса: ему было около девяноста лет. Я говорю «около», потому что сам Тарас забыл, когда он родился. «Еще до француза», как объяснял он,

то есть до нашествия французов в Россию в 1812 году.

Сняв намокшую куртку и развесив охотничьи доспехи по стенке, я принялся разводить огонь. Соболько вертелся около меня, предчувствуя какую-нибудь поживу. Весело разгорелся огонек, пустив кверху синюю струйку дыма. Дождь уже прошел. По небу неслись разорванные облака, роняя редкие капли. Кое-где синели просветы неба. А потом показалось и солнце, горячее июльское солнце, под лучами которого мокрая трава точно задымилась. Вода в озере стояла тихо-тихо, как это бывает только после дождя. Пахло свежей травой, шалфеем, смолистым ароматом недалеко стоявшего сосняка. Вообще хорошо, как только может быть хорошо в таком глухом лесном уголке. Направо, где кончался проток, синела гладь Светлого озера, а за зубчатой каймой поднимались горы. Чудный уголок! И недаром старый Тарас прожил здесь целых сорок лет. Где-нибудь в городе он не прожил бы и половины, потому что в городе не купишь ни за какие деньги такого чистого воздуха, а главное — этого спокойствия, которое

охватывало здесь. Хорошо на сайме!.. Весело горит яркий огонек; начинает припекать горячее солнце, глазам больно смотреть на сверкающую даль чудного озера. Так сидел бы здесь и, кажется, не расстался бы с чудным лесным привольем. Мысль о городе мелькает в голове, как дурной сон.

В ожидании старика я прикрепил на длинной палке медный походный чайник с водой и повесил его над огнем. Вода уже начинала кипеть, а старика все не было.

— Куда бы ему деться? — раздумывал я вслух. — Снасти осматривают утром, а теперь полдень... Может быть, поехал посмотреть, не ловит ли кто рыбу без спроса... Соболько, куда девался твой хозяин?

Умная собака только виляла пушистым хвостом, облизывалась и нетерпеливо взвизгивала. По наружности Соболько принадлежал к типу так называемых «промысловых» собак. Небольшого роста, с острой мордой, стоячими ушами и загнутым вверх хвостом, он, пожалуй, напоминал обыкновенную дворнягу с той разницей, что дворняга не нашла бы в лесу белки, не сумела бы «облаять» глу-

харя, выследить оленя, — одним словом, настоящая промысловая собака, лучший друг человека. Нужно видеть такую собаку именно в лесу, чтобы в полной мере оценить все ее достоинства.

Когда этот «лучший друг человека» радостно взвизгнул, я понял, что он завидел хозяина. Действительно, в протоке черной точкой показалась рыбачья лодка, огибавшая остров. Это и был Тарас... Он плыл, стоя на ногах, и ловко работал одним веслом — настоящие рыбаки все так плавают на своих лодках-однодеревках, называемых не без основания «душегубками». Когда он подплыл ближе, я заметил, к удивлению, плывшего перед лодкой лебедя.

— Ступай домой, гуляка! — ворчал старик, подгоняя красиво плывшую птицу. — Ступай, ступай... Вот я тебе дам — уплывать бог знает куда... Ступай домой, гуляка!

Лебедь красиво подплыл к сайме, вышел на берег, встряхнулся и, тяжело переваливаясь на своих кривых черных ногах, направился к избушке.

II

Старик Тарас был высокого роста, с окладистой седой бородой и строгими большими серыми глазами. Он все лето ходил босой и без шляпы. Замечательно, что у него все зубы были целы и волосы на голове сохранились. Загорелое широкое лицо было изборождено глубокими морщинами. В жаркое время он ходил в одной рубахе из крестьянского синего холста.

— Здравствуй, Тарас!

— Здравствуй, барин!

— Откуда бог несет?

— А вот за Приемышем плавал, за лебедем... Все тут вертелся в протоке, а потом вдруг и пропал... Ну, я сейчас за ним. Выехал в озеро — нет; по заводям проплыл — нет; а он за островом плавает.

— Откуда достал-то его, лебедя?

— А бог послал, да!.. Тут охотники из господ наезжали; ну, лебедя с лебедушкой и пристрелили, а вот этот остался. Забился в камыши и сидит. Летать-то не умеет, вот и спрятался ребячьим делом. Я, конечно, ставил се-

ти подле камышей, ну и поймал его. Пропадет один-то, ястреба заедят, потому как смыслу в ем еще настоящего нет. Сиротой остался. Вот я его привез и держу. И он тоже привык... Теперь вот скоро месяц будет, как живем вместе. Утром на заре поднимется, поплавает в протоке, покормится, потом и домой. Знает, когда я встаю, и ждет, чтобы покормили. Умная птица, одним словом, и свой порядок знает.

Старик говорил необыкновенно любовно, как о близком человеке. Лебедь приковылял к самой избушке и, очевидно, выжидал какой-нибудь подачки.

— Улетит он у тебя, дедушка... — заметил я.

— Зачем ему лететь? И здесь хорошо: сыт, кругом вода...

— А зимой?

— Перезимует вместе со мной в избушке. Места хватит, а нам с Собольком веселей. Както один охотник забрел ко мне на сайму, увидал лебедя и говорит вот так же: «Улетит, ежели крылья не подрежешь». А как же можно увечить божью птицу? Пусть живет, как

ей от господа указано... Человеку указано одно, а птице — другое... Но возьму я в толк, зачем господа лебедей застрелили. Ведь и есть не станут, а так, для озорства...

Лебедь точно понимал слова старика и посматривал на него своими умными глазами.

— А как он с Соболько́м? — спросил я.

— Сперва-то боялся, а потом привык. Теперь лебедь-то в другой раз у Соболька и кусок отнимает. Пес заворчит на него, а лебедь его — крылом. Смешно на них со стороны смотреть. А то гулять вместе отправятся: лебедь по воде, а Соболько — по берегу. Пробовал пес плавать за ним, ну, да ремесло-то не то: чуть не потонул. А как лебедь уплывет, Соболько ищет его. Сядет на бережку и воет... Дескать, скучно мне, псу, без тебя, друг сердешный. Так вот и живем втроем.

Я очень любил старика. Рассказывал уж он очень хорошо и знал много. Бывают такие хорошие, умные старики. Много летних ночей приходилось коротать на сайме, и каждый раз узнаешь что-нибудь новое. Прежде Тарас был охотником и знал места кругом верст за пятьдесят, знал всякий обычай лесной птицы

и лесного зверя; а теперь не мог уходить далеко и знал одну свою рыбу. На лодке плавать легче, чем ходить с ружьем по лесу, а особенно по горам. Теперь ружье оставалось у Тараса только по старой памяти да на всякий случай, если бы забежал волк. По зимам волки заглядывали на сайму и давно уже точили зубы на Соболька. Только Соболько был хитер и не давался волкам.

Я остался на сайме на целый день. Вечером ездили удить рыбу и ставили сети на ночь. Хорошо Светлое озеро, и недаром оно названо Светлым, — вода в нем совершенно прозрачная, так что плывешь на лодке и видишь все дно на глубине несколько сажен. Видны и пестрые камешки, и желтый речной песок, и водоросли, видно, как и рыба ходит «руном», то есть стадом. Таких горных озер на Урале сотни, и все они отличаются необыкновенной красотой. От других Светлое озеро отличалось тем, что прилегало к горам только одной стороной, а другой выходило «в степь», где начиналась благословенная Башкирия. Кругом Светлого озера разлеглись самые привольные места, а из него выходила бойкая

горная река, разливавшаяся по степи на целую тысячу верст. Длиной озеро было до двадцати верст, да в ширину около девяти. Глубина достигала в некоторых местах сажен пятнадцати... Особенную красоту придавала ему группа лесистых островов. Один такой островок отдалился на самую середину озера и назывался Голодаем, потому что, попав на него в дурную погоду, рыбаки не раз голодали по нескольку дней.

Тарас жил на Светлом уже сорок лет. Когда-то у него были и своя семья и дом, а теперь он жил бобылем. Дети перемерли, жена тоже умерла, и Тарас безвыходно оставался на Светлом по целым годам.

— Не скучно тебе, дедушка? — спросил я, когда мы возвращались с рыбной ловли. — Жутко одинокому-то в лесу...

— Одному? Тоже и скажет барин... Я тут князь князем живу. Все у меня есть... И птица всякая, и рыба, и трава. Конечно, говорить они не умеют, да я-то понимаю все. Сердце радуется в другой раз посмотреть на божью тварь... У всякой свой порядок и свой ум. Ты думаешь, зря рыбка плавает в воде или птица

по лесу летает? Нет, у них заботы не меньше нашего... Эвон, погляди, лебедь-то дожидается нас с Собольком. Ах, прокурат!..

Старик ужасно был доволен своим Приемышем, и все разговоры в конце концов сводились на него.

— Гордая, настоящая царская птица, — объяснил он. — Помани его кормом да не дай, в другой раз и не пойдет. Свой характер тоже имеет, даром что птица... С Собольком тоже себя очень гордо держит. Чуть что, сейчас крылом, а то и носом долбанет. Известно, пес в другой раз созорничать захочет, зубами норовит за хвост поймать, а лебедь его по морде... Это тоже не игрушка, чтобы за хвост хватать.

Я переночевал и утром на другой день собрался уходить.

— Ужо по осени приходи, — говорит старик на прощанье. — Тогда рыбу лучить будем с острогой... Ну, и рябчиков постреляем. Осенний рябчик жирный.

— Хорошо, дедушка, приеду как-нибудь.

Когда я отходил, старик меня вернул:

— Посмотри-ка, барин, как лебедь-то

разыгрался с Соболько́м...

Действительно, стоило полюбоваться оригинальной картиной. Лебедь стоял, раскрыв крылья, а Соболько с визгом и лаем нападал на него. Умная птица вытягивала шею и шипела на собаку, как это делают гуси. Старый Тарас от души смеялся над этой сценой, как ребенок.

III

В следующий раз я попал на Светлое озеро уже поздней осенью, когда выпал первый снег. Лес и теперь был хорош. Кое-где на березах еще оставался желтый лист. Ель и сосны казались зеленее, чем летом. Сухая осенняя трава выглядывала из-под снега желтой щеткой. Мертвая тишина царила кругом, точно природа, утомленная летней кипучей работой, теперь отдыхала. Светлое озеро казалось больше, потому что не стало прибрежной зелени. Прозрачная вода потемнела, и в берег с шумом била тяжелая осенняя волна...

Избушка Тараса стояла на том же месте, но казалась выше, потому что не стало окружавшей ее высокой травы. Навстречу мне выско-

чил тот же Соболько. Теперь он узнал меня и ласково завилял хвостом еще издали. Тарас был дома. Он чинил невод для зимнего лова.

— Здравствуй, старина!..

— Здравствуй, барин!

— Ну, как поживаешь?

— Да ничего... По осени-то, к первому снегу, прихворнул малость. Ноги болели... К непогоде у меня завсегда так бывает.

Старик действительно имел утомленный вид. Он казался теперь таким дряхлым и жалким. Впрочем, это происходило, как оказалось, совсем не от болезни. За чаем мы разговорились, и старик рассказал свое горе.

— Помнишь, барин, лебедя-то?

— Приемыша?

— Он самый... Ах, хороша была птица!.. А вот мы опять с Соболько остались одни... Да, не стало Приемыша.

— Убили охотники?

— Нет, сам ушел... Вот как мне обидно это, барин!.. Уж я ли, кажется, не ухаживал за ним, я ли не водился!.. Из рук кормил... Он ко мне и на голос шел. Плавает он по озеру, — я его кликну, он и подплывает. Ученая птица. И

ведь совсем привыкла... да!.. Уж в заморозки грех вышел. На перелете стадо лебедей спустилось на Светлое озеро. Ну, отдыхают, кормятся, плавают, а я любуюсь. Пусть божья птица с силой соберется: не близкое место лететь... Ну, а тут и вышел грех. Мой-то Приемыш сначала сторонился от других лебедей: подплывет к ним, и назад. Те гогочут по-своему, зовут его, а он домой... Дескать, у меня свой дом есть. Так дня три это у них было. Все, значит, переговариваются по-своему, по-птичьему. Ну, а потом, вижу, мой Приемыш затосковал... Вот все равно как человек тоскует. Выйдет это на берег, встанет на одну ногу и начнет кричать. Да ведь как жалобно кричит... На меня тоску нагонит, а Соболько, дурак, волком воет. Известно, вольная птица, кровь-то сказалась...

Старик замолчал и тяжело вздохнул.

— Ну, и что же, дедушка?

— Ах, и не спрашивай... Запер я его в избушку на целый день, так он и тут донял. Станет на одну ногу у самой двери и стоит, пока не сгонишь его с места. Только вот не скажет человечьим языком: «Пусти, дедушки, к това-

рищам. Они-то в теплую сторону полетят, а что я с вами тут буду зимой делать?» Ах, ты, думаю, задача! Пустить — улетит за стадом и пропадет...

— Почему пропадет?

— А как же?.. Те-то на вольной воле выросли. Их, молодые которые, отец с матерью летать выучили. Ведь ты думаешь, как у них? Подрастут лебедята, — отец с матерью выведут их сперва на воду, а потом начнут учить летать. Исподволь учат: все дальше да дальше. Своими глазами я видел, как молодых обучают к перелету. Сначала особняком учат, потом небольшими стаями, а потом уже сгрудятся в одно большое стадо. Похоже на то, как солдат муштруют... Ну, а мой-то Приемыш один вырос и, почитай, никуда не летал. Поплавает по озеру — только и всего ремесла. Где же ему перелететь? Выбьется из сил, отстанет от стада и пропадет... Непривычен к дальнему лету.

Старик опять замолчал.

— А пришлось выпустить, — с грустью заговорил он. — Все равно, думаю, ежели удержу его на зиму, затоскует и схиреет. Уж птица

такая особенная. Ну, и выпустил. Пристал мой Приемыш к стаду, поплавал с ним день, а к вечеру опять домой. Так два дня приплывал. Тоже, хоть и птица, а тяжело с своим домом расставаться. Это он прощаться плавал, барин... В последний-то раз отплыл от берега этак сажен на двадцать, остановился и как, братец ты мой, крикнет по-своему. Дескать: «Спасибо за хлеб, за соль!..» Только я его и видел. Остались мы опять с Соболько́м одни. Первое-то время сильно мы оба тосковали. Спрошу его: «Соболько, а где наш Приемыш?» А Соболько сейчас выть... Значит, жалеет. И сейчас на берег, и сейчас искать друга милого... Мне по ночам все грезилось, что Приемыш-то тут вот полощется у берега и крылышками хлопает. Выйду — никого нет...

Вот какое дело вышло, барин.

Серая Шейка

I

Первый осенний холод, от которого пожелтела трава, привел всех птиц в большую тревогу. Все начали готовиться в далекий путь, и все имели такой серьезный, озабоченный вид. Да, нелегко перелететь пространство в несколько тысяч верст... Сколько бедных птиц дорогой выбьются из сил, сколько погибнут от разных случайностей, — вообще было о чем серьезно подумать.

Серьезная большая птица, как лебеди, гуси

и утки, собирались в дорогу с важным видом, сознавая всю трудность предстоящего подвига; а более всех шумели, суетились и хлопотали маленькие птички, как кулички-песочники, кулички-плавунчики, чернозобики, черныши, зуйки. Они давно уже собирались стайками и переносились с одного берега на другой по отмелям и болотам с такой быстротой, точно кто бросил горсть гороху. У маленьких птичек была такая большая работа...

Лес стоял темный и молчаливый, потому что главные певцы улетели, не дожидаясь холода.

— И куда эта мелочь торопится! — ворчал старый Селезень, не любивший себя беспокоить. — В свое время все улетим... Не понимаю, о чем тут беспокоиться.

— Ты всегда был лентяем, поэтому тебе и неприятно смотреть на чужие хлопоты, — объяснила его жена, старая Утка.

— Я был лентяем? Ты просто несправедлива ко мне, и больше ничего. Может быть, я побольше всех забочусь, а только не показываю вида. Толку от этого немного, если буду бегать с утра до ночи по берегу, кричать, ме-

шать другим, надоедать всем.

Утка вообще была не совсем довольна своим супругом, а теперь окончательно рассердилась:

— Ты посмотри на других-то, лентяй! Вон наши соседи, гуси или лебеди, — любо на них посмотреть. Живут душа в душу... Небось лебедь или гусь не бросит своего гнезда и всегда впереди выводка. Да, да... А тебе до детей и дела нет. Только и думаешь о себе, чтобы набить зоб. Лентяй, одним словом... Смотреть-то на тебя даже противно!

— Не ворчи, старуха!.. Ведь я ничего но говорю, что у тебя такой неприятный характер. У всякого есть свои недостатки... Я не виноват, что гусь — глупая птица и поэтому нянчится со своим выводком. Вообще мое правило — не вмешиваться в чужие дела. Зачем? Пусть всякий живет по-своему.

Селезень любил серьезные рассуждения, причем оказывалось как-то так, что именно он, Селезень, всегда прав, всегда умен и всегда лучше всех. Утка давно к этому привыкла, а сейчас волновалась по совершенно особенному случаю.

— Какой ты отец? — накинулась она на мужа. — Отцы заботятся о детях, а тебе — хоть трава не расти!..

— Ты это о Серой Шейке говоришь? Что же я могу поделать, если она не может летать? Я не виноват...

Серой Шейкой они называли свою калеку-дочь, у которой было переломлено крыло еще весной, когда подкралась к выводку Лиса и схватила утенка. Старая Утка смело бросилась на врага и отбила утенка; но одно крылышко оказалось сломанным.

— Даже и подумать страшно, как мы покинем здесь Серую Шейку одну, — повторяла Утка со слезами. — Все улетят, а она останется одна-одинешенька. Да, совсем одна... Мы улетим на юг, в тепло, а она, бедняжка, здесь будет мерзнуть... Ведь она наша дочь, и как я ее люблю, мою Серую Шейку! Знаешь, старик, останусь-ка я с ней зимовать здесь вместе...

— А другие дети?

— Те здоровы, обойдутся и без меня.

Селезень всегда старался замять разговор, когда речь заходила о Серой Шейке. Конечно, он тоже любил ее, но зачем же напрасно тре-

вожить себя? Ну, останется, ну, замерзнет, — жаль, конечно, а все-таки ничего не поделаешь. Наконец, нужно подумать и о других детях. Жена вечно волнуется, а нужно смотреть на вещи серьезно. Селезень про себя жалел жену, но не понимал в полной мере ее материнского горя. Уж лучше было бы, если бы тогда Лиса совсем съела Серую Шейку, — ведь все равно она должна погибнуть зимой.

II

Старая Утка ввиду близившейся разлуки относилась к дочери-калеке с удвоенной нежностью. Бедняжка еще не знала, что такое разлука и одиночество, и смотрела на сборы других в дорогу с любопытством новичка. Правда, ей иногда делалось завидно, что ее братья и сестры так весело собираются к отлету, что они будут опять где-то там, далеко-далеко, где не бывает зимы.

— Ведь вы весной вернетесь? — спрашивала Серая Шейка у матери.

— Да, да, вернемся, моя дорогая... И опять будем жить все вместе.

Для утешения начинавшей задумываться

Серой Шейки мать рассказала ей несколько таких же случаев, когда утки оставались на зиму. Она была лично знакома с двумя такими парами.

— Как-нибудь, милая, пробьешься, — успокаивала старая Утка. — Сначала поскучаешь, а потом привыкнешь. Если бы можно было тебя перенести на теплый ключ, что и зимой не замерзает, — совсем было бы хорошо. Это недалеко отсюда... Впрочем, что же и говорить-то попусту, все равно нам не перенести тебя туда!

— Я буду все время думать о вас... — повторяла бедная Серая Шейка. — Все буду думать: где вы, что вы делаете, весело ли вам? Все равно и будет, точно и я с вами вместе.

Старой Утке нужно было собрать все силы, чтобы не выдать своего отчаяния. Она старалась казаться веселой и плакала потихоньку ото всех. Ах, как ей было жаль милой, бедненькой Серой Шейки... Других детей она теперь почти не замечала и не обращала на них внимания, и ей казалось, что она даже совсем их не любит.

А как быстро летело время... Был уже це-

лый ряд холодных утренников, а от инея пожелтели березки и покраснели осины. Вода в реке потемнела, и сама река казалась больше, потому что берега оголели, — береговая поросль быстро теряла листву. Холодный осенний ветер обрывал засыхавшие листья и уносил их. Небо часто покрывалось тяжелыми осенними облаками, ронявшими мелкий осенний дождь. Вообще хорошего было мало, и который день уже неслись мимо стаи перелетной птицы... Первыми тронулись болотные птицы, потому что болота уже начинали замерзать. Дольше всех оставались водоплавающие. Серую Шейку больше всех огорчал перелет журавлей, потому что они так жалобно курлыкали, точно звали ее с собой. У нее еще в первый раз сжалось сердце от какого-то тайного предчувствия, и она долго провожала глазами уносившуюся в небе журавлиную стаю.

«Как им, должно быть, хорошо», — думала Серая Шейка.

Лебеди, гуси и утки тоже начинали готовиться к отлету. Отдельные гнезда соединялись в большие стаи. Старые и бывалые пти-

цы учили молодых. Каждое утро эта молодежь с веселым криком делала большие прогулки, чтобы укрепить крылья для далекого перелета. Умные вожаки сначала обучали отдельные партии, а потом всех вместе. Сколько было крика, молодого веселья и радости... Одна Серая Шейка не могла принимать участия в этих прогулках и любовалась ими только издали. Что делать, приходилось мириться со своей судьбой. Зато как она плавала, как ныряла! Вода для нее составляла все.

— Нужно отправляться... пора! — говорили старики вожаки. — Что нам здесь ждать?

А время летело, быстро летело... Наступил и роковой день. Вся стая сбилась в одну живую кучу на реке. Это было ранним осенним утром, когда вода еще была покрыта густым туманом. Утиный косяк сбился из трехсот штук. Слышно было только кряканье главных вожаков. Старая Утка не спала всю ночь, — это была последняя ночь, которую она проводила вместе с Серой Шейкой.

— Ты держись вон около того берега, где в реку сбегает ключик, — советовала она. — Там вода не замерзнет целую зиму...

Серая Шейка держалась в стороне от косяка, как чужая... Да, все были так заняты общим отлетом, что на нее никто не обращал внимания. У старой Утки изболелось все сердце, глядя на бедную Серую Шейку. Несколько раз она решала про себя, что останется; но как останешься, когда есть другие дети и нужно лететь вместе с косяком?..

— Ну, трогай! — громко скомандовал главный вожак, и стая поднялась разом вверх.

Серая Шейка осталась на реке одна и долго провожала глазами улетавший косяк. Сначала все летели одной живой кучей, а потом вытянулись в правильный треугольник и скрылись.

«Неужели я совсем одна? — думала Серая Шейка, заливаясь слезами. — Лучше бы было, если бы тогда Лиса меня съела...»

III

Река, на которой осталась Серая Шейка, весело катилась в горах, покрытых густым лесом. Место было глухое, и никакого жилья кругом. По утрам вода у берегов начинала замерзать, а днем тонкий, как стекло, лед таял.

«Неужели вся река замерзнет?» — думала Серая Шейка с ужасом.

Скучно ей было одной, и она все думала про своих улетевших братьев и сестер. Где-то они сейчас? Благополучно ли долетели? Вспоминают ли про нее? Времени было достаточно, чтобы подумать обо всем. Узнала она и одиночество. Река была пуста, и жизнь сохранялась только в лесу, где посвистывали рябчики, прыгали белки и зайцы. Раз со скуки Серая Шейка забралась в лес и страшно перепугалась, когда из-под куста кубарем вылетел Заяц.

— Ах, как ты меня напугала, глупая! — проговорил Заяц, немного успокоившись. — Душа в пятки ушла... И зачем ты толчешься здесь? Ведь все утки давно улетели...

— Я не могу летать: Лиса мне крылышко

перекусила, когда я еще была совсем маленькой...

— Уж эта мне Лиса!.. Нет хуже зверя. Она и до меня давно добирается... Ты берегись ее, особенно когда река покроется льдом. Как раз сцапает...

Они познакомились. Заяц был такой же беззащитный, как и Серая Шейка, и спасал свою жизнь постоянным бегством.

— Если бы мне крылья, как птице, так я бы, кажется, никого на свете не боялся!.. У тебя вот хоть и крыльев нет, так зато ты плавать умеешь, а не то возьмешь и нырнешь в воду, — говорил он. — А я постоянно дрожу со страху... У меня — кругом враги. Летом еще можно спрятаться куда-нибудь, а зимой все видно.

Скоро выпал и первый снег, а река все еще не поддавалась холоду. Все, что замерзало по ночам, вода разбивала. Борьба шла не на живот, а на смерть. Всего опаснее были ясные, звездные ночи, когда все затихало и на реке не было волн. Река точно засыпала, и холод старался сковать ее льдом сонную. Так и случилось. Была тихая-тихая звездная ночь. Тихо

стоял темный лес на берегу, точно стража из великанов. Горы казались выше, как это бывает ночью. Высокий месяц обливал все своим трепетным искрившимся светом. Бурлившая днем горная река присмирела, и к ней тихо-тихо подкрался холод, крепко-крепко обнял гордую, непокорную красавицу и точно прикрыл ее зеркальным стеклом. Серая Шейка была в отчаянии, потому что не замерзла только самая середина реки, где образовалась широкая полынья. Свободного места, где можно было плавать, оставалось не больше пятнадцати сажен. Огорчение Серой Шейки дошло до последней степени, когда на берегу показалась Лиса, — это была та самая Лиса, которая переломила ей крыло.

— А, старая знакомая, здравствуй! — ласково проговорила Лиса, останавливаясь на берегу. — Давненько не видались... Поздравляю с зимой.

— Уходи, пожалуйста, я совсем не хочу с тобой разговаривать, — ответила Серая Шейка.

— Это за мою-то ласку! Хороша же ты, нечего сказать!.. А впрочем, про меня много

лишнего говорят. Сами наделают что-нибудь, а потом на меня и свалят... Пока — до свидания!

Когда Лиса убралась, приковылял Заяц и сказал:

— Берегись, Серая Шейка: она опять придет.

И Серая Шейка тоже начала бояться, как боялся Заяц. Бедная даже не могла любоваться творившимися кругом нее чудесами. Наступила уже настоящая зима. Земля была покрыта белоснежным ковром. Не оставалось ни одного темного пятнышка. Даже голые березы, ольхи, ивы и рябины убрались инеем, точно серебристым пухом. А ели сделались еще важнее. Они стояли засыпанные снегом, как будто надели дорогую теплую шубу. Да, чудно, хорошо было кругом; а бедная Серая Шейка знала только одно, что эта красота не для нее, и трепетала при одной мысли, что ее полынья вот-вот замерзнет и ей некуда будет деться. Лиса действительно пришла через несколько дней, села на берегу и опять заговорила:

— Соскучилась я по тебе, уточка... Выходи

сюда; а не хочешь, так я сама к тебе приду. Я не спесива...

И Лиса принялась ползти осторожно по льду к самой полынье. У Серой Шейки замерло сердце. Но Лиса не могла подобраться к самой воде, потому что там лед был еще очень тонок. Она положила голову на передние лапки, облизнулась и проговорила:

— Какая ты глупая, уточка... Вылезай на лед! А впрочем, до свидания! Я тороплюсь по своим делам...

Лиса начала приходить каждый день — проведать, не застыла ли полынья. Наступившие морозы делали свое дело. От большой полыньи оставалось всего одно окно в сажень величиной. Лед был крепкий, и Лиса садилась на самом краю. Бедная Серая Шейка со страху ныряла в воду, а Лиса сидела и зло подсмеивалась над ней:

— Ничего, ныряй, а я тебя все равно съем... Выходи лучше сама.

Заяц видел с берега, что проделывала Лиса, и возмущался всем своим заячьим сердцем:

— Ах, какая бессовестная эта Лиса... Какая несчастная эта Серая Шейка! Съест ее Лиса...

IV

По всей вероятности, Лиса и съела бы Серую Шейку, когда полынья замерзла бы совсем, но случилось иначе. Заяц все видел своими собственными косыми глазами.

Дело было утром. Заяц выскочил из своего логова покормиться и поиграть с другими зайцами. Мороз был здоровый, и зайцы грелись, поколачивая лапку о лапку. Хотя и холодно, а все-таки весело.

— Братцы, берегитесь! — крикнул кто-то.

Действительно, опасность была на носу. На опушке леса стоял сгорбленный старичок охотник, который подкрался на лыжах совершенно неслышно и высматривал, которого бы зайца застрелить.

«Эх, теплая старухе шуба будет», — соображал он, выбирая самого крупного зайца.

Он даже прицелился из ружья, но зайцы его заметили и кинулись в лес, как сумасшедшие.

— Ах, лукавцы! — рассердился старичок. — Вот ужо я вас... Того не понимают, глупые, что нельзя старухе без шубы. Не мерзнуть же ей...

А вы Акинтича не обманете, сколько ни бегайте. Акинтич-то похитрее будет... А старуха Акинтичу вон как наказывала: «Ты, смотри, старик, без шубы не приходи!» А вы сигать...

Старичок пустился разыскивать зайцев по следам, но зайцы рассыпались по лесу, как горох. Старичок порядком измучился, обругал лукавых зайцев и присел на берегу реки отдохнуть.

— Эх, старуха, старуха, убежала наша шуба! — думал он вслух. — Ну, вот отдохну и пойду искать другую...

Сидит старичок, горюет, а тут, глядь, Лиса по реке ползет, — так и ползет, точно кошка.

— Ге, ге, вот так штука! — обрадовался старичок. — К старухиной-то шубе воротник сам ползет... Видно, пить захотела, а то, может, и рыбки вздумала половить...

Лиса действительно подползла к самой полынье, в которой плавала Серая Шейка, и улеглась на льду. Стариковские глаза видели плохо и из-за лисы не замечали утки.

«Надо так ее застрелять, чтобы воротника не испортить, — соображал старик, прицеливаясь в Лису. — А то вот как старуха будет

браниться, если воротник-то в дырьях окажется... Тоже своя сноровка везде надобна, а без снасти и клопа не убьешь».

Старичок долго прицеливался, выбирая место в будущем воротнике. Наконец грянул выстрел. Сквозь дым от выстрела охотник видел, как что-то метнулось на льду, — и со всех ног кинулся к полынье; по дороге он два раза упал, а когда добежал до полыньи, то только развел руками, — воротника как не бывало, а в полынье плавала одна перепуганная Серая Шейка.

— Вот так штука! — ахнул старичок, разводя руками. — В первый раз вижу, как Лиса в утку обратилась. Ну, и хитер зверь.

— Дедушка, Лиса убежала, — объяснила Серая Шейка.

— Убежала? Вот тебе, старуха, и воротник к шубе... Что же я теперь буду делать, а? Ну и грех вышел... А ты, глупая, зачем тут плаваешь?

— А я, дедушка, не могла улететь вместе с другими. У меня одно крылышко попорчено...

— Ах, глупая, глупая... Да ведь ты замерзнешь тут или Лиса тебя съест! Да...

Старичок подумал-подумал, покачал головой и решил:

— А мы вот что с тобой сделаем: я тебя внучкам унесу. Вот-то обрадуются... А весной ты старухе яичек нанесешь да утяток выведешь. Так я говорю? Вот то-то, глупая...

Старичок добыл Серую Шейку из полыньи и положил за пазуху. «А старухе я ничего не скажу, — соображал он, направляясь домой. — Пусть ее шуба с воротником вместе еще погуляет в лесу. Главное: внучки вот как обрадуются...»

Зайцы все это видели и весело смеялись. Ничего, старуха и без шубы на печке не замерзнет.

Сказка про славного царя Гороха и его прекрасных дочерей царевну Кутафью и царевну Горошинку

Присказка

Баю-баю-баю…

Один глазок у Алёнушки[45] спит, другой — смотрит; одно ушко у Аленушки спит, другое — слушает.

Спи, Аленушка, спи, красавица, а папа будет рассказывать сказки. Кажется, все тут: и сибирский кот Васька, и лохматый деревенский пес Постойко, и серая Мышка-норушка, и Сверчок за печкой, и пестрый Скворец в клетке, и забияка Петух.

Спи, Аленушка, сейчас сказка начинается. Вон уже в окно смотрит высокий месяц; вон косой заяц проковылял на своих валенках; волчьи глаза засветились желтыми огоньками; медведь Мишка сосет свою лапу. Подлетел к самому окну старый Воробей, стучит носом о стекло и спрашивает: скоро ли? Все тут, все в сборе, и все ждут

Аленушкиной сказки.
Один глазок у Аленушки спит, другой — смотрит; одно ушко у Аленушки спит, другое — слушает. Баю-баю-баю…

I

Жил-был, поживал славный царь Горох в своем славном царстве гороховом. Пока был молод царь Горох, больше всего он любил повеселиться. День и ночь веселился, и все другие веселились с ним.

— Ах, какой у нас добрый царь Горох! — говорили все.

А славный царь Горох слушает, бородку поглаживает, и еще ему делается веселее. Любил царь Горох, когда его все хвалили.

Потом любил царь Горох повоевать с соседними королями и другими славными царями. Сидит-сидит, а потом и скажет:

— А не пойти ли нам на царя Пантелея? Что-то он как будто стал зазнаваться на старости лет… Надо его проучить.

Войска у царя Гороха было достаточно, воеводы были отличные, и все были рады пово-

евать. Может быть, и самих побьют, а все-таки рады. Счастливо воевал царь Горох и после каждой войны привозил много всякого добра — и золотой казны, и самоцветных каменьев, и шёлковых тканей, и пленников. Он ничем не брезговал и брал дань всем, что попадало под руку: мука — подавай сюда и муку, дома пригодится; корова — давай и корову, сапоги — давай и сапоги, масло давай и масло в кашу. Даже брал царь Горох дань лыком и веником. Чужая каша всегда слаще своей, и чужим веником лучше париться.

Все иностранные короли и славные цари завидовали удаче царя Гороха, а главное, его веселому характеру. Царь Пантелей, у которого борода была до колен, говорил прямо:

— Хорошо ему жить, славному царю Гороху, когда у него веселый характер. Я отдал бы половину своей бороды, если бы умел так веселиться.

Но совсем счастливых людей не бывает на свете. У каждого найдется какое-нибудь горе. Ни подданные, ни воеводы, ни бояре не знали, что у веселого царя Гороха тоже есть свое горе, да еще не одно, а целых два горя. Знала

об этом только одна жена царя Гороха, славная царица Луковна, родная сестра царя Пантелея. Царь и царица от всех скрывали свое горе, чтобы народ не стал смеяться над ними. Первое горе заключалось в том, что у славного царя Гороха на правой руке было шесть пальцев. Он таким родился, и это скрывали с самого детства, так что славный царь Горох никогда не снимал с правой руки перчатки. Конечно, шестой палец — пустяки, можно жить и с шестью пальцами, а беда в том, что благодаря этому шестому пальцу царю Гороху всего было мало. Он сам признавался своей царице Луковне:

— Кажется, взял бы всё на свете одному себе... Разве я виноват, что у меня так рука устроена?

— Что же, бери, пока дают, — утешала его царица Луковна. — Ты не виноват. А если добром не отдают, так можно и силой отнять.

Царица Луковна во всем и всегда соглашалась с своим славным царем Горохом. Воеводы тоже не спорили и верили, что воюют для славы, отбирая чужую кашу и масло. Никто и не подозревал, что у славного царя Гороха

шесть пальцев на руке и что он из жадности готов был отнять даже бороду у царя Пантелея, тоже славного и храброго царя.

II

Второе горе славного царя Гороха было, пожалуй, похуже. Дело в том, что первым у славного царя Гороха родился сын, славный и храбрый царевич Орлик, потом родилась прекрасная царевна Кутафья неописанной красоты, а третьей родилась маленькая-маленькая царевна Горошинка, такая маленькая, что жила в коробочке, в которой раньше славная царица Луковна прятала свои сережки. Маленькой царевны Горошинки решительно никто не видал, кроме отца с матерью.

— Что мы с ней будем делать, царица? — спрашивал в ужасе славный царь Горох. — Все люди родятся, как люди, а наша дочь с горошинку...

— Что же делать — пусть живет... — печально отвечала царица.

Даже царевич Орлик и прекрасная царевна Кутафья не знали, что у них есть сестра Горошинка. А мать любила свою Горошинку

больше, чем других детей, — тех и другие полюбят, а эта мила только отцу с матерью.

Царевна Горошинка выросла ростом в горошинку и была так же весела, как отец. Ее трудно было удержать в коробочке. Царевне хотелось и побегать, и поиграть, и пошалить, как и другим детям. Царица Луковна запиралась в своей комнате, садилась к столу и открывала коробочку. Царевна Горошинка выскакивала и начинала веселиться. Стол ей казался целым полем, по которому она бегала, как другие дети бегают по настоящему полю. Мать протянет руку, и царевна Горошинка едва вскарабкается на нее. Она любила везде прятаться, и мать, бывало, едва ее найдет, а сама боится пошевелиться, чтобы, грешным делом, не раздавить родного детища. Приходил и славный царь Горох полюбоваться на свою царевну Горошинку, и она пряталась у него в бороде, как в лесу.

— Ах, какая она смешная! — удивлялся царь Горох, качая головой.

Маленькая царевна Горошинка тоже удивлялась. Какое всё большое кругом — и отец с матерью, и комнаты, и мебель! Раз она забра-

лась на окно и чуть не умерла от страха, когда увидела бежавшую по улице собаку. Царевна жалобно запищала и спряталась в наперсток, так что царь Горох едва ее нашел.

Всего хуже было то, что, как царевна Горошинка стала подрастать, — ей хотелось всё видеть и всё знать. И то покажи ей, и другое, и третье... Пока была маленькой, так любила играть с мухами и тараканами. Игрушки ей делал сам царь Горох — нечего делать, хоть и царь, а мастери для дочери игрушки. Он так выучился этому делу, что никто другой в государстве не сумел бы сделать такую тележку для царевны Горошинки или другие игрушки. Всего удивительнее было то, что мухи и тараканы тоже любили маленькую царевну, и она даже каталась на них, как большие люди катаются на лошадях. Были, конечно, и свои неприятности. Раз царевна Горошинка упросила мать взять ее с собой в сад.

— Только одним глазком взглянуть, матушка, какие сады бывают, — упрашивала царевна Горошинка. — Я ничего не сломаю и не испорчу...

— Ах, что я с ней буду делать? — взмоли-

лась царица Луковна.

Однако пошли в сад. Царь Горох стоял настороже, чтобы кто-нибудь не увидал царевны Горошинки, а царица вышла на дорожку и выпустила из коробочки свою дочку. Ужасно обрадовалась царевна Горошинка и долго резвилась на песочке и даже спряталась в колокольчике. Но эта игра чуть не кончилась бедой. Царевна Горошинка забралась в траву, а там сидела толстая, старая лягушка — увидела она маленькую царевну, раскрыла пасть и чуть не проглотила ее, как муху. Хорошо, что вовремя прибежал сам славный царь Горох и раздавил лягушку ногой.

III

Так жил да поживал славный царь Горох. Все думали, что он останется веселым всегда, а вышло не так. Когда родилась царевна Горошинка, он уже был не молод, а потом начал быстро стариться. На глазах у всех старился славный царь Горох.

Лицо осунулось, пожелтело, глаза ввалились, руки начали трястись, а старого веселья как не бывало. Сильно изменился царь Горох, а с ним вместе приуныло и всё гороховое царство. Да и было отчего приуныть: состарившийся царь Горох сделался подозрительным, всюду видел измену и никому не верил, даже самым любимым боярам и воеводам.

— Никому не верю! — говорил царь Горох им в глаза. — Все вы готовы изменить мне при первом удобном случае, а за спиной, наверно, смеетесь надо мной... Всё знаю! Лучше и не оправдывайтесь.

— Помилуй, славный царь Горох! — взмолились бояре и воеводы. — Да как мы посмеем что-нибудь дурное даже подумать... Все тебя любят, славный царь Горох, и все готовы

жизнь свою отдать за тебя.

— Знаю, знаю. Правые люди не будут оправдываться. Вы только то и делаете, что ждете моей смерти.

Все начали бояться славного царя Гороха. Такой был веселый царь, а тут вдруг точно с печи упал — и узнать нельзя. И скуп сделался царь Горох, как Кощей. Сидит и высчитывает, сколько добра у него съели и выпили гости, да, кроме того, сколько еще разных подарков получили. И обидно старику, что столько добра пущено на ветер, и жаль своей царской казны. Начал царь Горох всех притеснять, каждую денежку высчитывать и даже по утрам сидел в кухне, смотрел, как варят ему щи, чтобы повара не растащили провианта.

— Воры вы все! — корит царь Горох своих поваров. — Только отвернись, вы всю говядину из горшка повытаскаете, а мне одну жижу оставите.

— Смилуйся, царь-государь! — вопили повара и валялись у царя Гороха в ногах. — Да как мы посмеем таскать твою говядину из горшков...

— Знаю, знаю. У меня всё царство вор на

воре — вором погоняет.

Дело дошло до того, что славный царь Горох велел при себе и хлеб резать, и сам считал куски, и даже коров доить стал, чтобы не выпили царского молока неверные слуги. Всем пришлось плохо, даже царица Луковна — и та голодала. Плачет, а попросить кусочка хлеба не смеет у царя. Исхудала бедная и только одному радовалась, что ровно ничего не стоило прокормить любимую дочь Горошинку. Царевна Горошинка была сыта крошечками...

"Испортили царя! — думали все. — Какой-нибудь колдун испортил, не иначе дело. Долго ли испортить всякого человека... А какой был у нас славный да веселый царь!.."

А славный царь Горох с каждым днем делался всё хуже и злее. Начал он людей по тюрьмам сажать, а других прямо казнил. Ходят по всему гороховому царству немилостивые царские пристава, ловят людей и казнят. Чтобы услужить царю Гороху, они выбирали самых богатых, чтобы их именье пошло в царскую казну.

— Однако сколько у меня развелось измен-

ников! — удивляется славный царь Горох. — Это они у меня столько всякого добра наворовали... А я-то по простоте ничего и не замечаю. Еще бы немного, так я бы сам с голоду помер...

IV

С каждым днем славный царь Горох делался всё хуже и хуже, а народ всё искал, кто его испортил. Искали-искали и наконец нашли. Оказалось, что царя испортила его родная дочь, прекрасная Кутафья. Да, она самая... Нашлись люди, которые уверяли, что своими глазами видели, будто она вылетала из дворца, обернувшись сорокой, а то еще хуже — бегала по городу мышью и подслушивала, кто и что болтает про царя. От нее, дескать, и всё зло по гороховому царству пошло. Доказательства были все налицо: славный царь Горох любил только одну прекрасную царевну Кутафью. Он даже прогнал всех своих поваров, а главного повесил перед кухней, и теперь царское кушанье готовила одна прекрасная царевна Кутафья. Ей только одной верил теперь царь Горох, и никому больше.

— Что нам делать теперь? — жаловались все друг другу. — Домашний враг сильнее всех... Погубит прекрасная царевна Кутафья всё царство. Некуда нам деваться от колдуньи...

Впрочем, оставалась еще одна последняя надежда. О красоте царевны Кутафьи прошла слава по всем землям, и к царю Гороху наезжали женихи со всех сторон. Лиха беда в том, что она всем отказывала. Все не хороши женихи. Но ведь надоест же когда-нибудь ей в девках сидеть, выйдет она замуж, и тогда все вздохнут свободно. Думали, судили, рядили, передумывали, а прекрасная царевна Кутафья и думать ничего не хотела о женихе. Последним наехал к царю Гороху молодой король Косарь, красавец и богатырь, каких поискать, но и он получил отказ, то есть отказал ему сам царь Горох.

— Королевство у тебя маловато, король Косарь, — заявил ему славный царь Горох, поглаживая бородку. — Еле-еле сам сыт, а чем жену будешь кормить?

Обиделся король Косарь, сел на своего коня и сказал на прощанье царю Гороху:

— Из маленького королевства может вырасти и большое, а из большого царства ничего не останется. Отгадай, что это значит?

Славный царь Горох только посмеялся над хвастовством короля Косаря: молод-де еще, на губах молоко не обсохло!

Царевны, прекрасной Кутафьи, отец даже не спросил, нравится ей жених или не нравится. Не девичье это дело женихов разбирать — отец с матерью лучше знают, кому отдать родное детище.

Прекрасная царевна Кутафья видела из своего терема, как уезжал домой король Косарь, и горько плакала. Пришелся ей к самому сердцу красавец король, да, видно, ничего против воли родительской не поделаешь. Всплакнула и царица Луковна, жалеючи дочь, а сама и пикнуть не смела перед царем.

Не успел славный царь Горох оглянуться, как король Косарь принялся разгадывать свою загадку. Первым делом он пошел войной на царя Пантелея, начал брать города и избил несчетное число народа. Испугался царь Пантелей и стал просить помощи у царя Гороха. Раньше они ссорились, а иной раз и

воевали, но в беде некогда разбирать старых счетов. Однако славный царь Горох опять погордился и отказал.

— Управляйся, как знаешь, — сказал он через послов царю Пантелею. Всякому своя рубашка ближе к телу.

Не прошло и полугода, как прибежал и сам царь Пантелей. У него ничего не осталось, кроме бороды, а его царством завладел король Косарь.

— Напрасно ты мне не помог, — укорял он царя Гороха. — Вместе-то мы его победили бы, а теперь он меня разбил и тебя разобьет.

— Это мы еще увидим, а твой Косарь — молокосос...

V

Завоевав царство Пантелея, король Косарь послал к славному царю Гороху своих послов, которые и сказали:

— Отдай нашему храброму королю Косарю свою дочь, прекрасную царевну Кутафью, а то тебе будет то же, что царю Пантелею.

Рассердился царь Горох и велел казнить Косаревых послов, а самому королю Косарю послал собаку с обрубленным хвостом. Вот, дескать, тебе самая подходящая невеста...

Рассердился и король Косарь и пошел войной на гороховое царство, идет — и народ, словно косой, косит. Сколько сел разорил, сколько городов выжег, сколько народу погубил, а воевод, которых выслал против него царь Горох, в полон взял. Долго ли, коротко ли сказка сказывается, а только король Косарь подступил уже к самой столице, обложил ее кругом, так что никому ни проходу, ни проезду нет, и опять шлет послов к славному царю Гороху.

— Отдай замуж свою дочь, прекрасную царевну Кутафью, нашему королю Косарю, — го-

ворят послы. — Ты первых послов казнил и нас можешь казнить. Мы люди подневольные.

— Лучше я сам умру, а дочери не отдам вашему королю! — ответил царь Горох. — Пусть сам берет, если сумеет только взять... Я ведь не царь Пантелей.

Хотел славный царь Горох и этих послов казнить, да за них вовремя заступилась сама прекрасная царевна Кутафья. Бросилась она в ноги грозному отцу и начала горько плакать:

— Лучше меня вели казнить, отец, а эти люди не виноваты... Сними с меня голову, только не губи других. Из-за меня, несчастной, напрасно льется кровь и гибнут люди...

— Вот как? Отлично... — ответил славный царь Горох. — Ты отца родного променяла на каких-то послов? Спасибо, доченька... Может быть, тебе хочется замуж за короля Косаря? Ну, этого ты не дождешься! Всё царство загублю, а тебе не бывать за Косарём...

Страшно рассердился царь Горох на любимую дочь и велел посадить ее в высокую-высокую башню, где томились и другие заключенные, а в подвал были посажены Ко-

саревы послы. Народ узнал об этом и толпами приходил к башне, чтобы ругать опальную царевну.

— Отдай нам наши города, взятые королем Косарём! — кричали ей снизу потерявшие от горя голову люди. — Отдай всех, которых убил король Косарь! Из-за тебя мы и сами перемрем все голодной смертью... Ты испортила и своего отца, который раньше не был таким.

Страшно делалось прекрасной царевне Кутафье, когда она слышала такие слова. Ведь ее разорвали бы на мелкие части, если бы она вышла из башни. А чем она виновата? Кому она сделала какое зло? Вот и родной отец ее возненавидел ни за что... Горько и обидно делается царевне, и горько-горько она плачет, день и ночь плачет.

— И для чего я только уродилась красавицей? — причитывала она, ломая руки. — Лучше бы мне родиться каким-нибудь уродом, хромой и горбатой... А теперь все против меня. Ох, лучше бы меня казнил отец!

А в столице уже начинался голод. Голодные люди приходили к башне и кричали:

— Прекрасная царевна Кутафья, дай нам хлеба! Мы умираем с голоду. Если нас не жалеешь, то пожалей наших детей.

VI

Жалела прекрасную царевну Кутафью одна мать. Знала она, что дочка ни в чем не виновна. Все глаза выплакала старая царица Луковна, а мужу ничего не смела сказать. И плакала она потихоньку ото всех, чтобы кто-нибудь не донес царю. Материнское горе видела одна царевна Горошинка и плакала вместе с ней, хотя и не знала, о чем плачет. Очень ей жаль было матери — такая большая женщина и так плачет.

— Мама, скажи, о чем ты плачешь? — спрашивала она. — Ты только скажи, а я попрошу отца... Он всё устроит.

— Ах, ты ничего не понимаешь, Горошинка!

Царица Луковна и не подозревала, что Горошинка знала гораздо больше, чем она думала. Ведь это был не обыкновенный ребенок. Горошинке улыбались цветы, она понимала, о чем говорят мухи, а когда выросла большой,

то есть ей исполнилось семнадцать лет, с Горошинкой произошло нечто совершенно необыкновенное, о чем она никому не рассказывала. Стоило ей захотеть — и Горошинка превращалась в муху, в мышку, в маленькую птичку. Это было очень интересно. Горошинка пользовалась тем временем, когда мать спала, и вылетала в окно мухой. Она облетела всю столицу и всё рассмотрела. Когда отец заключил прекрасную Кутафью в башню, она пролетела и к ней. Царевна Кутафья сидела у окна и горько-горько плакала. Муха-Горошинка полетала около нее, пожужжала и наконец проговорила:

— Не убивайся, сестрица. Утро вечера мудренее...

Царевна Кутафья страшно перепугалась. К ней никого не допускали, а тут вдруг человеческий голос.

— Это я, твоя сестренка Горошинка.

— У меня нет никакой сестрицы...

— А я-то на что?

Горошинка рассказала о себе всё, и сестры поцеловались. Теперь обе плакали от радости и не могли наговориться. Прекрасная царев-

на Кутафья смущалась только одним: именно, что маленькая сестренка Горошинка умеет превращаться в муху. Значит, она колдунья, а все колдуньи злые.

— Нет, я не колдунья, — объясняла обиженная Горошинка. — А только заколдована кем-то, и на мне положен какой-то зарок, а какой зарок — никто не знает. Что-то я должна сделать, чтобы превратиться в обыкновенную девушку, а что — не знаю.

Прекрасная царевна Кутафья рассказала о всех своих злоключениях: как она жалела отца, который сделался злым, а потом, сколько горя из-за нее терпит теперь всё гороховое царство. А чем она виновата, что король Косарь непременно хочет жениться на ней? Он даже и не видал ее ни разу.

— А тебе он нравится, сестрица? — лукаво спросила Горошинка.

Прекрасная царевна Кутафья только опустила глаза и покраснела.

— Раньше нравился... — объяснила она со смущением. — А теперь я его не люблю. Он — злой...

— Хорошо. Понимаю. Ну, утро вечера муд-

ренее...

VII

Всё гороховое царство было встревожено. Во-первых, царевич Орлик попался в плен злому королю Косарю, а во-вторых, исчезла из башни прекрасная царевна Кутафья. Отворили утром тюремщики дверь в комнату царевны Кутафьи, а ее и след простыл. Еще больше удивились они, когда увидели, что у окошка сидит другая девица, сидит и не шелохнется.

— Ты как сюда попала? — удивились тюремщики.

— А так... Вот пришла и сижу.

И девица какая-то особенная — горбатая да рябая, а на самой надето платьишко худенькое, всё в заплатах. Пришли тюремщики в ужас:

— Что ты наделала-то, умница? Ведь расказнит нас славный царь Горох, что не уберегли мы прекрасной царевны Кутафьи...

Побежали во дворец и объявили всё. Прибежал в башню сам славный царь Горох — так бежал, что и шапку дорогой потерял.

— Всех казню! — кричал он.

— Царь-государь, смилуйся! — вопили тюремщики, валяясь у него в ногах. Что хочешь делай, а мы не виноваты. Видно, посмеялась над нами, бедными, прекрасная царевна Кутафья...

Посмотрел славный царь Горох на рябую девицу, которая как ни в чем не бывало сидела у окошка, и подивился не меньше тюремщиков.

— Да ты откуда взялась-то, красота писаная? — строго спросил он.

— А так... Где была, там ничего не осталось.

Удивляется славный царь Горох, что так смело отвечает ему рябая девица и нисколько его не боится.

— А ну-ка, повернись... — сказал он удивляясь.

Как поднялась девица, все увидели, что она хромая, а платьишко на ней едва держится — заплата на заплате. "Этакую ворону и казнить даже не стоит", подумал славный царь Горох. Собрались тюремщики, тоже смотрят и тоже дивуются.

— Как тебя звать-то, красавица? — спросил царь Горох.

— А как нравится, так и зови… Прежде звали Босоножкой.

— А ты меня не боишься?

— Чего мне тебя бояться, когда ты добрый… Так и все говорят: какой у нас добрый царь Горох!

Много всяких чудес насмотрелся царь Горох, а такого чуда не видывал. Прямо в глаза смеется над ним мудреная девица. Задумался славный царь Горох и даже не пошел домой обедать, а сам остался караулить в башне. Тюремщиков заковали в цепи и отвели в другую тюрьму. Не умели ухранить царской дочери, так пусть сами сидят…

— Скажите царице Луковне, чтобы послала мне сюда щей и каши, — приказал царь Горох. — А я сам буду сторожить. Дело не чисто…

А царица Луковна убивалась у себя во дворце. Плачет, как река льется. Сына в полон взял злой король Косарь, прекрасная дочь Кутафья исчезла, а тут еще пропала царевна Горошинка. Искала-искала ее царица по всем

комнатам — нет нигде Горошинки.

"Видно, ее мышь загрызла или воробей заклевал", — думала царица Луковна и еще больше плакала.

VIII

В столице славного царя Гороха и стон, и плач, и горе, а злой король Косарь веселится в своем стане. Чем хуже славному царю Гороху, тем веселее злому королю Косарю. Каждое утро злой король Косарь пишет письмо, привязывает его к стреле и пускает в город. Его последнее письмо было такое:

"Эй ты, славный царь Горох, немного у тебя закуски осталось, — приходи ко мне, я тебя накормлю. Царю Пантелею я хоть бороду оставил, а у тебя и этого нет — у тебя не борода, а мочалка".

Сидит славный царь Горох в башне, читает королевские письма и даже плачет от злости.

Весь народ, сбежавшийся к столице, страшно голодал. Люди умирали от голода прямо на улице. Теперь уже никто не боялся славного царя Гороха — всё равно умирать. Голодные люди приходили прямо к башне, в

которой заперся царь Горох, и ругали его:

— Вот, старый колдун караулит ведьму-дочь. Сжечь их надо, а пепел пустить по ветру. Эй, Горох, выходи лучше добром!

Слушает все эти слова царь Горох и плачет. Зачем он злился и притеснял всех? Пока был добрый — всё было хорошо. Гораздо выгоднее быть добрым. Догадался царь Горох, как следовало жить, да поздно. А тут еще рябая девица сидит у окошечка и поет:

Жил да поживал славный царь Горох,
Победить его никто не мог...
А вся сила в том была,
Что желал он всем добра.

— Правда, правда... — шептал царь Горох, обливаясь слезами.

Потом мудреная девица сказала ему:

— Вот что, славный царь Горох... Не ты меня держишь в башне, а я тебя держу. Понял? Ну, так довольно... Нечего тебе здесь больше делать. Ступай-ка домой — царица Луковна очень соскучилась о тебе. Как придешь домой — собирайся в дорогу. Понял? А я приду за вами...

— Как же я пойду — меня убьют дорогой.

— Никто не убьет. Вот я тебе дам пропуск…

Оторвала девица одну заплатку со своего платья и подала царю. И действительно, дошел царь Горох до самого дворца, и никто его не узнал, даже свои дворцовые слуги. Они даже не хотели его пускать во дворец.

Славный царь Горох хотел было рассердиться и тут же всех казнить, да вовремя припомнил, что добрым быть куда выгоднее. Сдержался царь Горох и сказал слугам:

— Мне бы только увидать царицу Луковну. Всего одно словечко сказать…

Слуги смилостивились и допустили старика к царице. Когда он шел в царские покои, они сказали ему одно:

— Царица у нас добрая, смотри не вздумай просить у нее хлеба. Она и сама через день теперь ест. А всё из-за проклятого царя Гороха…

Царица Луковна узнала мужа сразу и хотела броситься к нему на шею, но он сделал ей знак и шепнул:

— Бежим скорее. После всё расскажу.

Сборы были короткие — что можно унести в руках. Царица Луковна взяла только одну пустую коробочку, в которой жила Горошин-

ка. Скоро пришла и Босоножка и повела царя с царицей. На улице догнал их царь Пантелей и со слезами заговорил:

— Что же это вы меня одного оставляете?

— Ну идем с нами... — сказала Босоножка. — Веселее вместе идти.

IX

Король Косарь стоял под столицей царя Гороха уже второй год и не хотел брать города приступом, чтобы не губить напрасно своих королевских войск. Всё равно сами сдадутся, когда "досыта наголодаются".

От нечего делать веселится злой король Косарь в своей королевской палатке. Веселится и днем, веселится и ночью. Горят огни, играет музыка, поют песни... Всем весело, только горюют одни пленники, которых охраняет крепкая королевская стража. А среди всех этих пленников больше всех горюет царевич Орлик, красавец Орлик, о котором тосковали все девушки, видавшие его хотя бы издали. Это был орленок, выпавший из родного гнезда. Но приставленная к царевичу стража стала замечать, что каждое утро прилетает отку-

да-то белобокая сорока и что-то долго стрекочет по-своему, по-сорочьему, а сама так и вьется над землянкой, в которой сидел пленный царевич. Пробовали стрелять в нее, но никто попасть не мог.

— Это какая-то проклятая птица! — решили все.

Как ни веселился король Косарь, а надоело ему ждать покорности. Послал он в осажденный город стрелу с письмом, а в письме написал царю Гороху, что если города ему не сдадут, то завтра царевич Орлик будет казнен. Ждал король Косарь ответа до самого вечера, да так и не получил его. И в столице не знал еще никто, что славный царь Горох бежал.

— Завтра казнить царевича Орлика! — приказал король Косарь. — Надоело мне ждать. Всех буду казнить, кто только попадется мне в руки. Пусть помнят, какой был король Косарь!

К утру всё было готово для казни. Собралось всё королевское войско смотреть, как будут казнить царевича Орлика. Вот уже загудели уныло трубы, и сторожа вывели царевича. Молодой красавец не трусил, а только с тос-

кой смотрел на родную столицу, стены которой были усыпаны народом. Там уже было известно о казни царевича.

Король Косарь вышел из палатки и махнул платком — это значило, что прощения не будет. Но как раз в это время налетела сорока, взвилась над землянкой пленного царевича и страшно затрещала. Она вилась над самой головой короля Косаря.

— Что это за птица? — рассердился король Косарь.

Придворные бросились отгонять птицу, а она так и лезет — кого в голову клюнет, кого в руку, а кому прямо в глаз норовит попасть. И придворные рассердились. А сорока села на золотую маковку королевской палатки и точно всех дразнит. Начали в нее стрелять, и никто попасть не может.

— Убейте ее! — кричит король Косарь. — Да нет, куда вам... Давайте мне мой лук и стрелы. Я покажу вам, как нужно стрелять...

Натянул король Косарь могучей рукой тугой лук, запела оперенная лебединым пером стрела, и свалилась с маковки сорока.

Тут у всех на глазах свершилось великое

чудо. Когда подбежали поднять убитую сороку, на земле лежала с закрытыми глазами девушка неописанной красоты. Все сразу узнали в ней прекрасную царевну Кутафью. Стрела попала ей прямо в левую руку, в самый мизинец. Подбежал сам король Косарь, припал на колени и в ужасе проговорил:

— Девица-краса, что ты со мной сделала?

Раскрылись чудные девичьи глаза, и прекрасная царевна Кутафья ответила:

— Не вели казнить брата Орлика…

Король Косарь махнув платком, и стража, окружающая царевича, расступилась.

X

Ведет Босоножка двух царей да царицу Луковну, а они идут да ссорятся. Всё задирает царь Пантелей.

— Ах, какое у меня отличное царство было!.. — хвастается он. — Такого другого царства и нет...

— Вот и врешь, царь Пантелей! — спорит Горох. — Мое было не в пример лучше...

— Нет, мое!..

— Нет, мое!..

Как ни старается царь Горох сделаться добрым, а никак не может. Как тут будешь добрым, когда царь Пантелей говорит, что его царство было лучше?

Опять идут.

— А сколько у меня всякого добра было! — говорит царь Пантелей. — Одной казны не пересчитаешь. Ни у кого столько не было.

— Опять врешь! — говорит царь Горох. — У меня и добра и казны было больше.

Идут цари и ссорятся. Царица несколько раз дергала царя Гороха за рукав и шептала:

— Перестань, старик... Ведь ты же хотел

быть добрым?

— А ежели царь Пантелей мешает мне быть добрым? — сердится славный царь Горох.

Всякий думает о своем, а царица Луковна — всё о детях. Где-то красавец царевич Орлик? Где-то прекрасная царевна Кутафья? Где-то царевна Горошинка? Младшей дочки было ей больше всего жаль. Поди, и косточек не осталось от Горошинки... Идет царица и потихоньку вытирает материнские слезы рукавом.

А цари отдохнут и опять спорят. Спорили-спорили, чуть не подрались. Едва царица Луковна их разняла.

— Перестаньте вы грешить, — уговаривала она их. — Оба лучше... Ничего не осталось, так и хвалиться нечем.

— У меня-то осталось! — озлился славный царь Горох. — Да, осталось... Я и сейчас богаче царя Пантелея.

Рассердился царь Горох, сдернул перчатку с правой руки, показал царю Пантелею свои шесть пальцев и говорит:

— Что, видел? У тебя пять пальцев всего, а

у меня целых шесть — вот и вышло, что я тебя богаче.

— Эх, ты, нашел чем хвалиться! — засмеялся царь Пантелей. — Уж если на то пошло, так у меня одна борода чего стоит...

Долго спорили цари, опять чуть не подрались, но царь Пантелей изнемог, присел на кочку и заплакал. Царю Гороху сделалось вдруг совестно. Зачем он хвастался своими шестью пальцами к довел человека до слез?

— Послушай, царь Пантелей... — заговорил он. — Послушай... брось!..

— Никак не могу бросить, царь Горох.

— Да ты о чем?

— А я есть хочу. Лучше уж было остаться в столице или идти к злому королю Косарю. Всё равно помирать голодною смертью...

Подошла Босоножка и подала царю Пантелею кусок хлеба. Съел его царь Пантелей да как закричит:

— А что же ты, такая-сякая, щей мне не даешь?! По-твоему, цари всухомятку должны есть? Да я тебя сейчас изничтожу...

— Перестань, нехорошо... — уговаривал царь Горох. — Хорошо, когда и кусок хлебца

найдется.

XI

Долго ли, коротко ли вздорили цари между собой, потом мирились, потом опять вздорили, а Босоножка идет себе впереди, переваливается на кривых ногах да черемуховой палкой подпирается.

Царица Луковна молчала — боялась, чтобы не было погони, чтобы не убили царя Гороха, а когда ушли подальше и опасность миновала, она стала думать другое. И откуда взялась эта самая Босоножка? И платьишко на ней рваное, и сама она какая-то корявая да еще к тому же хромая. Не нашел царь Горох девицы хуже. Такой-то уродины и близко бы к царскому дворцу не пустили. Начала царица Луковна посерживаться и спрашивает.

— Эй ты, Босоножка, куда это ты нас ведешь?

Цари тоже перестали спорить и тоже накинулись на Босоножку:

— Эй ты, кривая нога, куда нас ведешь?

Босоножка остановилась, посмотрела на них и только улыбнулась. А цари так к ней и

подступают: сказывай, куда завела?

— А в гости веду... — ответила Босоножка и еще прибавила: — Как раз к самой свадьбе поспеем.

Тут уж на нее накинулась сама царица Луковна и начала ее бранить. И такая и сякая — до свадьбы ли теперь, когда у всякого своего горя не расхлебаешь. В глаза смеется Босоножка над всеми.

— Ты у меня смотри! — грозилась царица Луковна. — Я шутить не люблю.

Ничего не сказала Босоножка, а только показала рукой вперед. Теперь все увидели, что стоит впереди громадный город, с каменными стенами, башнями и чудными хоромами, перед городом раскинут стан и несметное войско. Немного струсили цари и даже попятились назад, а потом царь Пантелей сказал:

— Э, всё равно, царь Горох! Пойдем... Чему быть — того не миновать, а может, там и покормят. Очень уж я о щах стосковался...

Царь Горох тоже не прочь был закусить, да и царица Луковна проголодалась.

Нечего делать, пошли. Никто и не думает даже, какой это город и чей стан раскинут.

Царь Горох идет и корит себя, зачем он хвастался перед царем Пантелеем своими шестью пальцами, — болтлив царь Пантелей и всем расскажет. А царица Луковна начала прихорашиваться и сказала Босоножке:

— Иди-ка ты, чумичка, позади нас, а то еще осрамишь перед добрыми людьми...

Идут дальше. А их уже заметили на стану. Валит навстречу народ, впереди скачут вершники. Приосанились оба царя, а царь Пантелей сказал:

— Ну, теперь дело не одними щами пахнет, а и кашей и киселем... Очень уж я люблю кисель!..

Смотрит царица Луковна и своим глазам не верит. Едет впереди на лихом коне сам красавец царевич Орлик и машет своей шапкой. А за ним едет, тоже на коне, прекрасная царевна Кутафья, а рядом с ней едет злой король Косарь.

— Ну, теперь, кажется, вышла каша-то с маслом... — забормотал испугавшийся царь Пантелей и хотел убежать, но его удержала Босоножка.

Подъехали все, и узнал славный царь Го-

рох родных детей.

— Да ведь это моя столица! — ахнул он, оглядываясь на город.

Спешились царевич Орлик и царевна Кутафья и бросились в ноги отцу и матери. Подошел и король Косарь.

— Ну, что же ты пнем стоишь? — сказал ему славный царь Горох. — От поклону голова не отвалится...

Поклонился злой король Косарь и сказал:

— Бью тебе челом, славный царь Горох!.. Отдай за меня прекрасную царевну Кутафью.

— Ну, это еще посмотрим! — гордо ответил царь Горох.

С великим торжеством повели гостей в королевскую палатку. Все их встречали с почетом. Даже царь Пантелей приосанился.

Только когда подходили к палатке, царица Луковна хватилась Босоножки, а ее и след простыл. Искали-искали, ничего не нашли.

— Это была Горошинка, мама, — шепнула царице Луковне прекрасная царевна Кутафья. — Это она всё устроила.

Через три дня была свадьба — прекрасная царевна Кутафья выходила за короля Косаря.

Осада с города была снята. Все ели, пили и веселились. Славный царь Горох до того развеселился, что сказал царю Пантелею:

— Давай поцелуемся, царь Пантелей... И из-за чего мы ссорились? Ведь, ежели разобрать, и король Косарь совсем не злой...

XII

Когда царь Горох с царицей Луковной вернулся к себе домой со свадьбы, Босоножка сидела в царицыной комнате и пришивала на свои лохмотья новую заплатку. Царица Луковна так и ахнула.

— Да откуда ты взялась-то, уродина? — рассердилась старуха.

— Вы на свадьбе у сестрицы Кутафьи веселились, а я здесь свои заплатки чинила.

— Сестрицы?! Да как ты смеешь такие слова выговаривать, негодная!.. Да я велю сейчас тебя в три метлы отсюда выгнать — тогда и узнаешь сестрицу Кутафью...

— Мама, да ведь я твоя дочь — Горошинка!

У царицы Луковны даже руки опустились. Старуха села к столу и горько заплакала. Она только теперь припомнила, что сама Кутафья

ей говорила о Горошинке. Весело было на свадьбе, и про Горошинку с радости все и забыли.

— Ох, забыла я про тебя, доченька! — плакалась царица Луковна. — Совсем из памяти вон... А еще Кутафья про тебя мне шепнула. Вот грех какой вышел!..

Но, посмотрев на Босоножку, царица Луковна вдруг опять рассердилась и проговорила:

— Нет, матушка, не похожа ты на мою Горошинку... Ни-ни! Просто взяла да притворилась и назвалась Горошинкой. И Кутафью обманула... Не такая у меня Горошинка была...

— Право, мама, я Горошинка, — уверяла Босоножка со слезами.

— Нет, нет, нет... И не говори лучше. Еще царь Горох узнает и сейчас меня казнить велит...

— Отец у меня добрый!..

— Отец?! Да как ты смеешь такие слова говорить?. Да я тебя в чулан посажу, чумазую!

Горошинка заплакала. Она же о всех хлопотала, а ее и на свадьбу забыли позвать, да еще родная мать хочет в чулан посадить.

Царица Луковна еще сильнее рассердилась и даже ногами затопала.

— Вот еще горюшко навязалось! — кричала она. — Ну, куда я с тобой денусь? Придет ужо царь Горох, увидит тебя — что я ему скажу? Уходи сейчас же с глаз моих...

— Некуда мне идти, мама...

— Какая я тебе мама!.. Ах ты, чучело гороховое, будет притворяться-то!.. Тоже придумает: дочь!

Царица Луковна и сердилась, и плакала, и решительно не знала, что ей делать. А тут еще, сохрани бог, царь Горох как-нибудь узнает... Вот беда прикачнулась!

Думала-думала старушка и решила послать за дочерью Кутафьей: "Она помоложе, может, что и придумает, а я уже старуха, и взять с меня нечего..."

Недели через три приехала и Кутафья, да еще вместе со своим мужем, королем Косарем. Всё царство обрадовалось, а во дворце поднялся такой пир, что царица Луковна совсем позабыла о Босоножке, то есть не совсем забыла, а всё откладывала разговор с Кутафьей.

"Пусть молодые-то повеселятся да порадуются, — думала царица Луковна. Покажи им этакую чучелу, так все гости, пожалуй, разбегутся..."

И гости веселились напропалую, а всех больше царь Пантелей — пляшет старик, только борода трясется. Король Косарь отдал ему всё царство назад, и царь Пантелей радовался, точно вчера родился. Он всех обнимал и лез целоваться так, что царь Горох даже немного рассердился:

— Что ты лижешь, Пантелей, точно теленок!

— Голубчик, царь Горохушко, не сердись!.. — повторял царь Пантелей" обнимая старого друга. — Ах, какой ты... Теперь я опять никого не боюсь и хоть сейчас опять готов воевать.

— Ну, это дело ты брось... Прежде я тоже любил повоевать, а теперь ни-ни!.. И так проживем...

Чтобы как-нибудь гости не увидали Босоножки, царица Луковна заперла ее в своей комнате на ключ, и бедная девушка могла любоваться только в окно, как веселились

другие. Гостей наехало со всех сторон видимо-невидимо, и было что посмотреть. Когда надоедало веселиться в горницах, все гости выходили в сад, где играла веселая музыка, а по вечерам горели разноцветные огни. Царь Горох похаживал среди гостей, разглаживал свою бороду и весело приговаривал:

— Не скучно ли кому? Не обидел ли я кого? Хватает ли всем вина и еды? Кто умеет веселиться, тот добрый человек...

Босоножка видела из окна, как царь Пантелей с радости подбирал полы своего кафтана и пускался вприсядку. Он так размахивал длинными руками, что походил на мельницу или на летучую мышь. Не утерпела и царица Луковна — тряхнула стариной. Подбоченясь, взмахнула шелковым платочком и поплыла павой, отбивая серебряными каблучками.

— Эх-эх-эх!.. — приговаривала она, помахивая платочком.

— Ай да старуха! — хвалил царь Горох. — Когда я был молодой, так вот как умел плясать, а теперь брюхо не позволяет...

Босоножка смотрела на чужое веселье и плакала: очень уж ей было обидно чужое ве-

селье.

XIII

Сидя у своего окошечка, Босоножка много раз видела сестру, красавицу Кутафью, которая еще более похорошела, как вышла замуж. Раз Кутафья гуляла одна, и Босоножка ей крикнула:

— Сестрица Кутафья, подойдите сюда!

В первый раз Кутафья сделала вид, что не слыхала, во второй раз — она взглянула на Босоножку и притворилась, что не узнала ее.

— Милая сестрица, да ведь это я, Горошинка!

Красавица Кутафья пошла и пожаловалась матери. Царица Луковна страшно рассердилась, прибежала, выбранила Босоножку и закрыла окно ставнями.

— Ты у меня смотри! — ворчала она. — Вот ужо, дай только гостям уехать... Пристало ли тебе, чучеле, с красавицей Кутафьей разговаривать? Только меня напрасно срамишь...

Сидит Босоножка в темноте и опять плачет. Свету только и осталось, что щелочка между ставнями. Нечего делать, от скуки и в

щелочку насмотришься. По целым часам Босоножка сидела у окна и смотрела в свою щелочку, как другие веселятся. Смотрела-смотрела и увидела красавца витязя, который приехал на пир случайно. Хорош витязь — лицо белое, глаза соколиные, русые кудри из кольца в кольцо. И молод, и хорош, и удал. Все любуются, а другие витязи только завидуют. Нечего сказать, хорош был король Косарь, а этот получше будет. Даже гордая красавица Кутафья не один раз потихоньку взглянула на писаного красавца и вздохнула.

А у бедной Босоножки сердце так и бьется, точно пойманная птичка. Очень уж ей понравился неизвестный витязь. Вот бы за кого она и замуж пошла! Да вся беда в том, что Босоножка не знала, как витязя зовут, а то как-нибудь вырвалась бы из своей тюрьмы и ушла бы к нему. Всё бы ему до капельки рассказала, а он, наверно, пожалел бы ее. Ведь она хорошая, хоть и уродина.

Сколько гости ни пировали, а пришлось разъезжаться по домам. Царя Пантелея увезли совсем пьяного. На прощанье с дочерью царица Луковна вспомнила про свою Босо-

ножку и расплакалась:

— Ах, что я с нею только делать буду, Кутафья!.. И царя Гороха боюсь, и добрых людей будет стыдно, когда узнают.

Красавица Кутафья нахмурила свои соболиные брови и говорит:

— О чем ты плачешь, матушка? Пошли ее в кухню, на самую черную работу вот и всё... Никто и не посмеет думать, что это твоя дочь.

— Да ведь жаль ее, глупую!

— Всех уродов не пережалеешь... Да я и не верю ей, что она твоя дочь. Совсем не в нашу семью: меня добрые люди красавицей называют, и брат Орлик тоже красавец. Откуда же такой-то уродине взяться?

— Говорит, что моя...

— Мало ли что она скажет... А ты ее пошли на кухню, да еще к самому злому повару.

Сказано — сделано. Босоножка очутилась на кухне. Все повара и поварихи покатывались со смеху, глядя на нее:

— Где это наша царица Луковна отыскала такую красоту? Вот так красавица! Хуже-то во всем гороховом царстве не сыскать.

— И одежонка на ней тоже хороша! —

удивлялась повариха, разглядывая Босоножку. — Ворон пугать... Ну и красавица!

А Босоножка была даже рада, что освободилась из своего заточения, хотя ее и заставляли делать самую черную работу — она мыла грязную посуду, таскала помои, мыла полы. Все так ею и помыкали, а особенно поварихи. Только и знают, что покрикивают:

— Эй ты, хромая нога, только даром царский хлеб ешь! А пользы от тебя никакой нет...

Особенно донимала ее старшая повариха, злющая старая баба, у которой во рту словно был не один язык, а целых десять. Случалось не раз, что злая баба и прибьет Босоножку: то кулаком в бок сунет, то за косу дернет. Босоножка всё переносила. Что можно было требовать от чужих людей, когда от нее отказались родная мать и сестра! Спрячется куда-нибудь в уголок и потихоньку плачет только и всего. И пожаловаться некому. Правда, царица Луковна заглядывала несколько раз на кухню и справлялась о ней, но все поварихи и повара кричали в один голос:

— Ленивая-преленивая эта уродина, цари-

ца! Ничего делать не хочет, а только даром царский хлеб ест...

— А вы ее наказывайте, чтобы не ленилась, — говорила царица.

Стали Босоножку наказывать: то без обеда оставят, то запрут в темный чулан, то поколотят.

Больше всего возмущало всех то, что она переносила всё молча, а если и плакала, то потихоньку.

— Это какая-то отчаянная! — возмущались все. — Ее ничем не проймешь... Она еще что-нибудь сделает с нами. Возьмет да дворец подожжет — чего с нее взять, с колченогой!..

Наконец вся дворня вышла из терпения, и все гурьбой пошли жаловаться царице Луковне:

— Возьми ты от нас, царица Луковна, свою уродину. Житья нам не стало с нею. Вот как замаялись с нею все — и не рассказать!

Подумала-подумала царица Луковна, покачала головой и говорит:

— А что я с ней буду делать? Надоело мне слушать про нее...

— Сошли ты ее, царица-матушка, на зад-

ний двор. Пусть гусей караулит. Самое это подходящее ей дело.

— В самом деле, послать ее в гусятницы! — обрадовалась царица Луковна. Так и сделаем... По крайней мере, с глаз долой.

XIV

Совсем обрадовалась Босоножка, как сделали ее гусятницей. Правда, кормили ее плохо — на задний двор посылали с царского стола одни объедки, но зато с раннего утра она угоняла своих гусей в поле и там проводила целые дни. Завернет корочку хлеба в платок — вот и весь обед. А как хорошо летом в поле и зеленая травка, и цветочки, и ручейки, и солнышко смотрит с неба так ласково-ласково. Босоножка забывала про свое горе и веселилась, как умела. С нею разговаривали и полевая травка, и цветочки, и бойкие ручейки, и маленькие птички. Для них Босоножка совсем не была уродом, а таким же человеком, как и все другие.

— Ты у нас будешь царицей, — шептали ей цветы.

— Я и то царская дочь, — уверяла Босонож-

ка.

Огорчало Босоножку только одно: каждое утро на задний двор приходил царский повар, выбирал самого жирного гуся и уносил. Очень уж любил царь Горох поесть жирной гусятины. Гуси ужасно роптали на царя Гороха и долго гоготали:

— Го-го-го… ел бы царь Горох всякую другую говядину, а нас бы лучше не трогал. И что мы ему понравились так, несчастные гуси!

Босоножка ничем не могла утешить бедных гусей и даже не смела сказать, что царь Горох совсем добрый человек и никому не желает делать зла. Гуси всё равно бы ей не поверили. Хуже всего было, когда наезжали во дворец гости. Царь Пантелей один съедал целого гуся. Любил старик покушать, хоть и худ был, словно Кощей. Другие гости тоже ели да царя Гороха похваливали. Вот какой добрый да гостеприимный царь… Не то, что король Косарь, у которого много не разгостишься. Красавица Кутафья, как вышла замуж, сделалась такая скупая всего ей было жаль. Ну, гости похлопают глазами и уедут несолоно хлебавши к царю Гороху.

Как-то наехало гостей с разных сторон видимо-невидимо, и захотел царь Горох потешить их молодецкою соколиною охотой. Разбили в чистом поле царскую палатку с золотым верхом, наставили столов, навезли и пива, и браги, и всякого вина, разложили по столам всякую еду. Приехали и гости — женщины в колымагах, а мужчины верхом. Гарцуют на лихих аргамаках, и каждый показывает свою молодецкую удаль. Был среди гостей и тот молодой витязь, который так понравился Босоножке. Звали его Красик-богатырь. Все хорошо ездят, все хорошо показывают свою удаль, а Красик-богатырь — получше всех. Другие витязи и богатыри только завидуют.

— Веселитесь, дорогие гости, — приговаривает царь Горох, — да меня, старика, лихом не поминайте... Кабы не мое толстое брюхо, так я бы показал вам, как надо веселиться. Устарел я немного, чтобы удаль свою показывать... Вот, спросите царицу Луковну, какой я был молодец. Бывало, никто лучше меня на коне не проедет... А из лука как стрелял — раз как пустил стрелу в медведя и прямо в левый глаз попал, а она в правую заднюю ногу вы-

шла.

Царица Луковна вовремя дернула за рукав расхваставшегося мужа, и царь Горох прибавил:

— То бишь, это не медведь был, а заяц...

Тут царица Луковна дернула его опять за рукав, и царь Горох еще раз поправился:

— То бишь, и не заяц, а утка, и попал я ей не в глаз, а прямо-прямо в хвост... Так, Луковна?

— Так, так, царь Горох, — говорит царица. — Вот какой был удалый...

Расхвастались и другие витязи и богатыри, кто как умел. А больше всех расхвастался царь Пантелей.

— Когда я был молодой — теперь мне борода мешает, — так я одною стрелой убил оленя, ястреба и щуку, — рассказывал старик, поглаживая бороду. — Дело прошлое, теперь можно и похвастаться...

Пришлось царице Луковне дернуть за рукав и брата Пантелея, потому как очень уж он начал хвастаться. Смутился царь Пантелей, заикаться стал:

— Да я... я... Я прежде вот как легок был на

ногу: побегу и зайца за хвост поймаю. Вот хоть царя Гороха спросите...

— Врешь ты всё, Пантелей, — отвечает царь Горох. — Очень уж любишь похвастать... да... И прежде хвастал всегда и теперь хвастаешь. Вот со мною действительно был один случай... да... Я верхом на волке целую ночь ездил. Ухватился за уши и сижу... Это все знают... Так, Луковна? Ведь ты помнишь?

— Да будет вам, горе-богатыри! — уговаривала расходившихся стариков царица. — Мало ли что было... Не всё же рассказывать. Пожалуй, и не поверят еще... Может быть, и со мною какие случаи бывали, а я молчу. Поезжайте-ка лучше на охоту...

Загремели медные трубы, и царская охота выступила со Стоянки. Царь Горох и царь Пантелей не могли ехать верхом и тащились за охотниками в колымаге.

— Как я прежде верхом ездил! — со вздохом говорил царь Горох.

— И я тоже... — говорил царь Пантелей.

— Лучше меня никто не умел проехать...

— И я тоже...

— Ну, уж это ты хвастаешь, Пантелей!

— И не думал… Спроси кого угодно.

— И все-таки хвастаешь… Ну, сознайся, Пантелеюшка: прихвастнул малым делом?

Царь Пантелей оглянулся и шепотом спросил:

— А ты, Горохушко?

Царь Горох оглянулся и тоже ответил шепотом:

— Чуть-чуть прибавил, Пантелеюшка… Так, на воробьиный нос.

— И велик же, должно быть, твой воробей!

Царь Горох чуть-чуть не рассердился, но вовремя вспомнил, что нужно быть добрым, и расцеловал Пантелея.

— Какие мы с тобой богатыри, Пантелеюшка!.. Даже всем это удивительно! Куда им, молодым-то, до нас…

XV

Босоножка пасла своих гусей и видела, как тешится царь Горох своею охотой. Слышала она веселые звуки охотничьих рогов, лай собак и веселые окрики могучих богатырей, так красиво скакавших на своих дорогих аргамаках. Видела Босоножка, как царские сокольничьи бросали своих соколов на разную болотную птицу, поднимавшуюся с озера или с реки, на которой она пасла своих гусей. Взлетит сокол кверху и камнем падет на какую-нибудь несчастную утку, только перышки посыплются.

А тут отделился один витязь от царской охоты и несется прямо на нее. Перепугалась Босоножка, что его сокол перебьет ее гусей, и загородила ему дорогу.

— Витязь, не тронь моих гусей! — смело крикнула она и даже замахнулась хворостиной.

Остановился витязь с удивлением, а Босоножка узнала в нем того самого, который понравился ей больше всех.

— Да ты кто такая будешь? — спросил он.

— Я царская дочь…

Засмеялся витязь, оглядывая оборванную Босоножку с ног до головы. Ни дать ни взять, настоящая царская дочь… А главное, смела и даже хворостиной на него замахнулась.

— Вот что, царская дочь, дай-ка мне напиться воды, — сказал он. Разжарился я очень, а слезать с коня неохота…

Пошла Босоножка к реке, зачерпнула воды в деревянный ковш и подала витязю. Тот выпил, вытер усы и говорит:

— Спасибо, красавица… Много я на свете видывал, а такую царскую дочь вижу в первый раз.

Вернулся богатырь на царскую ставку и рассказывает всем о чуде, на которое наехал. Смеются все витязи и могучие богатыри, а у царицы Луковны душа в пятки ушла. Чего она боялась, то и случилось.

— Приведите ее сюда — и посмотрим, — говорит подгулявший царь Пантелей. Даже очень любопытно… Потешимся досыта.

— И что вам за охота на уродину смотреть? — вступилась было царица Луковна.

— А зачем она себя царскою дочерью вели-

чает?

Послали сейчас же послов за Босоножкой и привели перед царский шатер. Царь Горох так и покатился со смеху, как увидал ее. И горбатая, и хромая, и вся в заплатках.

— Точно где-то я тебя, умница, видел? — спрашивает он, разглаживая бороду. — Чья ты дочь?

Босоножка смело посмотрела ему в глаза и отвечает:

— Твоя, царь Горох.

Все так и ахнули, а царь Пантелей чуть не задохся от смеху. Ах, какая смешная Босоножка и как осрамила царя Гороха!

— Это я знаю, — нашелся царь Горох. — Все мои подданные — мои дети...

— Нет, я твоя родная дочь Горошинка, — смело ответила Босоножка.

Тут уж не стерпела красавица Кутафья, выскочила и хотела вытолкать Босоножку в шею. Царь Горох тоже хотел рассердиться, но вовремя вспомнил, что он добрый царь, и только расхохотался. И все стали смеяться над Босоножкой, а Кутафья так и подступает к ней с кулаками. Все замерли, ожидая, что бу-

дет, как вдруг выступил из толпы витязь Красик. Молод и горд был Красик, и стало ему стыдно, что это он подвел бедную девушку, выставил ее на общую потеху, да и обидно притом, что здоровые люди смеются и потешаются над уродцем. Выступил витязь Красик и проговорил:

— Цари, короли, витязи и славные богатыри, дайте слово вымолвить... Девушка не виновата, что она такою родилась, а ведь она такой же человек, как и мы. Это я ее привел на общее посмешище и женюсь на ней.

Подошел витязь Красик к Босоножке, обнял ее и крепко поцеловал.

Тут у всех на глазах случилось великое чудо: Босоножка превратилась в девушку неописанной красоты.

— Да, это моя дочь! — крикнул царь Горох. — Она самая!..

Спало колдовство с Босоножки, потому что полюбил ее первый богатырь, полюбил такою, какою она была.

Я там был, мед-пиво пил, по усам текло — в рот не попало.

Упрямый козел

I

Жил да поживал на свете веселый столяр. Так его и соседи называли «веселый столяр», потому что работал он всегда с песнями. Работает и поет.

— Хорошо ему петь, когда у него все есть, — говорили соседи с завистью. — И своя избушка, и коровка, и лошадка, и огород, и куры, и... даже козел.

Действительно, у столяра все было: и своя избушка, и лошадка, и коровка, и куры, и старый упрямый козел. Жил он ни бедно, ни богато, а главное — все было свое. Сам столяр го-

ворил:

— Слава богу, все у меня есть...

Завистливые соседи не хотели видеть одного, — именно, что веселый столяр все свое добро наживал сам, своим трудом, постоянно работая, да еще помогала ему жена. Он стругает и пилит свои доски, а жена всякую домашнюю работу справляет: и обед приготовит, и починит, и сошьет, и с огородом управится, и за скотиной присмотрит. Одним словом, жили хорошо, и дом был полной чашей. А где живут хозяева хорошо, там и всем остальным хорошо. Лошадь сытая, корова — тоже, на крыше избушки ворковали голуби, под крышей весело чиликали воробьи, по двору расхаживал осанистый петух со своими курами; даже жившие под полом мыши и те были сыты. Бывало, жена столяра заворчит:

— И что это мышей у нас столько развелось? Овес воруют у кур, хлеб тащат...

— Ну что же, и пусть их тащат! — успокаивал жену столяр. — Где же им взять? У хлеба не без крох... Жалованья они не получают, работать не умеют, а жить надо. У них тоже есть и своя семьишка, и свои детишки, — на-

до чем-нибудь кормиться. Ничего, нас с тобой не съедят... Наконец, у нас есть кот Васька.

Кот сидел обыкновенно на печке и делал вид, что ничего не слышит. Он не любил пустых разговоров. Скажите пожалуйста, с какой стати он будет ловить мышей, когда сыт до отвала? Иногда он отправлялся в амбар, ловил какого-нибудь несчастного мышонка, но не ел его, а приносил показать хозяйке.

— Ай да Вася, молодец! — хвалила его жена столяра и давала коту молока.

Кот напивался молока и дремал где-нибудь в теплом уголке. Мышей он ловил только для собственного развлечения. Покажется скучно, ну, и сходит на охоту. Вообще серьезный был кот Васька, и хозяйка очень его любила. Больше всего он гордился тем, что живет в избе вместе с хозяевами и на двор выходил только погулять. Ни с кем не ссорился, не дрался и относился к другим свысока. Например, петух и козел вечно ссорились, корили друг друга и даже вступали в драку.

— Разве так можно, господа? — ворчал кот. — Вы совсем не умеете себя держать... Впрочем, что же я говорю с вами: все равно

ничего не поймете!

— Знаем мы тебя, старого плута, — ругался петух. — Только и знаешь, что лежать на солнышке… Скажите пожалуйста, какой важный барин: лапку боится замочить. Одним словом, дрянь!

Кот ничего не отвечал, а только презрительно щурил свои зеленые глаза да поводил усами.

Козел и петух часто ссорились. Просто возьмут и поссорятся ни из-за чего.

— Эй ты, дармоед! — кричал на весь двор забияка-петух. — Недаром говорится, что от козла — ни шерсти, ни молока…

— Тоже расхвастался, работник! — сердился козел. — Только горло свое петушиное дерешь да никому спать не даешь… Вот и вся твоя работа!

— Я не работник? А кто хозяина по утрам будит? Я!.. А кто за курами смотрит, чтобы не разбежались по чужим дворам? Все я же!.. Везде я и обо всех должен позаботиться! А ты только даром чужое сено ешь, старый упрямый козел…

— Чужое сено ем? Ах ты, разбойник!.. Да я

тебя в мелкие крошки, хвастуна, расшибу!

Козел наклонял голову, закрывал глаза и стремглав бросался на петуха...

— Ой, убили! Батюшки, петуха убили!.. — неистово орал петух, удирая от рассвирепевшего козла. — Караул!.. Живого петуха проклятый козел убил!

Всех поднимал на ноги горланивший петух. Кудахтали перепуганные куры, трещали воробьи, лаял дворовый пес Шарик, принимавший горячее участие в драке. Шарик гнался зараз и за козлом и за петухом и старался ухватить которого-нибудь зубами. Столяр хохотал до слез, глядя на эту суматоху. Обыкновенно дело кончалось тем, что петух взлетал на забор, хлопал крыльями и орал во все горло:

— Наша взяла, урра!.. Что, взял, проклятый козел? Где тебе драться со мной!.. Погоди, вот я тебе твои глупые глаза выцарапаю. Да, со мной, брат, шутки плохие!..

Старый упрямый козел обыкновенно чувствовал себя в такие минуты очень скверно. Упрется рогами в забор и старается его повалить... Тоже ведь совестно, что петух так сра-

мит на всю улицу. Шарик из усердия лаял, как сумасшедший, и тоже бросался на забор.

— Ах, козел, козел, как тебе не стыдно, — смеялся столяр. — Нехорошо, брат, драться, да еще с птицей... Ах, козел, козел, как тебе не стыдно!

— А ежели он хвастается? — угрюмо отвечал козел. — Я вот ему задам.

Подзадоренный козел отходил от забора на средину двора, разбегался и со всего разбега — хлоп! — прямо лбом в забор, — только рога трещат. Это было уж совсем смешно, так что хихикали даже воробьи, прыгая по крыше. Степенно смеялись голуби, качала головой лошадь, а петух хохотал во все горло.

— Ну еще раз, козел!.. Ха-ха!.. Пожалей забор-то, глупая голова!.. Он не виноват, что ты глуп.

— В самом деле, пожалей забор, — смеялся столяр. — Да лоб еще самому может пригодиться... Ах, какой ты старый упрямый козел!..

Козел после такой драки долго не мог успокоиться. Он вообще сердился подолгу: рассердится утром и весь день сердится, ляжет

спать — тоже сердится, проснется ночью — еще немножко посердится. Такой уж сердитый уродился... Раз, чтобы досадить петуху, он, как будто не нарочно, наступил на его любимую курицу. Вышел целый скандал, и петух побежал жаловаться на козла хозяину.

— Помилуйте, хозяин, этак козел всех моих кур изуродует.

— Ну это, брат, не мое дело, — отвечал столяр. — Пусть вас хозяйка рассудит, как знает...

И жена столяра рассудила: взяла палку и пребольно побила козла.

— Вот тебе, вот тебе, упрямая твоя башка... Не дави кур, не дави кур!..

Козел даже взревел от боли, убежал в огород и еще сильнее рассердился на проклятого петуха. Он долго не хотел идти обратно во двор, пока его не уговорил Шарик.

— Ну, будет тебе сердиться, — уговаривал Шарик, виляя хвостом. — Мы как-нибудь вместе вздуем петуха...

— Да, хорошо тебе говорить, а ведь бока-то мои... — ворчал козел, уставившись рогами в землю. — Уж, кажется, я ли не служу хозяину?

А что касается сена, так какое сено мне достается? Подбираю с земли, которое лошадь и коровы все равно затопчут. Одно названье, что сено... Положим, что я неприхотлив, а все-таки чужого сена не ем.

Шарик был добрая собака и жалел козла. В самом деле, за что прибила его хозяйка?..

— Знаешь, что я тебе скажу, козел, — говорил Шарик, — не стоит сердиться. Ты сделай вид, что будто ничего не заметил. И мне ведь тоже иногда достается от хозяйки... А я терплю. Она только и любит, что своего кота Ваську да кур. Ничего с ней не поделаешь...

— А я ее как-нибудь забодаю... вот и не поделаешь.

— Нет, это уж совсем не годится, козел. Надо терпеть... Мало ли что случается в семье? Не каждое лыко в строку...

В сущности, Шарик хитрил. Он больше всего любил, чтобы в доме все было в порядке. Для чего же тогда он, Шарик, если все будут ссориться и драться? Немножко — еще ничего, а только не постоянно.

— Ну, я их помирил, — хвастался Шарик, подходя к хозяйскому крыльцу. — Поссори-

лись, и будет...

— Ты у меня молодец! — хвалил столяр верного пса. — Ежели разобрать, так козел совсем добрый; только немножко упрям. Я ему так и сказал: не сердись, брось! Вообще не стоит...

Столяр любил вечером выйти во двор и посидеть на крылечке. Сядет на лесенку, закурит трубочку и смотрит. А Шарик уж тут как тут: облизывается, хвостиком виляет, лебезит.

— Ну что, Шарик?

— А ничего, все в порядке. День и ночь не сплю, твой дом стерегу.

— Так, так... Молодец! Ведь ты у меня умница...

— А то как же? Какой же порядок в дому, ежели нет хорошей собаки? Это не то, что какой-нибудь дармоед, вроде кота Васьки.

— А, не любишь? Ха, ха, ха! Не забыл, видно, Васькиных когтей?..

От скуки Шарик иногда гонял жирного кота по двору, — не со злости, а так просто. Хозяйка куда-нибудь уйдет, покажется кот на крылечко, — ну, как его не погонять, толсто-

мордого? Правда, что Васька отчаянно защищался и два раза пребольно царапнул Шарика, но все-таки его побаивался. Шарик завидовал Ваське, которого каждый день поили молоком, а ему, Шарику, доставались одни объедки...

II

Жил-поживал веселый столяр, распевал песни, а черное горе подкралось к нему невидимкой... Захворала жена столяра, пролежала неделю-две да и отдала душу богу. Горько плакал бедный столяр, ходил по своей избушке и все повторял:

— Как же я жить-то теперь буду? Ах, как я буду жить?

Пришли соседи, начали его утешать и всё говорили:

— Что ж ты так убиваешься? Всё у тебя, слава богу, есть... Ничего, и один как-нибудь проживешь.

— Всё есть, а жены нет, — плакал столяр. — Ах, как я жить буду? Как я без жены?..

Плачет столяр, разливается, и никто его утешить не может. Похоронил потом жену,

засел опять за работу, только уж не стало слышно веселых песен в избушке. Молча работал столяр, а черное горе молча его глодало.

Трудно было жить столяру одному, и взял он себе одну бедную старушку, которая управлялась бы по хозяйству, — самому ему не поспеть везде, а то хоть работу бросай! И пошло всё вверх дном... И обед вовремя не готов, и кушанье не так приготовлено, и скотина сидит голодная, и в огороде ничего не родится.

— Дрянь дела, — ворчал петух, щелкая носом от голода. — Этак, пожалуй, подохнуть можно...

Куры тоже ворчали и начали меньше класть яиц. Голодавшая корова сразу сбавила молока; лошадь похудела, обросла голодной шерстью, — и все роптали. Ничего не говорил один козел, хоть и голодал вместе с другими. Что же тут говорить? Была жива хозяйка в дому, и всем было хорошо; не стало хозяйки — ну, значит, нужно терпеть.

Соседи, которые раньше завидовали веселому столяру, теперь говорили между собой:

— А мы думали, что он, столяр, умный... Огород запустил, скотину заморил, в дому ни-

какого порядка нет... Какой же он умный столяр?

Самые добрые соседи нарочно приходили к столяру, качали головами, жалели и говорили все это вслух:

— А мы-то думали, что ты умный.

Столяр и сам видел, что всё у него идет из рук вон плохо, — не смотрел бы ни на что. Особенно тошно ему делалось по вечерам... Начал столяр уходить вечерами из дому куда-нибудь в соседи. Все-таки на людях как будто и повеселее, то есть даже и не веселее, а время как-то незаметно проходит. Глядишь, вечера и нет; а тут, глядишь, и спать пора... Прежде столяр работал по вечерам, а теперь работа лежала на полке.

— Успею как-нибудь, — утешал он самого себя. — Работа не медведь — в лес не уйдет!

Пошло плохо с работой. С одним заказом не поспел, другой упустил, третьего не дали... Стал думать столяр так: «Я-то ведь тот же, а это другие мне нарочно зло делают. Позавидовали моему достатку... Ничего, справимся!» Начал столяр подозревать других, что это они виноваты.

Начал он даже на скотину сердиться. Почему корова молока не дает? Почему лошадь не хочет возить по-прежнему? Почему куры перестали класть яйца?

«Да для чего они мне все? — подумал столяр. — Проживу и без них, а то только хлопоты одни да неприятности...»

Кончилось тем, что столяр вывел лошадь и корову на базар и продал. Жаль было продавать, да нельзя, видно, миновать.

— Да он совсем глупый, столяр-то, — заговорили соседки. — И кто это сказал, что он умный?.. Все хозяйство зорит...

Соседи говорят свое, а столяр думает свое. Раньше было другое, и он был другой, а теперь ему ничего не нужно. Пусть идет все крахом; сам наживал, сам и проживает.

Без лошади и коровы всем пришлось плохо. Бывало, от лошади и куры покормятся, и мышь стащит малую толику, и козлу достанутся объедки. То же и с коровой. Петух начал жаловаться громко:

— Житья совсем не стало... А наш хозяин дурак!..

Голуби тоже ворчали: ходят-ходят по дво-

ру, и хоть бы одно зернышко где завалилось. Ворчали воробьи:

— Какой же он хозяин, если воробья накормить нечем? Он нас доведет до того, что мы уйдем к другому хозяину... Пусть остается один и живет, как знает.

— И мы тоже уйдем, — пищали мыши. — Не дохнуть же нам с голоду?.. Конечно, жаль его одного оставлять, да ничего не поделаешь.

Одним словом, поднялся настоящий бунт. Все были недовольны. Молчал только один упрямый старый козел. Правда, он наполовину наедался в поле, а другую половину добывал по соседям. Иногда ему крепко доставалось за это; часто его били; но козел был терпелив и только удивлялся, как это не поймут, что он хочет есть. Где сенца стащит, где клок соломы, а где и палки отведает, за всем не угоняешься...

— Вот озорник! — ругали козла соседи. — В хозяина пошел: такой же забулдыга...

А столяр все видел и слышал и ничего не говорил. Что же поделаешь, пусть уходят все... Было время, были и сыты, и довольны, а

теперь голодной мыши негде поесть. Видел столяр, как воробьи разлетались по соседям, — нетерпеливый народ! Видел, как за ними ушли голуби. Последними тронулись мыши. Одна старая мышь даже подошла к окну, покачала головой и сказала на прощанье:

— Ах, нехорошо, хозяин!.. Да, нехорошо... А все ты виноват... Мы думали, что ты умный.

— Уходите, уходите! — говорил столяр. — Ничего я поделать не могу.

— Мы бы, пожалуй, и остались, — говорила мышь, — да не стало житья от проклятого кота Васьки... Раньше-то он не беспокоил нас, а нынче не выходит из амбара. Если бы жива была хозяйка, да была корова, да поили каждый день Ваську молоком... Ах, хозяин, хозяин, вот как нехорошо!..

Кот Васька действительно здорово голодал. Сидит-сидит на печке и промяукает:

— Молочка бы Васе... ах, молочка!..

— Вот я тебе задам такого молочка, что ты у меня узнаешь!.. — ругался столяр. — Ишь, неженка! Ступай, лови мышей: твое ремесло...

Похудел Васька с горя, шерсть вылезла,

глаза начали слезиться, — одним словом, был хороший кот, а теперь сделался дрянным. Выйдет во двор и мяучит:

— Нет хозяйки, нет молочка...

Приуныл и Шарик и больше не гонялся за котом. Не до того, когда у самого живот подвело с голоду. А хозяин точно не видит ничего... Тоже хорош! Раньше по вечерам в соседи уходил, а теперь начал с утра пропадать. Домой приходил только ночевать. Раз пришел столяр только утром и совсем пьяный. Присел на крылечко и заплакал.

— Тошно мне! Скучно...

Пожалел хозяина Шарик, подошел к нему, приласкался.

— Ах, это ты, Шарик!..

Обнял столяр Шарика и еще больше заплакал.

— Тошно мне, Шарик!.. Не стало хозяйки, и ничего не стало. Дом совсем пустой стоит... Ах, нехорошо... А ведь все было, Шарик!.. Дом стоял, как полная чаша.

Что мог сказать Шарик? Он только повилял своим пушистым хвостом, лизнул хозяйскую руку и жалобно взвизгнул.

— Тоска меня съела, Шарик... Ничего мне не нужно, ничего не жаль... Работа из рук валится.

Подошли к крылечку козел и петух. Козел улегся на ступеньке, а петух стал на одну ногу и слушал.

— А, это вы!.. — удивлялся столяр. — Отчего вы не убежали?

— Вот тоже придумал! — рассердился козел, мотая бородой.

— Куда это мы пойдем? Я не согласен...

— Где твои куры? — спрашивает столяр петуха.

— С голоду разбежались по соседям, хозяин, — отвечал петух, переступая на другую ногу. — Что же им было тут делать? Даже мыши и те ушли...

— И вы уходите, все уходите, никого мне не нужно! — говорил столяр, закрывая лицо руками. — Кончено все!..

— Ну, это мы еще посмотрим... — ответил петух. — Ты знаешь, что я шутить не люблю. Куда мы пойдем?

— Я тоже не согласен... — подтвердил козел.

III

Дела у столяра шли хуже и хуже... Он сам видел, что плохо, и ничего не мог поделать. Раньше он уходил из дому по вечерам, а теперь начал пропадать по целым дням. Тяжело было возвращаться в пустой дом. Чтобы не покупать дров, столяр сначала сжег амбар, потом конюшню, потом ворота, потом забор кругом двора. Избушка теперь стояла на пустыре.

— Что же, я могу жить под крыльцом, — говорил козел. — Шарик, ты немного потеснишься, а вдвоем нам будет теплее.

Шарик не спорил. Отчего же и не потесниться для друга?.. Петух устроился под крышей и тоже не унывал. Что же, можно жить, если бы хозяин еще давал каждый день хоть одну горсточку овса. Иногда вечером все собирались около крыльца и рассуждали о своих делах.

— Нет ничего лучше молочка, — говорил кот Васька, усаживаясь на крылечке.

— Что молочко, а вот если бы, например, овес или крупа, это будет лучше, — спорил пе-

тух.

— Пустяки вы говорите, — уверял Шарик, — уж если что действительно хорошо, так это косточки... Сколько я на своем веку съел костей и знаю толк в еде! Да...

— Хорошо и сенца пожевать... — вставил свое слово козел. — Когда лошадь да корова были, так я до отвалу наедался. Бывало, ночью встанешь и ешь... Вы глупы и не знаете толку в хорошем сене.

Раньше они любили поговорить о своем хозяине и часто его бранили; а теперь нечего было даже говорить. Когда он появлялся домой, каждый старался не попадаться ему на глаза. Приходил столяр обыкновенно сердитый, и лучше было с ним не встречаться. Утром проснется, с похмелья — еще сердитее. Раз чуть не переломал ноги Шарику камнем, так что верный пес озлился и оскалил зубы.

— Да ты, кажется, с ума сошел? — ворчал Шарик, поджав хвост. — Этак можно и совсем убить...

— А ты у меня поговори!.. Ох, не смотрел бы я на вас!.. Без вас тошно...

— Сам виноват, зачем не работаешь?.. За-

чем пьянствуешь?

— Ты меня учить? Да я тебя разорву... Без вас знаю, что делать.

Чтобы доказать свою правду, столяр схватил палку и запустил ею в Шарика. Бедная собака едва успела унести ноги.

— Я вам покажу, какой я человек! — вскричал столяр. — Ну, пью, ну, не работаю и никого знать не хочу...

Он ходил по своему пустырю, бранился и кому-то грозил кулаком. Ведь все были виноваты, а он прав. И он, столяр, умнее всех.

В другой раз, проснувшись утром с больной головой, столяр услышал, как петух пропел свое «кукуреку». Это показалось столяру обидным: у него голова трещит, а петух горло дерет, как сумасшедший... И для чего, подумаешь, надрывается глупая птица? Потом у столяра мелькнула в голове счастливая мысль. Он разыскал сухую корочку, разломал ее в крошки и вышел на крыльцо. Петух ходил по пустырю.

— Здравствуй, хозяин! Крррр...

— Здравствуй, Петя! Хочешь хлебца поклевать? Да ну же, иди сюда.

Петух сделал голову набок, посмотрел на брошенные крошки, посмотрел на хозяина и ответил:

— Эге, ты за кого это меня считаешь, хозяин? Я еще не настолько глуп, чтобы за несколько крошек попасть тебе на жаркое... Шалишь, брат!..

— Да ты иди, Петька... Ну, ну, иди же, говорят тебе! Потолкуем...

— А ты меня съешь?

— Нет, не съем...

— Нет, съешь.

— Ну, если ты не хочешь идти, так я к тебе сам подойду...

Столяр рассердился на глупого петуха и, схватив камень, бросился за ним. Петух страшно перепугался, распустил крылья и заорал благим матом:

— Ой, батюшки, убили... живого петуха убили. Караул... Батюшки, батюшки!..

Долго гонялся столяр за петухом, бросал в него камнями и ничего не мог поделать. Живое жаркое увертывалось у него из-под носу самым обидным образом... Петух спасся только тем, что бегал кругом избушки и ловко

скрывался. И козел, и Шарик видели все это, но не гнались за петухом, как бывало раньше при домашних ссорах.

Теперь было другое. Наконец столяр выбился из сил, присел на крылечко и, схватившись руками за голову, горько заплакал. Обиженный до глубины души, петух отошел и ждал, что будет дальше.

— Если бы у меня была конюшня, я загнал бы петуха в нее, и там-то уж он не ушел бы от меня, — плакался столяр, качая головой. — Ах, я несчастный!.. Петух и тот не слушается меня.

— А ты попробуй съесть Шарика! — крикнул петух издали, оправляя смявшиеся перья. — Тоже придумал... Ведь всего и птицы осталось, что я один. Вот воробьи и голуби давно разлетелись по соседям, а я остался. Жаль мне тебя, хозяин... Старого добра не помнишь. Видно, забыл, сколько лет я тебе служил верой и правдой.

Козел стоял посреди пустыря, уставившись глазами в землю, и молча сердился на хозяина. Давно ли попрекал его за драки с петухом, а сам-то что делает? Тоже хорош, нечего ска-

зать...

«Вот сиди теперь один, — думал козел. — А я и не подойду!.. Сегодня последнего петуха съел бы, а завтра... И думать противно».

Пожалел хозяина один Шарик. Верный пес не помнил зла. Он обошел крыльцо кругом, остановился перед хозяином и ласково вильнул хвостом.

— Будет тебе плакать, хозяин... Нехорошо.

— Кто это говорит? Ах, это ты, Шарик...

Шарик прыгнул к хозяину и припал головой к нему на колени. Столяр взял его за шею и обнял. А у самого слезы так и капают на умную собачью морду.

— Ах, Шарик, Шарик... Один ты у меня друг остался. Да, один... Помнишь, как мы поживали да добра наживали?

— Отлично помню, хозяин... все у нас было. Одних костей сколько мне доставалось... А теперь забыл, чем кости пахнут.

— У тебя кости на уме, а у меня вся душа изболелась. Я сам себя начинаю ненавидеть. И лентяй, и пьяница... Добрые люди от меня начинают сторониться. Не такой ведь я был раньше-то... Тоска меня заела.

Жаль стало Шарику хозяина, и он только слабо взвизгивал, помахивая своим пушистым хвостом.

— Скучно мне, тошно... — повторял столяр, поднимая собаку. — Точно все у меня порвалось внутри и сам я чужой себе.

IV

Плохо жил столяр, и чем дальше, тем хуже. Хотел даже последнюю свою избушку продать и как-то вечерком привел покупателя... Ходят вдвоем, осматривают избушку, покупатель в стену постукивает, — не сгнили ли бревна.

— Да уж отличная избушка, — уверял столяр. — Не на продажу строилась.

Покупатель не верил чужим словам, а только своим глазам. Осмотрев избу, он полез под крыльцо: нет ли, мол, там какого изъяна... А под крыльцом лежал козел. Как увидел он чужого человека, поднялся и сейчас его на рога, — так ударил, что чуть глаза не вышиб.

— Это у тебя что за генерал лежит? — ругался покупатель, вылезая из-под крыльца. — Чуть не убил до смерти, проклятый...

Столяр рассердился и принялся гнать козла. Но это было не так-то легко сделать: упрся козел, и делу конец! Не пустил под крыльцо даже хозяина.

— Не глядевши, я не могу покупать, — заявил покупатель.

— Да ведь что же я поделаю с ним, с упрямым чертом?

— Дело твое...

Слово за слово, столяр и покупатель заспорили; разгорячились и чуть не подрались. На шум сбежались соседи и едва их розняли.

— Ты сам козел! — ругал столяра покупатель. — Вам вместе под крыльцом жить надо...

Так продажа и не состоялась, а столяр окончательно рассердился на старого упрямого козла. В самом деле, что он живет зря, то есть козел? Петуха хоть зажарить можно. Шарик дом стережет, кот Васька мышей ловит, а этот уж совсем ни к чему.

Чем больше думал столяр, тем больше убеждался, что козел совершенно ему не нужен и даже как будто мешает. Разве нельзя прожить без козла? А потом столяр все силь-

нее сердился на него, потому что козел помешал продать избушку.

— Этакая проклятая тварь навязалась! — бранился столяр, припоминая свою ссору с покупателем. — Он и меня на рога чуть не поддел... Погоди, брат, я тебе удружу! Будешь меня помнить, проклятая скотинка...

Сказано — сделано. Поймал столяр козла за рога, накинул на шею веревку и повел продавать. Как ни упирался козел, как ни брыкался, а ничего не мог поделать, особенно когда столяру начали помогать соседи: кто хворостиной, кто палкой погонял сзади. У соседей были старые счеты с козлом: кого лягнул, кого боднул, у кого сена клок стащил, у кого капусту в огороде съел. Все рады, что избавятся наконец от козла. Туда ему и дорога...

— Тащи его! — кричали соседи, подстегивая упиравшегося козла. — Недаром говорится, что от козла — ни шерсти, ни молока... Да и нам спокойнее. В прошлом году тетке Матрене два зуба вышиб...

Никто не прибавил, что тетка Матрена три раза обливала козла кипятком. Впрочем, козел уже давно привык к несправедливости и

не обращал внимания на неблагодарных соседей. Гонят сами, а сами не понимают, что бывают козлы гораздо хуже. Да, совсем скверные козлы.

Вывел столяр козла на рынок и простоял целый день. Никому не нужно козла... Еще обиднее сделалось столяру: какая же это скотина, которой никому даром не нужно? В сердцах столяр несколько раз пребольно пнул ногой козла прямо в бок.

— Из-за тебя только целый день потерял...

— А я с тобой и разговаривать не желаю!

— Хорошо, погоди, я тебе и не так удружу!..

Когда все покупатели разошлись с рынка, столяр повел козла к знакомому купцу. Привел на двор и давай расхваливать.

— Благодарить будете, ваше степенство, потому что это не козел, а клад. Уж сколько он умен да догадлив... Ну-ка, Вася, тряхни бородкой! Уж другого такого козла днем с огнем не сыскать...

— Нахваливай пуще... — ворчал козел, мотая бородой. — Только, смотри, не подавись от вранья...

— И смышленый какой... — нахваливал

столяр. — Его и кормить совсем не надо: сам себе пропитание добудет.

— Ну, это ты уж совсем напрасно, — рассердился козел. — Хоть один раз закусить хорошенько... Давненько я не едал по-настоящему.

Понравился упрямый козел купцу. Как раз ему вот такого и нужно. Да и ребятишкам забава... Ударили по рукам, и столяр получил за козла целых три рубля. Давно у него не было в руках таких денег, и с радости столяр напился пьян.

Просыпается утром на другой день, а кот Васька с печки ему мяукает:

— Дяденька, а козел-то опять у нас. Прибежал с веревкой на шее...

— Ну, это его дело, а я его больше не знаю...

Пришел от купца дворник с кучером, и вытащили козла за рога, зацепили веревкой и потащили к новому хозяину, только бока трещат.

— Чего ты упираешься-то? — удивлялся столяр. — Там, по-крайней мере, сыт будешь...

— Ну, это дело мое, — ответил сердито козел. — В гостях хорошо, а дома лучше того...

Прошло два дня, и козел опять вернулся домой. Пришли за ним два дворника и два кучера и принялись бить. Даже столяру сделалось жаль упрямую скотину.

— Ну, перестань, не упрямься, — уговаривал он козла.

Посмотрел на него козел исподлобья, нахмурился и проговорил всего одно слово:

— Эх ты, бесстыдник!..

Задумался столяр. Мудреный козел: не хочет жить у купца, где сладко поят и кормят, а рвется домой, в избушку, где хоть шаром покати, голодной мыши нечем накормить. Потом сделалось столяру совсем совестно... А козел опять пришел. Идет по улице и прихрамывает. Даже соседи и те пожалели: «Ах, бедный козлик!» Забился козел под свое крыльцо и лежит — туча тучей. Добыл столяр немного хлеба и снес козлу.

— На вот, покушай, упрямая башка...

Козел даже не шевельнулся. И на хлеб не смотрит... Еще совестнее сделалось столяру. Ведь вот скотина, бессловесная тварь, а своего угла ни за что не желает менять. И вот Васька тоже, и петух, и Шарик... Отправился

столяр к купцу и говорит:

— Ваше степенство, как же мы относительно козлика? Он опять прибежал ко мне...

— Ты меня обманул, — говорит купец, — продавал козла за умного, а он хуже черта. Вот кучера да дворники совсем замаялись с ним. Все руки, говорят, отколотили о проклятого козла. Совсем глупый козел...

— Нет, ваше степенство, совсем даже не глупый он. Да... Поумнее будет дурака-то хозяина, потому как он свой дом знает. Уступите его мне обратно, а деньги я вам отработаю.

— Да бери хоть даром. Все равно не будет у меня жить...

— Нет уж, зачем даром. Это нехорошо...

Вернулся столяр домой такой веселый и принялся за свою работу. Давно его таким не видали. Опять засвистела пила, и полетели стружки... Опять соседи услышали, как поет столяр, работает и поет.

— Ну, теперь у нас все пойдет хорошо, — говорит Шарик, — хозяин поет, значит, беда прошла...

Вылез из-под крыльца козел, посмотрел кругом, мотнул бородой и сказал:

— Кабы не я, так все бы вы пропали тут...

Через год около избушки появились и новый забор, и новые ворота, и новый сарай. Прилетели голуби, зачиликали воробьи, вернулась старая мышь со всем семейством.

— Это он для нас, для мышей, выстроил, — уверяла мышь, осматривая сарай. — Ничего, как-нибудь поместимся... Ведь я ему говорила тогда, что не проживет он без нас.

Старый воробей

I

— Хозяин что-то замышляет, — заметил первым Петух, гордо выпячивая атласную грудь.

— А я знаю, что! — чирикнул с вербы старый Воробей. — Ну-ка, догадайся, умная голова!.. Нет, лучше и не думай: все равно ничего не придумаешь.

Петух сделал вид, что не понял обидных слов, и, чтобы показать свое презрение дерзкому хвастунишке, громко захлопал крыльями, вытянув шею, и, страшно раскрыв клюв, пронзительно заорал свое единственное ку-ку-реку!

— Ах, глупый горлан!.. — смеялся старый Воробей, вздрагивая своим крошечным тельцем. — Сейчас видно, что ничего не понимаешь. Чили-чили!

А хозяин маленького домика, стоявшего на окраине города, действительно был занят необыкновенным делом. Во-первых, он вынес

из комнаты небольшой ящик с железной кровелькой. Потом достал из сарая длинный шест и начал прибивать к нему гвоздями принесенный ящик. Мальчик лет пяти внимательно наблюдал за каждым его движением.

— Отличная штука будет, Сережка! — весело говорил отец, вбивая последний гвоздь. — Настоящий дворец...

— А где скворцы, тятя? — спросил мальчик.

— А скворцы прилетят сами...

— Ага, скворечник!.. — гаркнул Петух, прислушивавшийся к разговору. — Я так и знал!

— Ах, глупый, глупый! — засмеялся над ним старый Воробей. — Это мне квартиру приготовляют... да! Эй, старуха, смотри, какой нам домик сделали.

Воробьиха была гораздо серьезнее мужа и отнеслась с недоверием к этим словам. Да и хозяин сам говорит о скворцах, значит, будет скворечник. Впрочем, спорить она не желала, потому что это было бы бесполезно: разве старого Воробья кто-нибудь переспорит?.. Он будет повторять свое без конца, а она совсем не

хотела ссориться. Да и зачем ссориться, когда весеннее солнышко так ласково светит? Везде бегут весенние ручейки, и почки на березах уже совсем набухли и покраснели: вот-вот раскроются и выпустят каждая по зеленому листочку, такому мягкому, светленькому, душистому и точно покрытому лаком. Слава богу, зима прошла, и теперь всем наступает великая радость. Конечно, старый Воробей страшный забияка и частенько обижает свою старуху; но в такие светлые весенние дни забываются даже семейные неприятности.

— Что же ты молчишь, моя старушка? — приставал к ней старый Воробей. — Будет нам жить под крышей: и темно, и ветром продувает, и вообще неудобно. Признаться сказать, я давно думаю переменить квартиру, да все как-то было некогда. Хорошо, что хозяин сам догадался... Вот у кур есть курятник, у лошадей — стойло, у собаки — конура, а только я один должен был скитаться где попало. Совестно стало хозяину, вот он и приготовил мне домишко... Отлично заживем, старушонка!

Весь двор был занят хозяйской работой, из

конюшни выглядывала лошадиная голова, из конуры вылез мохнатый Волчок, и даже показался серый кот Васька, целые дни лежавший где-нибудь на солнышке. Все следили, что будет дальше.

— Эй, старый плут... — кричал старый Воробей, завидев своего главного врага, кота Ваську. — Ты зачем пожаловал сюда, дармоед? Теперь, брат, тебе меня не достать... да! Лови своих мышей да посматривай, как я заживу в своем домике. Не все мне по морозу прыгать на одной ножке, а тебе лежать на печке...

— Что же, пожалуй, и так... — согласился Петух, тоже недолюбливавший кота Ваську. — Положим, что старый Воробей и хвастун, и забияка, и вор, но он все-таки не таскает цыплят.

Кончив свою работу, хозяин поднял шест со скворечником и прикрепил его к самому крепкому столбу ограды. Скворечник был отличный: доски были пригнаны плотно, наверху — железная крышка, а сбоку прикреплена сухая березовая ветка, на которой так удобно было отдыхать. У маленького круглого

оконца, через которое можно было влететь в скворечник, устроена была деревянная полочка, — тоже недурно отдохнуть.

— Живо, старуха, собирайся! — крикнул старый Воробей. — Ведь есть нахалы, которые сейчас готовы захватить чужой дом... Те же скворцы прилетят.

— А если нас оттуда выгонят? — заметила Воробьиха. — Старое свое гнездо разорим, кто-нибудь его займет, а сами и останемся ни при чем... Да и хозяин про скворцов говорил.

— Ах, глупая: это он пошутил.

Не успел хозяин отойти от скворечника, чтобы полюбоваться своей работой издали, как старый Воробей уже был на железной кровельке. Весело чиликнув, он быстро юркнул в оконце, только хвостик мелькнул.

— Эге, да тут совсем отлично! — думал вслух старый Воробей, запутавшись в хлопьях кудели. — То-то моей старухе тепло будет, да и ребятишкам тоже... Не дует ниоткуда, дождем не мочит, и, главное, сам хозяин для меня устроил. Недурно... А зимой здесь — умирать не надо.

Выбравшись на самую верхушку скворе-

ника, старый Воробей весело распушил все перышки, повернулся на все стороны и крикнул:

— Это я, братцы! Милости просим к нам на новоселье.

— Ах, разбойник! — обругал его хозяин снизу. — Уж успел забраться. Погоди, брат, вот прилетят скворцы, они тебе зададут.

Маленький Сережка был ужасно огорчен, что в скворечнике поселился самый обыкновенный воробей.

— Ты каждое утро смотри, — учил его отец. — На днях должны прилететь наши скворцы.

— Будет шутить, хозяин! — кричал старый Воробей сверху. — Меня-то не проведешь... А скворцам мы и сами зададим жару-пару!..

II

Старый Воробей расположился в скворечнике по-домашнему, как и следует семейной птице. Из старого гнезда был перетащен пух и все, что только можно было утащить.

— А теперь пусть в нем живут племянники, — решил старый Воробей со свойственным ему великодушием. — Я всегда готов отдать родственникам последнее... Пусть живут, да меня, старика, добром поминают.

— Тоже расщедрился! — смеялись другие воробьи. — Подарил племянникам какую-то щель... Вот ужо посмотрим, как самого погонят из скворечника, так куда тогда денется?

Все это говорилось, конечно, из зависти, и старый Воробей только посмеивался: пусть их поговорят. О, это был опытный, старый Воробей, видавший виды... Сидя в своем теплом гнезде, теперь он с удовольствием вспоминал о разных неудачах своей жизни. Раз чуть не сгорел, забравшись погреться в трубу, в другой — чуть не утонул, потом замерзал, потом совсем было попался в бархатные лапки старого плута Васьки и чуть живой вырвался, —

э, да мало ли невзгод и горя он перенес!..

— Пора и отдохнуть, — рассуждал он громко, взобравшись на крышу своего нового домика. — Я — заслуженный Воробей... Молодые-то пусть поучатся, как нужно на свете жить.

Как ни смешно было нахальство старого Воробья, но к нему все привыкли и даже стали верить, что действительно скворечник поставлен именно для старого Воробья. Теперь все ждали только того решительного дня, когда прилетят скворцы, — что-то тогда будет делать старик, забравшийся в чужое гнездо?

— Что такое скворцы? — рассуждал вслух старый Воробей. — Глупая птица, которая неизвестно зачем перелетает с одного места на другое. Вот наш Петух тоже не умен, но зато и сидит дома; а потом из него сварят суп... Я хочу сказать, что глупый Петух хоть на суп годен, а скворцы — никуда: прилетят, как шальные, вертятся, стрекочут... Тьфу! Смотреть неприятно.

— Скворцы поют... — заметил Волчок, которому порядочно-таки надоело слушать эту воробьиную болтовню. — А ты только уме-

ешь воровать.

— По-ют? Это называется петь? — изумился старый Воробей. — Ха-ха... Нет уж извините, господа, про себя говорить нехорошо, а между тем я должен сказать, что если кто действительно поет, так это я... да! И я постоянно пою, с утра до ночи, пою целую жизнь... Вот послушайте: чили-чили-чилик!.. Хорошо? не правда ли?.. Меня все слушают...

— Будет тебе, старый шут!

Скворечник оказался очень хорошей квартирой. Главное, все видно сверху. Только вынесут корм курам, а старый Воробей уже поспел раньше всех. Сам наестся и своей Воробьихе зернышко снесет. Он даже успевал украсть малую толику и у Волчка, пока тот вылезал из своей конуры. И везде так. Шныряет под ногами у кур, заберется в кормушку к лошади, даже в комнаты забирался не раз, — прожорливости и нахальству старого Воробья не было границ. Мало этого. Он успевал побывать и на чужих дворах и там урвать что-нибудь из съестного. Везде лезет, везде ему было дело, и никого знать не хочет.

Наступил март. Дни стояли теплые, свет-

лые. Снег везде почернел, присел, пропитался водой и сделался таким рыхлым, точно его изъели черви. Ветви у берез покраснели и набухли от приливавших соков. Весна подступала все больше. Иногда пахнет таким теплым ветерком, что даже у старого Воробья захолонет сердце. Жутко-хорошо в такую пору.

Маленький Сережка, как только просыпался утром, сейчас же лез к окну посмотреть, не прилетели ли скворцы. Но день проходил за днем, а скворцов все не было.

— Тятя, на скворечнике все этот воробей сидит, — жаловался Сережка отцу.

— Погоди, отойдет ему честь. Грачи вчера прилетели. Значит, скоро будут и наши скворцы.

Действительно, соседний барский сад был усеян черными точками, точно живой сеткой: это были первые весенние гости, прилетевшие с далекого теплого юга. Они поднимали такой гвалт, что слышно было за несколько улиц, — настоящая ярмарка. Галдят, летают, осматривают старые гнезда и кричат без конца.

— Ну, старуха, теперь держись! — шептал

старый Воробей своей Воробьихе еще с вечера. — Утром налетят скворцы... Я им задам, вот увидишь. Я ведь никого не трогаю, и меня не тронь. Знай всяк сверчок свой шесток!

Целую ночь не спал старик и все сторожил. Но особенного ничего не случилось. Перед утром пролетела небольшая стайка зябликов. Птички смирные: отдохнули, посидели на березах и полетели дальше. Они торопились в лес. За ними показались трясогузки, — эти еще скромнее. Ходят по дорогам, хвостиками покачивают и никого не трогают. Обе — лесные птички, и старый Воробей был даже рад их видеть... Нашлись прошлогодние знакомые.

— Что, братцы, далеко летели?

— Ах, как далеко!.. А здесь холодно было зимой?

— Ах, как холодно!..

— Ну, прощай, Воробушко! Нам некогда.

Утро было такое холодное, а в скворечнике так тепло, да и Воробьиха спит сладко-сладко.

Чуть-чуть прикорнул старый Воробей; кажется, не успел и глаз сомкнуть, как на скво-

речник налетела первая стайка скворцов. Быстро они летели, так что воздух свистел. Облепили скворечник и подняли такой гам, что старый Воробей даже испугался.

— Эй, ты, вылезай! — кричал Скворец, просовывая голову в оконце. — Ну, ну, пошевеливайся поскорей!..

— А ты кто такой?.. Я здесь хозяин... Проваливай дальше, а то ведь я шутить не люблю...

— Ты еще разговариваешь, нахал?..

Что произошло дальше, страшно и рассказывать: разведчик Скворец очутился в скворечнике, схватил Воробьиху за шиворот своим длинным, как шило, клювом и вытолкнул в окно.

— Батюшки, караул!.. — благим матом орал старый Воробей, забившись в угол и отчаянно защищаясь. — Грабят... Караул!.. Ой, батюшки, убили...

Как он ни упирался, как ни дрался, как ни орал, а в конце концов с позором был вытолкнут из скворечника.

III

Это было ужасное утро. В первую минуту старый Воробей даже не мог сообразить хорошенько, как это случилось... Нет, это возмутительно, как вы хотите! Но и с этим можно было помириться: ну, забрался в чужой скворечник, ну, вытолкали, — только и всего. Если бы старому Воробью такое же шило вместо клюва дать, как у Скворца, так он всякого бы вытолкал. Главное — стыдно... Да. Вот уж это скверно, когда захвастаешься, накричишь, наболтаешь, — ах, как скверно!

— Напугал же ты скворцов! — кричал ему со двора Петух. — Я хоть и в суп попаду, да у меня свое гнездо есть, а ты попрыгай на одной ножке... Трещотка проклятая!.. Так тебе и надо...

— А ты чему обрадовался? — ругался старый Воробей. — Погоди, я тебе покажу... Я сам бросил скворечник: велик он мне, да и дует из щелей.

Бедная Воробьиха сидела на крыше такая жалкая и убитая, и это еще больше разозлило старого Воробья. Он подлетел к ней и клюнул

ее в голову.

— Что ты сидишь? Только меня срамишь... Возьмем старое гнездо, и делу конец. А со скворцами я еще рассчитаюсь...

Но племянники, устроившись в гнезде, не хотели его отдавать ни за что. Подняли крик, шум и в заключение вытолкнули старого дядюшку. Это было похуже скворцов: свои же родные в шею гонят, а уж он ли, кажется, не старался для них. Вот и делай добро кому-нибудь... Воробьиху прибил ни за что, гнездо потерял, а сам на крыше остался с семейством: как раз налетит ястреб и разорвет в клочки. Пригорюнился старый Воробей, присел на конек крыши отдохнуть и тяжело вздохнул. Эх, тяжело жить на свете серьезной птице!

— Как же мы теперь жить будем? — жалобно повторяла Воробьиха. — У всех есть свои гнезда... Скоро детей будут выводить, а мы так, видно, на крыше и останемся.

— Погоди, старуха, устроимся.

А главная обида была еще впереди. Выбежал на двор маленький Сережка, захлопал ручонками от радости, что прилетели скворцы, и не мог на них налюбоваться. Отец тоже

любовался и говорил:

— Посмотри, какие они красивые: точно шелковые. А как заливаются-поют!.. Веселенькая птичка...

— А где же воробей, тятя, который жил в скворечнике? Да вон на крыше сидит... У, как смешно нахохлился!..

— Да он всегда какой-то встрепанный... Что, брат, не любишь? — обратился отец к Воробью и весело засмеялся. — Ну, вперед наука: не забирайся куда не следует. Не для тебя скворечник строили.

Даже куры и те смеялись теперь над несчастным старым Воробьем. Вот до чего дожил старик... Он даже заплакал с горя, а потом пришел в себя и ободрился.

— Над чем вы смеетесь? — гордо спросил он всех. — Ну, над чем?.. Сделал ошибку, это правда, а все-таки я умнее вас... А главное то: я вольная птица. Да... И живу, чем бог послал, а кланяться в люди не пойду. Куда бы вы все делись, если бы хозяин вас не кормил и не поил? И ты, Волчок, издох бы с голода, и ты, глупая птица Петух, — тоже, и лошадь, и корова; а я сам прокормлю свою голову. Да... Вот я ка-

кой!.. И теперь поправлю свою беду, дайте срок... А те зернышки, которые я собираю иногда на дворе около вас, тоже заработаны мною. Кто ловит мошек? Кто выкапывает червячков, ищет гусениц, всяких козявок? Да все я же, я...

— Знаем мы, как ты червячков ищешь, — заметил Петух, подмигнув скворцам. — Вот в огородах гряды вскопают, насадят гороху и бобов, — воробьи и налетят. Все разроют, а горох и бобы съедят. Воровством живешь, Воробушко, признайся.

— Воровством? Я?.. — возмутился старый Воробей. — Да я — первый друг человека... Мы всегда вместе, как и следует друзьям: где он, — там и я. Да... И притом я — совершенно бескорыстный друг... Разве наш хозяин когда-нибудь бросил мне горсточку овса?.. Да мне и не нужно... Конечно, обидно, когда прилетят какие-то вертопрахи и им начинают оказывать всякий почет. Это, наконец, просто несправедливо... А вы даже этого не понимаете, потому что один — целую жизнь в оглоблях, другой — на цепи, третий в курятнике сидит... Я — вольная птица и живу здесь по

собственному желанию.

Много говорил старый Воробей, возмущенный коварством своего друга — человека. А потом вдруг исчез... Нет старого Воробья день, нет два, нет три дня.

— Он, вероятно, издох с горя, — решил Петух. — Самая вздорная птица, если разобрать.

Прошла целая неделя. Однажды утром старый Воробей опять появился на крыше — такой веселый и довольный.

— Это я, братцы, — прочиликал он, принимая гордый вид. — Как поживаете?

— А, ты еще жив, старичок?

— Слава богу... Теперь на новой квартире поселился. Отличная квартира... Эту уж для меня хозяин устроил.

— Может быть, опять врешь?..

— Ага, хотите, чтобы я указал ее вам? Нет, шалишь, теперь уж меня не проведешь... Пока прощайте!..

Старый Воробей не врал. Он действительно устроился. На гряде в огороде стояло старое чучело. На палке болтались какие-то лохмотья, а сверху надета была старая большая шляпа, — в ней старый Воробей и устроил се-

бе гнездо. Здесь уж никто его не тронет, потому что не догадается никто, да и побоятся страшного чучела. Но эта затея кончилась очень печально. Воробьиха высидела маленьких птенчиков в шляпе, а тут дунул вихрь и унес шляпу вместе с воробьиным гнездом. Старый Воробей улетал в это время по своим делам, а когда вернулся домой, то нашел только мертвых птенчиков и убивавшуюся с горя Воробьиху. Впрочем, она недолго пережила своих деток. Перестала есть, худела и, нахохлившись, неподвижно сидела где-нибудь на ветке целые дни. Так она и умерла с горя... Ах, как тосковал по ней старый Воробей, как убивался и плакал...

Наступила поздняя осень. Все перелетные птицы уже отправились на теплый юг. Старый Воробей один поселился в пустом скворечнике. Он скверно себя чувствовал и почти совсем не чиликал. Когда выпал первый снег и маленький Сережка выбежал на двор с саночками, то первое, что он увидел на ослепительно белом снегу, был маленький трупик старого Воробья. Бедняга замерз.

— А ведь жаль его, — бормотал Петух глу-

бокомысленно. — Как будто и недостает чего-то... Бывало, все чиликает, везде вертится, ко всем лезет! Даже скучно стало на дворе без старого Воробья.

Богач и Еремка

I

— Еремка, сегодня будет пожива... — сказал старый Богач, прислушиваясь к завывавшему в трубе ветру. — Вон какая погода разыгралась.

Еремкой звали собаку, потому что она когда-то жила у охотника Еремы. Какой она была породы, — трудно сказать, хотя на обыкновенную деревенскую дворняжку и не походила. Высока на ногах, лобаста, морда острая, с большими глазами. Покойный Ерема не любил ее за то, что у нее одно ухо «торчало пнем», а другое висело, и потом за то, что хвост у нее был какой-то совсем необыкновенный — длинный, пушистый и болтавшийся между ног, как у волка. К Богачу она попала еще щенком и потом оказалась необыкновенно умной.

— Ну, твое счастье, — посмеивался Еремка. — И шерсть у нее хороша, точно вот сейчас из лужи вылезла. Тоже и пес уродился...

Уж, видно, нам на роду написано вместе жить. Два сапога — пара.

Охотник Ерема до известной степени был прав. Действительно, существовало какое-то неуловимое сходство между Богачом и Еремкой. Богач был высокого роста, сутуловат, с большой головой и длинными руками и весь какой-то серый. Он всю жизнь прожил бобылем. В молодости был деревенским пастухом, а потом сделался сторожем. Последнее занятие ему нравилось больше всего. Летом и зимой он караулил сады и огороды. Чего же лучше: своя избушка, где всегда тепло; сыт, одет, и еще кое-какая прибыль навертывалась. Богач умел починять ведра, ушаты, кадочки, мастерил бабам коромысла, плел корзины и лапти, вырезывал из дерева ребятам игрушки. Одним словом, человек без работы не оставался и лучшего ничего не желал. Богачом его почему-то назвали еще с детства, и эта кличка осталась на всю жизнь.

Снежная буря разыгрывалась. Несколько дней уже стояли морозцы, а вчера оттеплело и начал падать мягкий снежок, который у охотников называется «порошей». Начинав-

шую промерзать землю порошило молодым снежком. Поднявшийся к ночи ветер начал заметать канавы, ямы, ложбинки.

— Ну, Еремка, будет нам сегодня с тобой пожива… — повторил Богач, поглядывая в маленькое оконце своей сторожки.

Собака лежала на полу, положив голову между передних лап, и в ответ слегка вильнула хвостом. Она понимала каждое слово своего хозяина и не говорила только потому, что не умела говорить.

Было уже часов девять вечера. Ветер то стихал, то поднимался с новой силой. Богач не торопясь начал одеваться. В такую погоду неприятно выходить из теплой сторожки; но ничего не поделаешь, если уж такая служба. Богач считал себя чем-то вроде чиновника над всеми зверями, птицами и насекомыми, нападавшими на сады и огороды. Он воевал с капустным червем, с разными гусеницами, портившими фруктовые деревья, с воробьями, галками, скворцами, дроздами-рябинниками, с полевыми мышами, кротами и зайцами. И земля и воздух были наполнены врагами, хотя большинство на зиму умирало или

засыпало по своим норам и логовищам. Оставался только один враг, с которым приходилось Богачу воевать главным образом именно зимой. Это были зайцы…

— Как поглядеть — так один страх в ём, в зайце, — рассуждал Богач, продолжая одеваться. — А самый вредный зверь… Так, Еремка? И хитрый-прехитрый… А погодка-то как разгулялась: так и метет. Это ему, косому, самое первое удовольствие…

Нахлобучив шапку из заячьего меха, Богач взял длинную палку и сунул за голенище валенок на всякий случай нож. Еремка сильно потягивался и зевал. Ему тоже не хотелось идти из теплой избушки на холод.

Сторожка Богача стояла в углу громадного фруктового сада. Сейчас за садом начинался крутой спуск к реке, а за рекой синел небольшой лесок, где, главным образом, гнездились зайцы. Зимой зайцам нечего было есть, и они перебегали через реку к селению. Самым любимым местом для них были гумна, окруженные хлебными кладями. Здесь они кормились, подбирая упавшие со стогов колосья, а иногда забирались в самые клади, где для них

было уж настоящее раздолье, хотя и не без опасности. Но всего больше нравилось зайцам полакомиться в фруктовых садах молодыми саженцами и побегами яблонь, слив и вишен. Ведь у них такая нежная и вкусная кора, не то что на осине или других деревьях. В один удачный набег зайцы портили иногда целый сад, несмотря на все предосторожности. Только один Богач умел с ними справляться, потому что отлично знал все их повадки и хитрости. Много помогал старику Еремка, издали чуявший врага. Кажется, уж на что тихо крадется заяц по мягкому снегу в своих валенках, а Еремка лежит у себя в избушке и слышит. Вдвоем Богач и Еремка много ловили каждую зиму зайцев. Старик устраивал на них западни, капканы и разные хитрые петли, а Еремка брал прямо зубом.

Выйдя из избушки, Богач только покачал головой. Очень уж разыгралась погода и засыпала снегом все его ловушки.

— Видно, придется тебе, Еремка, идти под гору, — говорил Богач смотревшей на него собаке. — Да, под гору... А я на тебя погоню зайцев. Понял? То-то... Я вот обойду по загуме-

ньям да и шугну их на тебя.

Еремка в ответ только слабо взвизгнул. Ловить зайцев под горой было для него самым большим удовольствием. Дело происходило так. Зайцы, чтобы попасть на гумна, пробегали из-за реки и поднимались на гору. Обратный путь для них уже шел под гору. А известно, что заяц лихо бежит в гору, а под гору, в случае опасности, скатывается кубарем. Еремка прятался под горой и ловил зайца именно в то время, когда заяц ничего не видел.

— Любишь зайчика-кубаря поймать? — дразнил собаку Богач. — Ну, ступай...

Еремка повилял хвостом и медленно пошел к селению, чтобы оттуда уже спуститься под гору. Умная собака не хотела пересекать заячью тропу. Зайцы отлично понимали, что значат следы собачьих лап на их дороге.

— Экая погодка-то, подумаешь! — ворчал Богач, шагая по снегу в противоположную сторону, чтобы обойти гумна.

Ветер так и гулял, разметая кругом облака крутившегося снега. Даже дыхание захватывало. По пути Богач осмотрел несколько занесенных снегом ловушек и настороженных пе-

тель. Снег засыпал все его хитрости.

— Ишь ты, какая причина вышла, — ворчал старик, с трудом вытаскивая из снега ноги. — В такую непогодь и зайцы по своим логовищам лежат... Только вот голод-то не тетка: день полежит, другой полежит, а на третий и пойдет промышлять себе пропитание. Он хоть и заяц, а брюхо-то — не зеркало...

Богач прошел половину дороги и страшно устал. Даже в испарину бросило. Ежели бы не Еремка, который будет ждать его под горой, старик вернулся бы в свою избушку. Ну их, зайцев, никуда не денутся. Можно и в другой раз охоту устроить. Вот только перед Еремкой совестно: обмани его один раз, а в другой он и сам не пойдет. Пес умный и прегордый, хоть и пес. Как-то Богач побил его совсем напрасно, так тот потом едва помирился. Подожмет свой волчий хвост, глазами моргает и как будто ничего не понимает, что ему русским языком говорят... Хоть прощения у него проси, — вот какой прегордый пес. А теперь он уже залег под горкой и ждет зайцев.

Обойдя гумна, Богач начал «гон» зайцев. Он подходил к гумну и стучал палкой по стол-

бам, хлопал в ладоши и как-то особенно фыркал, точно загнанная лошадь. В первых двух гумнах никого не было, а из третьего быстро мелькнули две заячьих тени.

— Ага, косая команда, не любишь!.. — торжествовал старик, продолжая свой обход.

И удивительное дело, — каждый раз одно и то же: уж, кажется, сколько зайцев придавил он с Еремкой, а все та же заячья ухватка. Точно и зайцы-то одни и те же. Ну, побеги он, заяц, в поле, — и конец. Ищи его, как ветра в поле. Ан нет, он норовит непременно к себе домой, за реку, а там, под горой, его уж ждут Еремкины зубы...

Богач обошел гумна и начал спускаться с горы к реке. Его удивило, что Еремка всегда выбегал к нему навстречу, а теперь стоял как-то виновато на одном месте и, очевидно, поджидал его.

— Еремка, да что ты делаешь?

Собака слабо взвизгнула. Перед ней на снегу лежал на спине молоденький зайчик и бессильно болтал лапками.

— Бери его!.. Кусь!.. — закричал Богач.

Еремка не двигался. Подбежав близко, Бо-

гач понял, в чем дело: молоденький зайчонок лежал с перешибленной передней лапкой. Богач остановился, снял шапку и проговорил:

— Вот так штука, Еремка!..

II

— Ну, и оказия!.. — удивлялся Богач, нагибаясь, чтобы получше рассмотреть беззащитного зайчишку. — Эк тебя угоразди-ло, братец ты мой!.. а? И совсем еще моло-денький!..

Заяц лежал на спинке и, по-видимому, оставил всякую мысль о спасении. Богач ощупал перешибленную ногу и покачал головой.

— Вот оказия-то... Еремка, что мы с ним будем делать-то? Прирезать, што ли, чтобы понапрасну не маялся...

Но и прирезать было как-то жаль. Уж если Еремка не взял зубом калеку, посовестился, так ему, Богачу, и подавно совестно беззащитную тварь убивать. Другое дело, если бы он в ловушку попал, а то больной зайчишка, — и только.

Еремка смотрел на хозяина и вопроситель-но взвизгивал. Дескать, надо что-нибудь де-

лать...

— Эге, мы вот что с ним сделаем, Еремка: возьмем его к себе в избушку... Куда он, хромой-то, денется? Первый волк его съест...

Богач взял зайца на руки и пошел в гору, Еремка шел за ним, опустив хвост.

— Вот тебе и добыча... — ворчал старик. — Откроем с Еремкой заячий лазарет... Ах ты, оказия!..

Когда пришли в избу, Богач положил зайца на лавку и сделал перевязку сломанной лапки. Он, когда был пастухом, научился делать такие перевязки ягнятам. Еремка внимательно следил за работой хозяина, несколько раз подходил к зайцу, обнюхивал его и отходил.

— А ты его не пугай... — объяснял ему Богач. — Вот привыкнет, тогда и обнюхивай...

Больной зайчик лежал неподвижно, точно человек, который приготовился к смерти. Он был такой беленький и чистенький, только кончики ушей точно были выкрашены черной краской.

— А ведь надо его покормить, беднягу... — думал вслух Богач.

Но заяц упорно отказывался есть и пить.

— Это он со страху, — объяснял Богач. — Ужо завтра добуду ему свежей морковки да молочка.

В углу под лавкой Богач устроил зайцу из разного тряпья мягкое и теплое гнездо и перенес его туда.

— Ты у меня, Еремка, смотри, не пугай его... — уговаривал он собаку, грозя пальцем. — Понимаешь: хворый он...

Еремка вместо ответа подошел к зайцу и лизнул его.

— Ну, вот так, Еремка... Значит, не будешь обижать? Так, так... Ведь ты у меня умный пес, только вот сказать не умеешь. С нас будет и здоровых зайцев.

Ночью Богачу плохо спалось. Он все прислушивался, не крадется ли к зайцу Еремка. Хоть и умный пес, а все-таки пес, и полагаться на него нельзя. Как раз сцапает...

«Ах ты, оказия... — думал Богач, ворочаясь с боку на бок. — Уж, кажется, достаточно нагляделся на зайцев... Не одну сотню их переколотил, а вот этого жаль. Совсем ведь глупый еще... несмышленыш...»

И во сне Богач видел загубленных им зайцев. Он даже просыпался и прислушивался к завывавшей буре. Ему казалось, что к избушке сбежались все убитые им зайцы, лопочут, по снегу кувыркаются, стучат в дверь передними лапками... Старик не утерпел, слез с печи и выглянул из избушки. Никого нет, а только ветер гуляет по полю и гудит на все голоса.

— Ах ты, оказия!.. — ворчал старик, забираясь на теплую печку.

Просыпался он, по-стариковски, ранним утром, затоплял печь и приставлял к огню какое-нибудь варево — похлебку, старых щец, кашку-размазню. Сегодня было как всегда. Заяц лежал в своем уголке неподвижно, точно мертвый, и не притронулся к еде, как его Богач ни угощал.

— Ишь ты, какой важный барин, — корил его старик. — А ты вот попробуй кашки гречушной — лапка-то и срастется. Право, глупый... У меня кашу-то и Еремка вот как уплетает, за ушами пищит.

Богач прибрал свою избушку, закусил и пошел в деревню.

— Ты у меня смотри, Еремка, — наказывал он Еремке. — Я-то скоро вернусь, а ты зайца не пугай...

Пока старик ходил, Еремка не тронул зайца, а только съел у него все угощение — корочки черного хлеба, кашу и молоко. В благодарность он лизнул зайца прямо в мордочку и принес в награду из своего угла старую обглоданную кость. Еремка всегда голодал, даже когда ему случалось съесть какого-нибудь зайчонка. Когда Богач вернулся, он только покачал головой: какой хитрый зайчишка: когда угощают, так и не смотрит, а когда ушли, — так все дотла поел.

— Ну и лукавец! — удивлялся старик. — А я тебе гостинца принес, косому плуту...

Он достал из-за пазухи несколько морковок, пару кочерыжек, репку и свеклу. Еремка лежал на своем месте как ни в чем не бывало, но когда он облизнулся, вспомнив съеденное у зайца угощение, Богач понял его коварство и принялся его журить:

— И не стыдно тебе, старому плуту... а?! Что, не едал ты каши? Ах, ненасытная утроба....

Когда старик увидел валявшуюся перед зайцем кость, он не мог удержаться от смеха. Вот так Еремка, тоже сумел угостить... Да не хитрый ли плутище!..

Заяц отдохнул за ночь и перестал бояться. Когда Богач дал ему морковку, он с жадностью ее съел.

— Эге, брат, вот так-то лучше будет!.. Это, видно, не Еремкина голая кость... Будет чваниться-то. Ну-ка, еще репку попробуй.

И репка была съедена с тем же аппетитом.

— Да ты у меня совсем молодец!.. — хвалил старик.

Когда совсем рассветало, в дверь послышался стук, и тоненький детский голосок проговорил:

— Дедушка, отвори... Смерть как замерзла!..

Богач отворил тяжелую дверь и впустил в избушку девочку лет семи. Она была в громадных валенках, в материнской кацавейке и закутана рваным платком.

— Ах, это ты, Ксюша... Здравствуй, птаха.

— Мамка послала тебе молочка... не тебе, а зайцу...

— Спасибо, красавица…

Он взял из покрасневших на морозе детских ручонок небольшую крынку молока и поставил ее бережно на стол.

— Ну, вот мы и с праздником… А ты, Ксюша, погрейся. Замерзла?

— Студено…

— Давай раздевайся. Гостья будешь… Зайчика пришла посмотреть?

— А то как же…

— Неужто не видала!

— Как не видать… Только я-то видела летних зайцев, когда они серые, а этот совсем белый у тебя.

Ксюша разделась. Это была самая обыкновенная деревенская белоголовая девочка, загорелая, с тоненькой шейкой, тоненькой косичкой и тоненькими ручками и ножками. Мать одевала ее по-старинному — в сарафан. Оно и удобно и дешевле. Чтобы согреться, Ксюша попрыгала на одной ноге, грела дыханием окоченевшие ручонки и только потом подошла к зайчику.

— Ах, какой хорошенький зайчик, дедушка… Беленький весь, а только ушки точно

оторочены черным.

— Это уж по зиме все такие зайцы, беляки, бывают...

Девочка села около зайчика и погладила его по спинке.

— А что у него ножка завязана тряпочкой, дедушка?

— Сломана лапка, вот я и завязал ее, чтобы все косточки срослись.

— Дедушка, а ему больно было?

— Известно, больно...

— Дедушка, а заживет лапка?

— Заживет, ежели он будет смирно лежать... Да он и лежит, не ворохнется. Значит, умный!..

— Дедушка, а как его зовут?

— Зайца-то? Ну, заяц и есть заяц, — вот и все название.

— Дедушка, то другие зайцы, которые здоровые в поле бегают, а этот хроменький... Вон у нас кошку Машкой зовут.

Богач задумался и с удивлением посмотрел на Ксюшу. Ведь совсем глупая девчонка, а ведь правду сказала.

— Ишь ты, какая птаха... — думал он

вслух. — И в самом деле, надо как-нибудь назвать, а то зайцев-то много... Ну, Ксюша, так как его мы назовем... а?

— Черное Ушко...

— Верно!.. Ах ты, умница... Значит, ты ему будешь в том роде, как крестная...

Весть о хромом зайце успела облететь всю деревню, и скоро около избушки Богача собралась целая толпа любопытных деревенских ребят.

— Дедушка, покажи зайчика! — просили.

Богач даже рассердился. Всех пустить зараз нельзя — не поместятся в избе, а по одному пускать — выстудят всю избу.

Старик вышел на крылечко и сказал:

— Невозможно мне показывать вам зайца, потому он хворый... Вот поправится, — тогда и приходите, а теперь ступайте домой.

III

Через две недели Черное Ушко совсем выздоровел. Молодые косточки скоро срастаются. Он уже никого не боялся и весело прыгал по всей избе. Особенно ему хотелось вырваться на волю, и он сторожил каждый раз, когда открывалась дверь.

— Нет, брат, мы тебя не пустим, — говорил ему Богач. — Чего тебе на холоде мерзнуть да голодать?.. Живи с нами, а весной — с богом, ступай в поле. Только нам с Еремкой не попадайся...

Еремка, очевидно, думал то же самое. Он ложился у самой двери, и когда Черное Ушко хотел перепрыгнуть через него, скалил свои белые зубы и рычал. Впрочем, заяц его совсем не боялся и даже заигрывал с ним. Богач смеялся до слез над ними. Еремка растянется на полу во весь рост, закроет глаза, будто спит, а Черное Ушко начинает прыгать через него. Увлекшись этой игрой, заяц иногда стукался головой о лавку и начинал по-заячьи плакать, как плачут на охоте смертельно раненные зайцы.

— И точно младенец, — удивлялся Богач. — По-ребячьи и плачет... Эй ты, Черное Ухо, ежели тебе своей головы не жаль, так пожалей хоть лавку. Она не виновата...

Эти увещания плохо действовали, и заяц не унимался. Еремка тоже увлекался игрой и начинал гоняться по избе за зайцем, раскрыв пасть и высунув язык. Но заяц ловко увертывался от него.

— Что, брат Еремка, не можешь его догнать? — подсмеивался над собакой старик. — Где тебе, старому... Только лапы понапрасну отобьешь.

Деревенские ребята частенько прибегали в избушку Богача, чтобы поиграть с зайчиком, и приносили ему что-нибудь из съестного. Кто тащит репку, кто морковку, кто свеклу или картошку. Черное Ушко принимал эти дары с благодарностью и тут же их съедал с жадностью. Ухватит передними лапками морковку, припадет к ней головой и быстро-быстро обгрызет, точно обточит. Он отличался большой прожорливостью, так что даже Богач удивлялся.

— И в которое место он ест такую прорву...

Не велика скотинка, а все бы ел, сколько ему ни дай.

Чаще других бывала Ксюша, которую деревенские ребята прозвали «заячьей крестной». Черное Ушко отлично ее знал, сам бежал к ней и любил спать у нее на коленях. Но он же и отплатил ей самой черной неблагодарностью. Раз, когда Ксюша уходила домой, Черное Ушко с быстротой молнии шмыгнул в дверях около ее ног — и был таков. Девочка горько расплакалась. Еремка сообразил, в чем дело, и бросился в погоню.

— Как же, ищи ветра в поле... — посмеялся над ним Богач. — Он похитрее тебя будет... А ты, Ксюшка, не реви. Пусть его побегает, а потом сам вернется. Куда ему деться?

— Наши деревенские собаки его разорвут, дедушка...

— Так он и побежал тебе в деревню... Он прямо махнул за реку, к своим. Так и так, мол, жив и здоров, имею собственную квартиру и содержание. Побегает, поиграет и назад придет, когда есть захочет. А Еремка-то глупый, бросился его ловить... Ах, глупый пес!..

«Заячья крестная» все-таки ушла домой со

слезами, да и сам старый Богач мало верил тому, что говорил. И собаки по дороге могут разорвать, и у себя дома лучше покажется. А тут еще Еремка вернулся домой, усталый, виноватый, с опущенным хвостом. Старому Богачу сделалось даже жутко, когда наступил вечер. А вдруг Черное Ушко не придет... Еремка лег у самой двери и прислушивался к каждому шороху. Он тоже ждал. Обыкновенно Богач разговаривал с собакой, а тут молчал. Они понимали друг друга без слов.

Наступил вечер. Богач засиделся за работой дольше обыкновенного. Когда он уже хотел ложиться спать на свою печь, Еремка радостно взвизгнул и бросился к двери.

— Ах, косой, вернулся из гостей домой...

Это был действительно он, Черное Ушко. С порога он прямо бросился к своей чашке и принялся пить молочко, потом съел кочерыжку и две морковки.

— Что, брат, в гостях-то плохо тебя угощали? — говорил Богач, улыбаясь. — Ах ты, бесстыдник, бесстыдник. И крестную свою до слез довел.

Еремка все время стоял около зайца и лас-

ково помахивал хвостом. Когда Черное Ушко съел все, что было в чашке, Еремка облизал ему морду и начал искать блох.

— Ах вы, озорники! — смеялся Богач, укладываясь на печи. — Видно, правду пословица говорит: вместе тесно, а врозь скучно...

Ксюша прибежала на другое утро чем свет и долго целовала Черное Ушко.

— Ах ты, бегун скверный... — журила она его. — Вперед не бегай, а то собаки разорвут. Слышишь, глупый? Дедушка, а ведь он все понимает...

— Еще бы не понимать, — согласился Богач, — небойсь вот как знает, где его кормят...

После этого случая за Черным Ушком уже не следили. Пусть его убегает поиграть и побегать по снежку. На то он и заяц, чтобы бегать. Месяца через два Черное Ушко совсем изменился: и вырос, и потолстел, и шерсть на нем начала лосниться. Он вообще доставлял много удовольствия своими шалостями и веселым характером, и Богачу казалось, что и зима нынче как-то скорее прошла.

Одно только было нехорошо. Охота на зайцев давала Богачу порядочный заработок. За

каждого зайца он получал по четвертаку, а это большие деньги для бедного человека. В зиму Богач убивал штук сто. А теперь выходило так, как будто и совестно губить глупых зайцев, совестно перед Черным Ушком. Вечером Богач и Еремка уходили на охоту крадучись и никогда не вносили в избу убитых зайцев, как прежде, а прятали их в сенях. Даже Еремка это понимал, и когда в награду за охоту получал заячьи внутренности, то уносил их куда-нибудь подальше от сторожки и съедал потихоньку.

— Что, брат, совестно? — шутил над ним старик. — Оно, конечно, заяц — тварь вредная, озорная, а все-таки оно того... Может, и в ём своя заячья душонка есть, так, плохонькая совсем душонка.

Зима прошла как-то особенно быстро. Наступил март. По утрам крыши обрастали блестящей бахромой из ледяных сосулек. Показались первые проталинки. Почки на деревьях начали бухнуть и наливаться. Прилетели первые грачи. Все кругом обновлялось и готовилось к наступающему лету, как к празднику. Один Черное Ушко был невесел. Он начал

пропадать из дому все чаще и чаще, похудел, перестал играть, а вернется домой, наестся и целый день спит в своем гнезде под лавкой.

— Это он линяет, ну, вот ему и скучно, — объяснял Богач. — По весне-то зайцев не бьют по этому самому... Мясо у него тощее, шкурка как молью подбита. Одним словом, как есть ничего не стоит...

Действительно, Черное Ушко начал менять свою зимнюю белую шубку на летнюю, серую. Спинка сделалась уже серой, уши, лапки тоже, и только брюшко оставалось белым. Он любил выходить на солнышко и подолгу грелся на завалинке.

Раз прибежала Ксюша проведать своего крестника, но его не было дома уже целых три дня.

— Теперь ему и в лесу хорошо, вот и ушел, пострел, — объяснял Богач пригорюнившейся девочке. — Теперь зайцы почку едят, ну, а на проталинках и зеленую травку ущипнет. Вот ему и любопытно...

— А я ему молочка принесла, дедушка...

— Ну, молочко мы и без него съедим...

Еремка вертелся около Ксюши и лаял на

опустевшее под лавкой заячье гнездо.

— Это он тебе жалуется, — объяснял Богач. — Хотя и пес, а все-таки обидно… Всех нас обидел, пострел.

— Он недобрый, дедушка… — говорила Ксюша со слезами на глазах.

— Зачем недобрый? Просто заяц — и больше ничего. Лето погуляет, пока еда в лесу есть, а к зиме, когда нечего будет есть, и вернется сам… Вот увидишь. Одним словом, заяц…

Черное Ушко пришел еще раз, но к самой сторожке не подошел, а сел пеньком и смотрит издали. Еремка подбежал к нему, лизнул в морду, повизжал, точно приглашая в гости, но Черное Ушко не пошел. Богач поманил его; но он оставался на своем месте и не двигался.

— Ах, пострел! — ворчал старик. — Ишь как сразу зазнался, косой…

IV

Прошла весна. Наступило лето. Черное Ушко не показывался. Богач даже рассердился на него.

— Ведь мог бы как-нибудь забежать на минутку... Кажется, не много дела и время найдется.

Ксюша тоже сердилась. Ей было обидно, что она целую зиму так любила такого нехорошего зайца... Еремка молчал, но тоже был недоволен поведением недавнего приятеля.

Прошло и лето. Наступила осень. Начались заморозки. Перепадал первый мягкий, как пух, снежок. Черное Ушко не показывался.

— Придет, косой... — утешал Богач Еремку. — Вот погоди: как занесет все снегом, нечего будет есть, ну, и придет. Верно тебе говорю...

Но выпал и первый снег, а Черное Ушко не показывался. Богачу сделалось даже скучно. Что же это в самом деле: уж нынче и зайцу нельзя поверить, не то что людям...

Однажды утром Богач что-то мастерил около своей избушки, как вдруг послышался да-

лекий шум, а потом выстрелы. Еремка насторожился и жалобно взвизгнул.

— Батюшки, да ведь это охотники поехали стрелять зайцев! — проговорил Богач, прислушиваясь к выстрелам, доносившимся с того берега реки. — Так и есть... Ишь как запаливают... Ох, убьют они Черное Ушко! Непременно убьют...

Старик, как был, без шапки побежал к реке. Еремка летел впереди.

— Ох, убьют! — повторял старик, задыхаясь на ходу. — Опять стреляют...

С горы было все видно. Около лесной заросли, где водились зайцы, стояли на известном расстоянии охотники, а из лесу на них гнали дичь загонщики. Вот затрещали деревянные трещотки, поднялся страшный гам и крик, и показались из заросли перепуганные, оторопелые зайцы. Захлопали ружейные выстрелы, и Богач закричал не своим голосом:

— Батюшки, погодите!! Убьете моего зайца... Ой, батюшки!!

До охотников было далеко, и они ничего не могли слышать, но Богач продолжал кричать и махал руками. Когда он подбежал, за-

гон уже кончился. Было убито около десятка зайцев.

— Батюшки, что вы делаете? — кричал Богач, подбегая к охотникам.

— Как, что? Видишь, зайцев стреляем.

— Да ведь в лесу-то мой собственный заяц живет...

— Какой твой?

— Да так... Мой заяц — и больше ничего. Левая передняя лапка перешиблена... Черное Ушко...

Охотники засмеялись над сумасшедшим стариком, который умолял их не стрелять со слезами на глазах.

— Да нам твоего зайца совсем не надо, — пошутил кто-то. — Мы стреляем только своих...

— Ах, барин, барин, нехорошо... Даже вот как нехорошо...

Богач осмотрел всех убитых зайцев, но среди них Черного Ушка не было. Все были с целыми лапками.

Охотники посмеялись над стариком и пошли дальше по лесной опушке, чтобы начать следующий загон. Посмеялись над Богачом и

загонщики, ребята-подростки, набранные из деревни, посмеялся и егерь Терентий, тоже знакомый мужик.

— Помутился немножко разумом наш Богач, — пошутил еще Терентий. — Этак каждый начнет разыскивать по лесу своего зайца...

Для Богача наступало время охоты на зайцев, но он все откладывал. А вдруг в ловушку попадет Черное Ушко? Пробовал он выходить по вечерам на гумна, где кормились зайцы, и ему казалось, что каждый пробегавший мимо заяц — Черное Ушко.

— Да ведь Еремка-то по запаху узнает его, на то он пес... — решил он. — Надо попробовать...

Сказано — сделано. Раз, когда поднялась непогода, Богач отправился с Еремкой на охоту. Собака пошла под гору как-то неохотно и несколько раз оглядывалась на хозяина.

— Ступай, ступай, нечего лениться... — ворчал Богач.

Он обошел гумна и погнал зайцев. Выскочило зараз штук десять.

«Ну, будет Еремке пожива...» — думал ста-

рик.

Но его удивил собачий вой. Это выл Еремка, сидя под горой на своем месте. Сначала Богач подумал, что собака взбесилась, и только потом понял, в чем дело: Еремка не мог различить зайцев... Каждый заяц ему казался Черным Ушком. Сначала старик рассердился на глупого пса, а потом проговорил:

— А ведь правильно, Еремка, даром что глупый пес... Верно, шабаш нам зайцев душить. Будет...

Богач пошел к хозяину фруктового сада и отказался от своей службы.

— Не могу больше... — коротко объяснил он.

ПРИМЕЧАНИЯ[46]

Весь детский цикл произведений Мамина-Сибиряка, в том числе «Аленушкины сказки», многими критиками конца XIX и начала XX века обычно связывался с рождением дочери писателя (март 1892 г.). На самом деле Мамин-Сибиряк обратился к жанру детской литературы задолго до появления дочери.

Так, 4 ноября 1881 года молодой Мамин сообщал матери: «На днях кончил небольшую статейку «Покорение Сибири», которая будет печататься в «Иллюстрированном журнале для детей» с января. Там же приняты два моих маленьких рассказа «Мосье Бульон» и «Нет худа без добра» (Гос. библ. СССР им. В. И. Ленина).

23 января 1882 года Мамин-Сибиряк пишет матери: «Теперь работаю для детских журналов...»

31 октября 1882 года Мамин послал очерк «Наши инородцы» в журнал «Детский отдых».

«Емеля-охотник», один из лучших классических детских рассказов, написан в 1884 году. Рассказ «Свисток» переделанный позже

автором в рассказ для детей под названием «Кормилец», написан в 1885 году. В том же году создан рассказ «Зимовье на Студеной» и послан Маминым на соискание премии С.-Петербургского Фребелевского педагогического общества. (Рассказ опубликован лишь в январе 1892 года, то есть за два с лишним месяца до рождения дочери писателя.)

В конце 80-х и в начале 90-х годов Мамин-Сибиряк уже систематически печатался в журналах «Детское чтение», «Всходы», «Детский отдых», «Родник», «Мир божий», позднее в «Юной России», «Современном мире» и других прогрессивных журналах. Во главе этих органов стояли передовые люди своего времени, педагоги, писатели, общественные деятели. Каждый из них был рад привлечь к сотрудничеству в свой журнал молодого талантливого уральского писателя. Так, известно, что во время второго приезда Мамина-Сибиряка в Петербург, в начале 90-х годов, редактор журнала «Мир божий» В. П. Острогорский предложил ему постоянное сотрудничество в своем журнале. Мамин-Сибиряк согласился, передал Острогорскому свой рассказ

«Зимовье на Студеной» и с тех пор много лет подряд печатал в «Мире божьем» свои произведения для детей.

Для понимания той среды, в которой формировался будущий детский писатель, достаточно сослаться на его «Автобиографическую записку». Вспоминая о своих детских годах, Мамин писал: «Для себя большие читали «Современник» и Добролюбова, и Д. Н. еще детским ухом прислушивался в далеком, медвежьем углу к отзвукам и отголоскам великого движения конца 50-х и начала 60-х годов. Вообще вся обстановка жизни скромной поповской семьи носила не совсем заурядный характер и дала уму и характеру Д. Н. ту закалку, которая дается только у своего очага любящими руками». Это была атмосфера труда, поисков благородных идеалов, интеллектуальных интересов.

Большое влияние на педагогические воззрения Мамина-Сибиряка оказал выдающийся русский педагог К. Д. Ушинский, передовые взгляды которого были близки Мамину.

Свои произведения для детей Мамин создавал легко и быстро, утверждают современ-

ники писателя. Так, Д. И. Тихомиров, редактор «Детского чтения», журнала, о котором, по словам Н. К. Крупской, очень тепло отзывался В. И Ленин, в своих воспоминаниях писал: «Детские рассказы выливались у Мамина — сразу, писались легко, прямо «набело» и без всякой помарки» (Д. И. Тихомиров «Из жизни Д. Н. Мамина-Сибиряка». Сб. «Воспоминания о Д. Н. Мамине-Сибиряке» составила З. А. Ерошкина, Свердлгиз, 1936, стр. 162).

Все произведения, написанные Маминым для детей, отличаются глубоким идейным и социальным содержанием, тонко и умно обличает в них писатель капиталистический строй. Его детские рассказы и сказки прославляют труд, они глубоко гуманны, они протестуют против всех форм угнетения человека, вызывают сочувствие к униженным и обездоленным.

Получив для печати новый рассказ Мамина, «Кара-Ханым», проникнутый любовью к малым народностям и действенным желанием помочь им, Д. И. Тихомиров 12 марта 1896 года восторженно писал Мамину: «...Убил ты нас всех, до слез тронул, без преувеличения...

И Нилыч был поражен и восхищен от души, и не скрывал этого, и велел тебе написать горячий привет. Дорогой мой, — ты взял новую ноту, новую тему, — ты другим указываешь пути. Твой глубоко содержательный рассказ покажет всем, что с детьми при уме и таланте можно говорить и с великим успехом, — и о серьезных материях. Давно этого ждет детская литература! И кому же и начать было, как не тебе! Приветствую от всей души! Пиши, пиши! пиши!» (Письмо не опубликовано. Хранится в Гос. библ. СССР им. В. И. Ленина).

Мамин-Сибиряк придавал огромное значение детской книге: «Для меня до сих пор каждая детская книжка является чем-то живым, потому что она пробуждает детскую душу, направляет детские мысли по определенному руслу и заставляет биться детское сердце вместе с миллионами других детских сердец. Детская книга — это весенний солнечный луч, который заставляет пробуждаться дремлющие силы детской души и вызывает рост брошенных в эту благодарную почву семян» («Из далекого прошлого», рассказ «Книжка с картинками»).

Будучи уже известным писателем, автором многих романов и повестей, Мамин-Сибиряк в 1894 году писал А. А. Давыдовой, издательнице журнала «Мир божий»: «Если бы я был богат, то посвятил бы себя именно детской литературе. Ведь это счастье писать для детей и чувствовать напряженное внимание тысяч детских головок, которые будут ловить каждое слово и дарить автора своими чистыми детскими улыбками...» (Текст, письма приводится по статье Вл. Кранихфельда, опубликованной в ж. «Современный мир» № 11, 1912 г., взятой, по его словам, из архива М. К. Иорданской.)

Рассказы Мамина для детей с интересом читаются взрослыми и выдержали «испытание временем». Из года в год переиздаются детские рассказы и по настоящий день.

Рассказы для детей переводились на иностранные языки, издавались в Париже, Польше, Болгарии, Чехословакии. Вот что писала, например, на ломаном русском языке в 1906 году переводчица маминских сказок чешский педагог А. А. Теска: «Я хотела бы прислать Вам всю радость и восторг, которые Вы возбудили

своей книгой у наших чешских детей; я читала ее в классе народной школы и очень жалею, что Вы не могли увидеть в это время пылающие глазки всех, которые слушали, притаив дыхание, и что не слышали всеобщий длинный вздох после чтения, провожаемый восклицанием: «Как хорошо!» Но не одним детям Вы радость доставили своим произведением: все мы, большие, жалче детей: всю душу занесла пыль забот да разочарований жизнью и всего, что в ней так гадко, — и вот от Ваших рассказов пахнуло таким свежим воздухом, что хоть на времечко короткое, а все же пыль разлетелась и яркие краски на душе заиграли. Спасибо Вам тысячу раз!..» (Рукописный отдел Гос. библ. СССР им. В. И. Ленина.)

Мамин-Сибиряк не был педагогом ни по образованию, ни по профессии, но все его произведения, написанные для детей, педагогичны в подлинном смысле слова. Без всякой нарочитой тенденции он воспитывает в детях благородные чувства, жажду знаний, любовь к родному краю, природе, животным.

5 сентября 1891 года он пишет матери:

«...Избалованные дети — несчастье на всю жизнь и для себя, и для родителей, и для общества. Нужно воспитывать рядового солдата, а остальное пусть сам получает...» (Гос. библ. СССР им. В. И. Ленина).

К этому вопросу писатель вновь вернулся в 1894 году, когда писал матери: «Мы раз разговорились с Чеховым на эту тему. У него нет ни жены, ни детей, и разговор имел чисто теоретическое значение. Чехов заявил категорически, что, если бы у него были дети, он не оставил бы им буквально ни гроша, потому что не желает их губить. Это глубоко верно, а я прибавлю к этому, что нужно оставить детям столько, сколько необходимо для скромного существования, и не больше того» (письмо от 3 марта 1894 г.). Характерно, что Мамин имеет в виду сынков богачей, «придавленных родительскими капиталами». Это была уже определенная система взглядов, принципиальная точка зрения на вопросы воспитания молодого поколения, и Мамин был ее последовательным проводником и защитником.

Именно для воспитания в детях чувства любви к родине писатель задумал цикл исто-

рических познавательных произведений, над которыми работал несколько лет. В письме от 13 августа 1895 года Мамин сообщал матери: «Хочу написать русскую историю для детей в форме путешествия. Сначала напишу новгородскую историю, потом киевский период, потом татарщину, собирание Москвы и закончу Петром. Работа большая, займет несколько лет...».

Из переписки писателя, в частности с Д. И. Тихомировым, видно, что в августе 1901 года Мамин специально ездил «по Великому пути», по Ладожскому озеру, на Волхов, чтобы накопить фактический материал, воскресить историческую обстановку. «Это мне необходимо для истории, для детей», — писал Мамин.

К этому труду Мамин готовился много лет, но осуществить его полностью ему не удалось. Лишь с 1904 года стали появляться первые его исторические очерки: «Сударь Пантелей — Свет Иванович», «Славен город Великий Новгород» и др.

Велико было чувство ответственности писателя перед многомиллионной аудиторией

детворы и юношества, для которой он творил. Считая своих юных читателей «самой строгой публикой», Мамин тщательно обрабатывал свои детские произведения, внося в каждое новое издание поправки и изменения.

«В посту выйдет первый том моих детских рассказов, — писал он матери 12 февраля 1895 года. — Как мне кажется, эти маленькие безделки доставят мне больше популярности, чем все написанное раньше для большой публики».

Мамину-Сибиряку не очень «повезло» с критикой его творчества для взрослых, зато он был единодушно признан как дореволюционной, так и советской печатью непревзойденным мастером детского рассказа и сказки, добрым и умным другом детей, мастером тонкого психологического портрета, характеристики.

ЕМЕЛЯ-ОХОТНИК

Рассказ

Первоначальное название рассказа — «Бегун». Впервые опубликован в 1884 году в серии «Рассказы для детей младшего возраста», изд. Фребелевского педагогического обще-

ства, СПб. Рассказ был награжден премией этого общества. Выходил много раз отдельными изданиями и в сборниках детских рассказов.

Критика единодушно отмечала гуманизм рассказа и прелесть образа Емели.

Печатается по тексту: Д. Н. Мамин-Сибиряк, сб. «Рассказы и сказки», т. 1, 1910, изд. журнала «Юная Россия», серия «Библиотека для семьи и школы». В этом издании был снят подзаголовок «Повесть для детей».

ЗИМОВЬЕ НА СТУДЕНОЙ

Рассказ

Впервые напечатан в журнале «Мир божий», 1892, № 1. 20 апреля того же года Мамин сообщал матери, что рассказ удостоен золотой медали С.-Петербургского комитета грамотности.

В «Зимовье на Студеной» опоэтизирован труд одинокого рыбака-охотника, обманутого купцами и заброшенного на далекое, оторванное от людей зимовье. Проникновенно рассказывает писатель о действенной любви русского человека к родной природе, к домашним животным, птицам.

Уральский журналист В. П. Чекин писал: «Зимовье на Студеной» — одно из тех немногих, искренне, лучшим «соком» авторских «нервов» написанных произведений нашей небогатой художественно-бытовой литературы, которые, раз прочитанные, никогда потом не забываются. От этого рассказа веет трогательно-претворенной правдой... Огни светлого, гуманного, истинно человеческого вспыхивают во всех этих рассказах под грубой, неприглядной внешней оболочкой большинства героев Мамина» (сб. «Урал», Екатеринбург, 1913, стр. 35 — 36).

С 1892 года рассказ перепечатывался много раз. Печатается по тексту: сб. «Зарницы», 1909, издание журнала «Юная Россия», серия «Библиотека для семьи и школы».

Стр. 52. ***Самоеды*** — старое русское название ненцев и других народностей Севера. Это слово происходит от «самэ-еднэ» (земля саамов).

Вогулы — ныне манси — народность, проживающая в Тюменской и отчасти Свердловской областях.

ПОСТОЙКО

Рассказ

Впервые напечатан в журнале «Детское чтение», 1893, № 3, затем выходил неоднократно. Печатается по тексту: Д. Н. Мамин-Сибиряк, сб. «Рассказы и сказки», т. 1, 1910, издание журнала «Юная Россия».

ПРИЕМЫШ

Из рассказов старого охотника

Впервые опубликован в журнале «Детское чтение», 1893, № 11. При жизни автора рассказ печатался много раз. Печатается по тексту: Д. Н. Мамин-Сибиряк, сб. «Рассказы и сказки», т. 1, 1910, издание журнала «Юная Россия».

СЕРАЯ ШЕЙКА

Рассказ

Впервые опубликован под названием «Серушка» в журнале «Детское чтение», 1893, № 12. Затем выходил много раз. Между текстами имелись расхождения: в журнальной публикации «Серая Шейка» именовалась «Серушкой». В последующих изданиях она всюду называется «Серой Шейкой». Подготавливая к печати отдельное издание рассказа, Мамин изменил название рассказа, изменил его кон-

цовку, сочтя ее слишком мрачной для детей, и ввел для этого новую главу, в которой рассказывается о спасении Серой Шейки.

Печатается по тексту: Д. Н. Мамин-Сибиряк, сб. «Рассказы и сказки», т. 1, 1910, издание журнала «Юная Россия».

АК-БОЗАТ

Рассказ

Впервые напечатан в журнале «Детское чтение», 1895, №№ 1 и 2.

Еще в ноябре 1894 года Д. И. Тихомиров, редактор журнала «Детское чтение», восторженно писал о «чистом сердце» Мамина, о «чистых сценах любви» в рассказе «Ак-Бозат». Из переписки с ним Мамина видно, как оба они были заинтересованы в том, чтобы сделать рассказ более доходчивым, ярче его проиллюстрировать.

Отдавая себе отчет в социальной заостренности рассказа, Тихомиров, готовя отдельное издание рассказа (1907 г.), советуется с Маминым: «Публикации теперь давать не стоит — время глухое». Видимо, тоже опасаясь вмешательства цензуры, Мамин-Сибиряк внес существенные поправки в текст рассказа при оче-

редной публикации его. Так, он исключил фразу: «У богатых людей жадность растет вместе с богатством и готова проглотить собственную тень»; изменил характеристику кулака Цацгая. В прежней редакции было: «Цацгай был скуп *как все богатые люди* (курсив мой — А. Н.) и как все богатые люди давал своим пастухам столько, сколько было нужно, чтобы не умереть с голоду». В новой редакции было снято обобщение и осталось: «Цацгай был скуп и давал своим пастухам столько, сколько было нужно, чтобы не умереть с голоду».

Рассказ был встречен положительными отзывами критики.

При жизни писателя рассказ переиздавался много раз. Печатается по тексту: Д. Н. Мамин-Сибиряк «Ак-Бозат», 1910.

В ГЛУШИ

Рассказ

Впервые опубликован в журнале «Детский отдых», 1896, № 11 Рассказ иллюстрировался А. М. Васнецовым. Переиздавался много раз.

Рассказ был тепло отмечен печатью. В журнале «Мир божий» (№ 4, 1898) была опуб-

ликована рецензия, метко характеризующая особенности рассказа. «Господин Мамин, — писалось там, — изображает неподражаемо своих уральских героев, оставаясь всегда объективным, ни мало не стараясь их приукрасить или превознести, что, по нашему мнению, составляет одну из самых ценных сторон его выдающегося художественного таланта. Благодаря именно этой особенности его рассказы производят впечатление необыкновенной свежести и цельности, чего-то здорового и живительного, как природа Урала, которую он умеет изображать, как никто».

Печатается по тексту: Д. Н. Мамин-Сибиряк, «В глуши», издание журнала «Юная Россия», серия «Дешевая библиотека для семьи и школы», 1909.

Стр. 99. ***Ясачить*** — облагать податями. Здесь — добыча охотника.

ВЕРТЕЛ

Рассказ

Впервые напечатан в журнале «Всходы» (иллюстрированный журнал для детей школьного возраста, 1897, № 19). Затем печатался много раз в сборниках и отдельными

изданиями.

Печатается по тексту: Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Рассказы и очерки», сборник «По Уралу», 1900, серия «Библиотека детского чтения».

СТАРЫЙ ВОРОБЕЙ

Рассказ

Впервые напечатан в журнале «Детское чтение», № 4, 1894; отдельной книжкой вышел в 1899 году («Издатель», СПб), затем выходил много раз при жизни автора как в сборниках, так и отдельными изданиями.

Написан рассказ, видимо, в 1892 году. В рукописном отделе Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина хранится рукопись рассказа, на которой имеется собственноручная надпись Дмитрия Наркисовича: «15 марта Маруся (М. М. Абрамова, жена писателя, умершая 22 марта того же года.) переписывала этот рассказ».

Печатается по тексту: Д. Н. Мамин-Сибиряк, «Рассказы и сказки», т. 1, 1910, издание журнала «Юная Россия». В тексте устранены погрешности по рукописи 1892 года.

БОГАЧ И ЕРЕМКА

Рассказ

Впервые опубликован в журнале «Детское чтение», 1904, №№ 4 и 5. Затем рассказ вышел в 1912 году в серии «Дешевая библиотека для семьи и школы», издание журнала «Юная Россия».

Печатается по тексту издания 1904 года.

Примечания

1

Бий — богач, господин. *(Примеч. Д.Н. Мамина-Сибиряка.)*

[^^^]

2

«Бедность — моя гордость». *(Примеч. Д.Н. Мамина-Сибиряка.)*

[^^^]

3

Ак-Бозат — звезда. *(Примеч. Д.Н. Мамина-Сибиряка.)*

[^^^]

4

Калым — выкуп. *(Примеч. Д.Н. Мамина-Сибиряка.)*

[^^^]

Байгуш — бедняк, нищий. *(Примеч. Д.Н. Мамина-Сибиряка.)*

[^^^]

6

Байга — скачки. *(Примеч. Д.Н. Мамина-Сибиряка.)*

[^^^]

7

Тракт — большая проезжая дорога.

[^^^]

8

Веси — места.

[^^^]

9

Разгон — почтовая станция для смены лошадей.

[^^^]

10

Елани — широкие поляны в лесу. (Примеч. автора.).

[^^^]

11

На Урале вместо «бабушка» говорят «баушка», вместо «девушка» — «деушка». (Примеч. автора.).

[^^^]

12

Курень — место выжига угля в лесу.

[^^^]

13

Блазнит — кажется (местное уральское слово).

[^^^]

14

Яга — шуба шерстью наружу. (Примеч. автора.).

[^^^]

15

Шубенки — рукавицы. (Примеч. автора.).

[^^^]

16

Балаган — широкая низкая изба, вросшая в землю, крытая дерном, без окон, с очагом из камней вместо печи, с земляным полом. (Примеч. автора.).

[^^^]

Залобовать — убить. (Примеч. автора.).

[^^^]

18

Лядунка — сумка на перевязи через плечо для пистолетных или револьверных патронов. (Примеч. автора.).

[^^^]

19

Синонимы — слова, разные по звуковой форме, но равные или очень близкие по значению (например: «око» и «глаз», «храбрый» и «отважный», «путь» и «дорога»). (Примеч. автора.).

[^^^]

20

Сучил верву — скручивал, свивал нитку.

[^^^]

21

Охулки на руку — то есть обсчитал.

[^^^]

22

Реалисты — учащиеся дореволюционных гимназий и так называемых реальных училищ.

[^^^]

23

Коты — кожаная обувь, вроде тяжелых ботинок. (Примеч. автора.).

[^^^]

24

Робить — работать. Так говорят в Пермской стороне. (Примеч. автора.).

[^^^]

25

Вачеги — подшитые кожей рукавицы; пряденики — пеньковые лапти. (Примеч. автора.).

[^^^]

26

Пожог — часть завода, где обжигают руду. (Примеч. автора.).

[^^^]

27

На горных заводах плата рабочим выдается через две недели; это и называется выпиской. (Примеч. автора.).

[^^^]

Пимы — валенки. (Примеч. автора.).

[^^^]

29

Харюз — рыба. (Примеч. автора.).

[^^^]

30

Ись — есть.

[^^^]

31

Ряда — условие, договор.

[^^^]

32

Увал — небольшие горки; россыпь — гряды камней, которые тянутся от горных вершин.

[^^^]

33

Шихан — скалистый гребень, которым заканчивается вершина горы.

[^^^]

34

Блазнит — чудится, мерещится, видится.

[^^^]

35

Поносные, или потеси, — громадные бревна, заменяющие руль.

[^^^]

Сухарина — сухое дерево. (Примеч. автора.).

[^^^]

37

Ясачить — охотиться, от слова «ясак» — плата податей мехами.

[^^^]

38

Харч — съестные припасы.

[^^^]

39

Нарта — легкие сани для езды на оленях или на собаках. (Примеч. автора.).

[^^^]

40

На Урале заводом называется все селение, а завод в собственном смысле — фабрикой. (Примеч. автора.).

[^^^]

41

Штегер (правильно: штейгер) — горный техник, заведующий рудными работами.

[^^^]

42

Стяг говядины — мясная туша.

[^^^]

43

Ободняет — то есть настанет утро, рассветет.

[^^^]

44

Саймой на Урале называют рыбацкие стоянки. (Примеч. автора.).

[^^^]

(дочь писателя. — Ред.)

[^^^]

Примечание - взято из Собрание сочинений в 10 т.

Рассказы и сказки для детей

[^^^]